

Василий Гроссман

НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ



ШИМОН МАРКИШ

Пример
Василия Гроссмана



Василий Гроссман
НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ
Избранное в двух томах

I

בנק דיסקונט לישראל
סייע להוצאת הספר לאור



ВАСИЛИЙ ГРОССМАН (1905 – 1964)

Василий Гроссман

НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ

Избранное в двух томах

Шимон Маркиш

ПРИМЕР ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

I



БИБЛИОТЕКА - АЛИЯ

1985

Printed in Israel

Vassily Grossman
Selected Works

ו. גרוסמן
מוטיבים יהודיים

The Example of V. Grossman
by Sh. Markish

ש. מרקיש
דוגמתו של ו. גרוסמן

I

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

הירצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפרצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

סודר בדפוס "אקספרס", ת.ד. 8383, ירושלים

СОДЕРЖАНИЕ

I

В городе Бердичеве	7
Четыре дня	24
Цейлонский графит	73
Старый учитель	111
Треблинский ад	144
Из романа "Жизнь и судьба"	
Часть первая, главы 18 — 19	191
Часть первая, главы 42 — 51	207
Часть вторая, главы 29 — 32	233
Часть вторая, главы 42 — 50	253
Часть первая, глава 37	280
Часть вторая, главы 53 — 54	290

В этой маленькой антологии собраны произведения и отрывки из произведений Василия Гроссмана, в которых еврейская тема выступает на первый план или же является главной, определяющей.

Главы, в которых находятся выбранные нами отрывки, приведены полностью, без сокращений.

В московской ежедневной газете на идише "Эйникайт" ("Единство"), которая была закрыта в 1948 году, в двух номерах (за 25.11 и 2.12. 1943 г.) был опубликован отрывок из очерка "Украина без евреев". В конце стояло "Продолжение следует", но продолжения почему-то не последовало... Мы даем обратный перевод этой публикации, т. к. оригинал, к великому сожалению, исчез.

В ГОРОДЕ БЕРДИЧЕВЕ

Было странно видеть, как темное, обветренное лицо Вавиловой покраснело.

— Чего смеешься? — наконец сказала она. — Глупо ведь.

Козырев взял со стола бумагу, поглядел на нее и, замотав головой, снова захохотал.

— Нет, не могу, — сквозь смех сказал он. — Рапорт... комиссара первого батальона... по беременности на сорок дней.

Он стал серьезен.

— Что же. А кого вместо тебя? Разве Перельмуттера, из политотдела дивизии?

— Перельмуттер крепкий коммунист, — сказала Вавилова.

— Все вы крепкие, — промолвил Козырев и, понизив голос, точно говоря о стыдном, спросил:

— И скоро, Клавдия, рожать будешь?

— Скоро, — ответила Вавилова и, сняв папаху, вытерла выступивший на лбу пот. — Я б его извела, — басом сказала она, — да запустила, сам знаешь, под Грубешовом три месяца с коня не слезала. А приехала в госпиталь, доктор уже не берется.

Она потянула носом, будто собираясь заплакать.

— Я ему и маузером, окаянному, грозила, — отказывается, поздно, говорит.

Она ушла, а Козырев сидел за столом и рассматривал рапорт.

”Вот тебе и Вавилова, — думал он, — вроде и не баба, с маузером ходит, в кожаных брюках, батальон сколько раз в атаку водила, и даже голос у нее не

бабий, а выходит, природа свое берет”.

И ему почему-то стало обидно и немного грустно.

Он написал на рапорте ”в приказ” и, нерешительно кружа кончиком пера над бумагой, сидел, наморщив лоб: как писать?

”Предоставить с сего числа сорокадневный отпуск”, — еще подумал и приписал ”по болезни”, потом сверху вкорякал ”по женской”, выругался и ”по женской” зачеркнул.

— Воюй вот с ними, — сказал он и кликнул вестового. — Вавилова-то наша, а? — громко и сердито произнес он. — Слыхал, небось?

— Слышал, — ответил вестовой и, покачав головой, сплюнул.

Они вместе осудили Вавилову и вообще всех женщин, сказали несколько похабств, посмеялись, и Козырев, велев позвать начальника штаба, сказал:

— Надо будет к ней сходить, завтра, что ли, ты узнай, она на квартире или в госпитале, и вообще как это все.

Потом с начальником штаба они до утра ползали по столу, тыкаясь в полотно двухверсток, и говорили скупые, редкие слова — шел поляк.

Вавилова поселилась в реквизированной комнате.

Домик стоял на Ятках, так назывался в городе базар, и принадлежал Хаиму-Абраму Лейбовичу Магазанику, которого соседи и даже собственная жена звали Хаим Тутер, что значит татарин.

Вавилова въехала со скандалом. Ее привел на квартиру сотрудник коммунотдела, худой мальчик в кожаной куртке и буденовке. Магазаник ругал его по-еврейски, коммунотделец молчал и пожимал плечами.

Потом Магазаник перешел на русский язык.

— Нахальство у этих сморкачей, — кричал он Вавиловой, точно она должна была вместе с ним возмущаться, — надо только придумать! Уже нет больше буржуев в городе. Только одна комната

осталась для советской власти у посадчика Магазаника. Только у рабочего, у которого семь человек детей, советская власть должна забрать комнату. А у Литвака бакалейщика? У суконщика Ходорова? У первого миллионщика Ашкенази?

Вокруг стояли дети Магазаника, семь оборванных кудрявых ангелов, и смотрели черными, как ночь, глазами на Вавилову. Большая, точно дом, она была выше их папы.

Наконец Магазаник был оттеснен в сторону, и Вавилова прошла в комнату.

От буфета, плоских перин, стульев с разверстыми отверстиями продавленных сидений на нее так густо дохнуло жильем, что она поглубже набрала воздуха в грудь, точно ныряя в воду.

Ночью она не могла уснуть. За стеной, точно оркестр из многих инструментов, от гудящего контрабаса до тонких флейт и скрипок, храпела семья Магазаника. Духота летней ночи, густые запахи — все это, казалось, душило ее.

Чем только не пахло в комнате!

Керосином, чесноком, потом, гусиным смальцем, невымытым бельем. Это было жилье человека.

Она ощупала свой вздувшийся, налитой живот, иногда живое существо, бывшее в ней, брыкалось и поворачивалось.

Она боролась с ним честно, упорно, много месяцев: тяжело прыгала с лошади, молчаливая, яростная на субботниках в городах ворочала многопудовые сосновые плахи, пила в деревнях травы и настойки, извела столько йода в полковой аптеке, что фельдшер собрался писать жалобу в санчасть бригады, до волдырей ошпаривалась в бане кипятком.

А оно упорно росло, мешало двигаться, ездить верхом; ее тошнило, рвало, тянуло к земле.

Сперва она во всем винила того, печального, всегда молчаливого, который оказался сильнее ее и добрался через толстую кожу куртки, сукно гимнастерки до ее бабьего сердца. Она видела, как он вбежал первым на

страшный своей простотой деревянный мосток, как стрекотнул пулеметом поляк, — и его словно не стало: пустая шинель всплеснула руками и, упав, свесилась над ручьем.

Она промчалась над ним на пьяном жеребчике, и за ней повалил, точно толкая ее, батальон.

После этого осталось оно. Оно было во всем виновато. И вот Вавилова лежала побежденная, а оно победно брыкало копытцами, жило в ней.

Утром, когда Магази́ник собирался на работу и жена кормила его завтраком, отгоняя мух, детей, кошку, он, скосив в сторону реквизи́рованной стенки глаза, тихо сказал:

— Дай ей чаю, чтобы ее холера задушила.

Он купался в солнечных столбах пыли, запахах, детском крике, кошачьем мяуканье, ворчании самовара. Ему не хотелось идти в мастерскую, он любил свою жену, детей, старуху мать, он любил свой дом.

Вздыхая, он ушел, и в доме остались только женщины и дети.

Весь день на Ятках кипел котел: мужики торговали белыми, точно вымазанными мелом березовыми дровами, бабы шуршали венками лука, старухи еврейки сидели над пухлыми холмами связанных за лапки гусей. Покупательницы дули на нежный пух меж лап и щупали жир, желтевший под теплой мягкой кожей птиц.

Темноногие дивчины в цветных хустках носили высокие красные горшки, через край полные земляникой, и испуганно, точно собираясь убежать, глядели на покупателей. С возов торговали желтыми заплаканными комьями масла в пухлых листьях зеленого лопуха.

Слепой нищий, с белой бородой волшебника, молитвенно и трагично плакал, протягивая руки, но его страшное горе никого не трогало — все равнодушно проходили мимо. Баба, оторвав от венка самую маленькую луковку, бросила ее в жестяную мисочку

старика. Тот ощупал луковку и, перестав молиться, сердито сказал: "Щоб тобі дити так на старість давали", — и снова протяжно запел древнюю, как еврейский народ, молитву.

Народ продавал, покупал, щупал, пробовал, поднимая глубокомысленно глаза вверх, точно ожидая, что с голубого нежного неба кто-нибудь посоветует, покупать ли щуку или лучше взять карпа. И при этом все пронзительно кричали, божились, ругали друг друга, смеялись.

Вавилова прибрала и подмела комнату. Она спрятала шинель, папаху, сапоги. Голова у нее бухла от уличного шума, а в квартире кричали маленькие Тутеры, и ей казалось, что она спит и видит нехороший сон.

Вернувшийся вечером с работы Магази́ник ошеломленно остановился в дверях: за столом сидела его жена Бэйла и рядом с ней большая женщина в просторном платье, в туфлях-шлепанцах на босу ногу, с головой, повязанной пестрой косынкой. Они негромко смеялись, переговариваясь между собой, и примеряли, подымая большие толстые руки, маленькие, игрушечные распашонки.

Днем Бэйла зашла в комнату Вавиловой; та стояла подле окна, и острый женский глаз Бэйлы уловил скраденную высоким ростом Вавиловой полноту живота.

— Я очень извиняюсь, — решительно сказала Бэйла, — но вы, кажется, беременны.

И Бэйла, всплескивая руками, смеясь и причитая, принялась хлопотать вокруг нее.

— Дети, — говорила она, — дети, разве вы не знаете, что это за несчастье, — и она тискала и топила на своей груди самого маленького Тутера. — Это такое горе, это такое несчастье, это такие хлопоты. Каждый день они хотят кушать, и не проходит недели, чтобы у этого не было сыпи, а у того

лихорадки или нарыва. А доктор Барабан, дай ему бог здоровья, за каждый визит берет десять фунтов пеклеванной муки.

Она гладила голову маленькой Сони.

— И все они живут у меня, ни один не сдохнет.

Оказалось, что Вавилова ничего не знала, ничего не умела, не представляла себе ничего. Она сразу подчинилась великому знанию Бэйлы. Она слушала, задавала вопросы, и Бэйла, смеясь от удовольствия, что комиссарша ничего не знает, рассказывала ей обо всем.

Как кормить, купать, присыпать младенца, что надо делать, чтобы он ночью не кричал, сколько нужно иметь пеленок и распашонок, как новорожденные заходятся от крика, синеют, и кажется, вот-вот сердце разорвется от страха, что дите умрет, как лечить поносы, отчего бывает почесуха, как вдруг ложечка начинает стучать во рту и по этому можно узнать, что режутся зубки.

Сложный мир со своими законами, обычаями, радостями и печальями.

Вавилова ничего не знала о нем. И Бэйла снисходительно, как старшая сестра, ввела ее в этот мир.

— Не путайтесь под ногами, — закричала она детям, — марш на двор! — И когда в комнате остались только они вдвоем, Бэйла, понизив голос до таинственного шепота, заговорила с ней о родах. О, это не простая вещь! Бэйла, как старый солдат, рассказывала молодому новобранцу о великих муках и радостях родов.

— Рожать детей, — сказала она, — вы думаете, что это просто, как война: пиф-паф и готово. Ну нет, извините, это не так просто.

Вавилова слушала ее. Впервые за все время ее беременности ей встретился человек, который говорил об этой тяжелой случайной неприятности, постигшей ее, как о счастливом событии, которое будто бы было самым важным и нужным в жизни Вавиловой.

А вечером вместе с Тутером продолжалось обсуж-

дение. Нельзя было терять времени: после ужина Тутер полез на чердак и с грохотом сволок вниз железную люльку и ванночку для купания нового человека.

— Можете быть спокойны, товарищ комиссар, — блестя глазами и смеясь, сказал он, — вы у нас принимаете дело на полном ходу.

— Молчи, молчи, босяк, — промолвила жена, — недаром тебя люди зовут татаринном.

Ночью Вавилова лежала в постели. Душные запахи уже не давили ее, как накануне. Она привыкла к ним, даже не чувствовала их. Ни о чем не хотелось думать.

Ей казалось, что ржут где-то лошади, и в глазах мелькал длинный ряд рыжих лошадиных голов, у каждой было белое пятно на лбу. Головы беспрерывно шевелились, кивали, фыркали, скалили зубы. Она подумала о батальоне, вспомнила Кирпичева — политрука второй роты. Затишье на фронте. Кто проведет беседы о июльских днях? Завхоза надо взгреть за то, что задержал доставку сапог. И потом можно резать самым сукно на обмотки. Во второй роте много недовольных, особенно этот кудрявый, который поет донские песни. Вавилова зевнула и закрыла глаза. Батальон ушел куда-то далеко-далеко, в розовый коридор рассвета меж мокрых стогов сена. И мысли о нем были какие-то ненастоящие.

Оно нетерпеливо толкнуло копытцами. Вавилова открыла глаза и приподнялась на постели.

— Девочка или мальчик? — вслух спросила она. И вдруг почувствовала, как сердце в груди стало большим, теплым, гулко забилося. — Девочка или мальчик?

Роды начались днем.

— Ой! — рыхло, по-бабьи, вскрикнула Вавилова, почувствовав, как острая, всепроникающая боль вдруг охватила ее.

Бэйла повела ее к постели. Сема весело побежал за

акушеркой.

Вавилова держала Бэйлу за руку и тихо, быстро говорила:

— Началось, Бэйла, а я считала, что позже дней на десять. Началось, Бэйла.

Потом боли прошли, и Вавилова решила, что напрасно посылали за акушеркой.

Но через полчаса боли снова начались. Лицо Вавиловой стало бледным, и загар на нем лежал как-то особенно мертво. Вавилова стиснула зубы, выражение лица у нее было такое, точно она думала о чем-то мучительном и стыдном, и вот-вот быстро подыметесь, закричит: "Что я наделала, что я наделала!" — и закроет в отчаянии лицо руками.

Дети заглядывали в комнату, слепая бабушка грела на плите большую кастрюлю воды. Бэйла поглядывала на дверь: выражение тоски в лице Вавиловой пугало ее. Наконец пришла акушерка. Ее звали Розалия Самойловна. Она была стриженная, коренастая, краснолицая. И сразу весь дом наполнился ее сварливым, пронзительным голосом. Она кричала на Бэйлу, на детей, на старуху бабушку. Все забежали вокруг нее. В кухне загудел примус. Из комнаты начали вытаскивать стол, стулья, Бэйла быстро, точно туша пожар, мыла пол, сама Розалия Самойловна выгоняла мух полотенцем. Вавилова глядела на нее, и ей казалось, что это приехал в штаб командарм. Он тоже был коренастый, краснолицый, сварливый, и приезжал он тогда, когда на фронте бывал прорыв, все, читая сводки, переглядывались, шептались, точно в штабе лежал покойник или тяжелобольной. И командарм грубо рвал эту сеть таинственности и тишины: криком, руганью, приказами, смехом, точно ему не было дела до оторванных обозов и окруженных полков.

Она подчинялась властному голосу Розалии Самойловны, отвечала на ее вопросы, поворачивалась, делала все, что она ей велела. Порой мутилось сознание, ей казалось, что стены, потолок теряют

определенность поверхностей и линий, ломаются, волнами лезут на нее. Она снова приходила в себя от громкого голоса акушерки и видела ее красное, потное лицо, белые хвостики косынки вокруг шеи. Она ни о чем не думала в эти минуты. Хотелось выть диким, волчьим голосом, кусать подушку. Казалось, что кости хрустели и ломались, и клейкий, тошный пот выступал на лбу. Но она не кричала, а лишь скрипела зубами и, судорожно поводя головой, заглатывала воздух.

Временами боль проходила, точно ее совершенно не было, и она, изумляясь, смотрела вокруг себя, слушала шум базара, удивлялась стакану на табурете, картине на стене.

А когда взбесившийся от стремления жить ребенок начинал снова рваться, она испытывала ужас наступающих схваток и смутную радость: пусть скорее, ведь это неизбежно.

Розалия Самойловна негромко сказала Бэйле:

— Если вы думаете, что я бы себе пожелала рожать в первый раз в тридцать шесть лет, то вы ошибаетесь, Бэйла.

Вавилова не расслышала ее слов, и ей стало страшно оттого, что акушерка заговорила тихим голосом.

— Что, не выживу? — спросила она.

А Бэйла стояла у дверей бледная, растерянная и, пожимая плечами, говорила:

— Ну-ну. И кому это нужно, это мученье — ни ей, ни ребенку, ни отцу, чтоб он сдох, ни богу на небе. Какой умник это придумал на нашу голову?

Много часов продолжались роды.

Магазаник, придя домой, сидел на ступеньках крыльца. Он волновался, точно рожала его Бэйла. Сумерки сгустились, в окнах зажегся свет. Евреи возвращались из синагоги, держа под мышкой свертки молитвенных одежд. В свете луны пустая площадь Яток, домики, улицы казались красивыми и таинственными. Кавалеристы в брюках галифе, звеня шпорами,

ходили по кирпичным тротуарам. Девушки грызли подсолнухи и смеялись в сторону красноармейцев. Одна из них скороговоркой рассказывала:

— А я ем цукерки и бумажки на него кидаю, а я ем та бумажки на него кидаю.

— А, — произнес Магазаник, — не мала баба клопоту, купила поросю, мало мне своего, так вся партизанская бригада тоже должна в моем доме рожать. — Он вдруг насторожился и привстал. Из-за двери раздавался чей-то хриплый мужской голос.

Голос выкрикивал такие крепкие, матерные слова, что Магазаник, послушав, покачал головой и плюнул на землю: это Вавилова, ошалев от боли, в последних родовых схватках сражалась с богом, с проклятой женской долей.

— Вот это я понимаю, — сказал Магазаник, — вот это я понимаю: комиссар рожает. А Бэйла знает только одно: "Ой мама, ой мамочка, ой мама!"

Розалия Самойловна хлопнула новорожденного по сморщенному влажному задку и объявила:

— Мальчик!

— Что я сказала! — торжествующе произнесла Бэйла и, открыв дверь, победно крикнула: — Хаим, дети — мальчик!

И вся семья собралась у дверей, взволнованно переговариваясь с Бэйлой. Даже слепая бабушка ощупью подошла к сыну и улыбалась великому чуду. Она улыбалась и неслышно шептала. Дети отталкивали ее от двери, и она, вытягивая шею, тянулась вперед: она хотела услышать голос всегда побеждающей жизни.

Вавилова глядела на новорожденного. Она удивлялась тому, что ничтожный комок красно-синего мяса был причиной этих страшных страданий.

Ей представлялось, что ребенок у нее должен родиться большим, веснушчатым, курносым, с вихрастой рыжей головой, что он сразу начнет озоровать, пронзительно кричать, рваться куда-то. А он был

слабенький, точно стебель овса, выросший в погребке, головка у него не держалась, кривые ножки шевелились, точно высохшие, бело-голубые глаза были слепы, и пищал он чуть слышно. Казалось, откройся резко дверь, и он потухнет, как тоненькая, согнувшаяся свечка, прикрепленная Бэйлой над краем шкафа.

И хотя в комнате было жарко, как в бане, протянула руки и сказала:

— Холодно ведь ему, дайте его сюда.

Человечек верещал, мотая головой. Вавилова, скосив глаза, боясь шевельнуться, следила за ним.

— Ешь, ешь, сынок, — сказала она и начала плакать. — Сынок, сынок, — бормотала она, и слезы одна за другой набегали на глаза и прозрачными каплями текли по щекам, расплываясь по подушке.

Она вспомнила того, молчаливого, и ей стало жаль их обоих острой материнской болью. Впервые она плакала о том, убитом в бою под Коростенем: он никогда не увидит своего сына.

”А этот, маленький, беспомощный, родился без отца”, — и она прикрыла его одеялом, чтобы он не смерз.

А может быть, она плакала совсем по другой причине. По крайней мере, Розалия Самойловна, закулив папироску и выпуская дым в форточку, говорила:

— Пусть, пусть плачет. Это успокаивает нервы лучше брома. Они у меня после родов всегда плачут.

На третий день после родов Вавилова встала с постели. Она чувствовала, как быстро возвращаются к ней силы, она много ходила, помогала Бэйле по хозяйству. Когда дома никого не было, она тихонько напевала человечку песни, человечка звали Алеша, Алешенька, Алеша.

— Ты бы посмотрел, — говорила Бэйла мужу, — эта кацапка с ума сошла. Три раза она уже бегала с ним к доктору. В доме нельзя дверь открыть: то оно простудится, то его разбудят, то у него жар. Как

хорошая еврейская мать, одним словом.

— Что ты думаешь, — отвечал Магазаник, — если женщина одевает кожаные штаны, она от этого становится мужчиной? — И он пожимал плечами и закрывал глаза.

Через неделю к Вавиловой приехали Козырев и начальник штаба. От них пахло кожей, табаком, лошадиным потом. Алешка спал в люльке, закрытый от мух куском марли. Оглушительно скрипя, точно два новых сапога, они подошли к люльке и смотрели на худенькое личико спящего. Лицо подергивалось во сне, это были просто движения кожи, но из-за этих движений лицо принимало различные выражения — то печали, то гнева, то улыбки.

Военные переглянулись.

— Да, — сказал Козырев.

— Да, действительно, — сказал начальник штаба.

И они сели на стулья и начали рассказывать. Поляки перешли в наступление. Наши части отходят. Это, конечно, временно. Четырнадцатая армия стягивается под Жмеринкой. Идут дивизии с Урала. Украина будет нашей. Надо думать, через месяц наступит перелом. Но пока поляк прет густо.

Козырев выругался.

— Тише, — сказала Вавилова, — не ори, разбудишь.

— Да, у нас мордочка в крови, — промолвил начальник штаба и рассмеялся.

— А ты все со своей прибауткой, — сказала Вавилова и страдающе добавила: — Да ты бы не курил, дуешь, как паровоз.

Военным вдруг стало скучно. Козырев зевнул. Начальник штаба посмотрел на часы и сказал:

— На Лысую Гору бы не опоздать.

”Часики-то золотые”, — с раздражением подумала Вавилова.

— Ну, давай прощаться, Клавдия, — произнес Козырев и встал. — Я велел тебе муки мешок, сахару да сала доставить, сегодня на двуколке привезут.

Они вышли на улицу. Вокруг лошадей стояли

маленькие Магазаники. Козырев кряхтя полез в седло. Начальник штаба щелкнул языком и с лету вскочил на лошадь.

Доехав до угла, они неожиданно, точно условившись, натянули поводья и остановились.

— Да, — сказал Козырев.

— Да, действительно, — ответил начальник штаба.

Они рассмеялись, ударили по лошадям и поскакали на Лысую Гору.

Вечером приехала двуколка. Перетащив в дом мешки с продуктами, Магазаник зашел в комнату Вавиловой и таинственным шепотом произнес:

— Как вам понравится новость, товарищ Вавилов? Приехал к нам в мастерскую швагер посадчика Цессарского.

Он оглянулся и, точно извиняясь перед Вавиловой, удивленно сказал:

— В Чуднове поляки, а Чуднов — сорок верст отсюда.

Пришла Бэйла. Она немного послушала и решительно сказала:

— О чем говорить. Поляки завтра придут сюда. Так я хочу вам сказать. Поляки, не поляки, а австрияки, галичане, но вы можете остаться у нас. Кушать вам, слава богу, привезли столько, что хватит на три месяца.

Вавилова молчала. Первый раз в жизни она не знала, что делать, как поступить.

— Бэйла, — промолвила она и умолкла.

— Я не боюсь, — сказала Бэйла. — Вы думаете, я боюсь? Дайте мне пять таких, я не испугаюсь. Но где вы видели мать, которая оставляет ребенка, когда ему полторы недели?

Всю ночь под окнами раздавалось ржание лошадей, стук колес, возбужденные сердитые голоса. От Шепетовки на Казатин шли обозы.

Вавилова сидела возле люльки. Ребенок спал. Она смотрела на желтое личико: в конце концов, ничего особенного не произойдет. Козырев говорил, что

через месяц они вернутся. Как раз столько времени, сколько она рассчитывала быть в отпуску. А если отрежут надолго? Что же, и это ее не пугает.

Когда Алеша окрепнет, они проберутся через линию фронта.

Кто их тронет: деревенскую бабу с грудным ребенком? И Вавилова представила себе, как она ранним летним утром идет полем, — голова у ней повязана цветным платком, а Алеша смотрит вокруг и протягивает ручки. Хорошо! Она запела тоненьким голосом:

— Спи, сыночек, спи, — и, покачивая люльку, задремала.

Утром базар кипел, как всегда. Люди были как-то особенно возбуждены. Некоторые, поглядывая на непрерывную цепь военных повозок, радостно смеялись. Но вот проехали обозы. Улицы были полны людей. У ворот стояли обыватели, "население", как называли их в приказах коменданты. Все возбужденным шепотом переговаривались между собой, оглядывались. Говорили, что поляки уже заняли местечко Пятку в пятнадцати верстах от города. Магазаник не пошел на работу. Он сидел в комнате Вавиловой и философствовал вовсю.

С грохотом проехал в сторону вокзала броневой автомобиль; он был покрыт густым слоем пыли, и казалось, что сталь посерела от усталости и многих бессонных ночей.

— Сказать вам правду, — говорил Магазаник, — так это самое лучшее время для людей: одна власть ушла, другая не пришла. Ни тебе реквизиций, ни тебе контрибуций, ни тебе погромов.

— Это днем он такой умный, — сказала Бэйла, — когда ночью весь город кричит гвалт от бандитов, он сидит, как смерть, и трусится от страха.

— Дай поговорить с человеком, — рассердился Магазаник.

Он то и дело выбегал на улицу и возвращался с новостями. Ревком эвакуировался еще ночью, упарт-

ком уехал вслед за ним, штаб ушел утром. На вокзале уже пусто. Уехал последний эшелон.

Вдруг на улице послышались крики. Летел аэроплан. Вавилова подошла к окну. Аэроплан летел высоко, но можно было ясно различить бело-красные круги на крыльях. Это была польская воздушная разведка. Аэроплан сделал круг над городом и полетел к вокзалу. И тогда со стороны Лысой Горы начали стрелять пушки, снаряды пролетали над городом и откуда-то, издали, за железнодорожным переездом, раздавались звуки разрывов.

Сперва вьюгой были снаряды, потом тяжело вздыхали орудия и спустя несколько секунд радостно звенели разрывы. Это большевики задерживали движение поляков к городку. Вскоре поляки начали отвечать: снаряды ложились в разных местах города.

"Ваам!" — оглушительно ломался воздух, сыпались кирпичи, дым и пыль плясали над развороченной стеной дома. Улицы стали тихими, строгими, пустынными, точно нарисованными. После каждого разрыва снаряда наступала такая тишина, что делалось страшно. А солнце стояло в безоблачном небе и точно распростертого мертвеца радостно освещало город.

Весь город лежал в подвалах, погребях, охал и стонал от страха, закрывал глаза, сдерживал в беспамятстве дыхание.

Все, даже дети, знали, что бомбардировка эта называется артиллерийской подготовкой и что, прежде чем занять город, войска выпустят еще несколько десятков снарядов. А потом, все знали это, станет неимоверно тихо, и вдруг, звонко цокая копытами по широкой улице, со стороны переезда промчится конная разведка. И млея от страха и любопытства, все будут выглядывать из-за ворот, занавесок, покрываясь испариной, выползать во двор.

Отряд выедет на площадь. Лошади будут приседать и хрипеть, всадники возбужденно перекликаться на изумительном, простом, человечьем языке, и начальник, радуясь смирению навзничь лежащего, побежден-

ного города, пьяно закричит, бахнет из револьвера в жерло тишины, подымет лошадь на дыбы.

И тогда со всех сторон польются пехотные и конные части, по домам забегают пыльные, уставшие люди, добродушные, но способные к убийству хозяйственные мужики в синих шинелях, жадные до обывательских кур, полотенец и сапог.

Все знали это, так как город четырнадцать раз переходил из рук в руки и его занимали петлюровцы, деникинцы, большевики, галичане, поляки, банды Тютюника и Маруси, шальной "ничей" девятый полк. И каждый раз это было, как в предыдущий.

— Поют! — закричал Магазаник. — Поют!

И, забыв о страхе, он выбежал на крыльцо. Вавилова вышла вслед за ним. После духоты темной комнаты Вавилова с особенным наслаждением вдохнула свет и тепло летнего дня. Она (с тем же чувством, как и во время родов) ждала поляков: скорее бы. Разрывы пугали ее, ей казалось, что они разбудят Алешу, и она отмахивалась от свиста снарядов, как от мух.

— Ну вас, ну вас, — пела она над люлькой, — вы разбудите Алешу.

Она старалась ни о чем не думать в это время. Ведь было решено: через месяц либо придут большевики, либо они пойдут к ним через фронт.

— Ничего не понимаю, — сказал Магазаник, — посмотрите-ка.

По широкой пустой улице, в сторону переезда, откуда должны были прийти поляки, шел отряд курсантов. Они были одеты в белые холщовые брюки и гимнастерки.

"Пусть красное знамя собой означает идею рабочего люда", — протяжно и как будто печально пели они.

Они шли в сторону поляков.

Почему? Зачем?

Вавилова смотрела на них. И вдруг ей вспомнилось: громадная московская площадь, несколько тысяч рабочих-добровольцев, идущих на фронт, сгрудились

вокруг наскоро сколоченного деревянного помоста. Лысый человек, размахивая кепкой, говорил им речь. Вавилова стояла совсем близко от него.

Она так волновалась, что не могла разобрать половины тех слов, которые говорил человек ясным, слегка картавым голосом. Стоявшие рядом с ней люди слушали, тяжело дыша. Старик в ватнике отчего-то плакал.

Что с ней происходило на площади в Москве, она не знала. Когда-то ночью она хотела рассказать об этом тому, молчаливому. Ей казалось, что он поймет. Но у нее ничего не вышло. А когда они шли с Театральной площади на Брянский вокзал, они пели вот эту песню.

И глядя на лица поющих курсантов, она снова испытала то, что пережила два года назад.

Магазаники видели, как по улице вслед курсантам бежала женщина в папаше и шинели, на ходу закладывая обойму в большой тусклый маузер.

Магазаник, глядя ей вслед, произнес:

— Вот такие люди были когда-то в Бунде. Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз.

Проснувшийся Алеша плакал и бил ножками, стараясь развернуть пеленки. И придя в себя, Бэйла сказала мужу:

— Слышишь, дите проснулось. Разведи лучше при-мус, надо нагреть молоко.

Отряд скрылся за поворотом улицы.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

I

Условия матча были записаны зеленым карандашом на листе бумаги, и лист прикрепили двумя булавками к стене.

1. Выигравшим считается выигравший раньше другого пять партий.

2. Пьес туше.

3. Выигравший получает звание чемпиона мира.

Игра началась, и оба участника турнира склонились над табуретом в совершенно одинаковых позах: точно сложенные вдвое, они сидели, упершись грудью в колени, ухватив себя за небритые подбородки, и смотрели на шахматную доску. Отличались они друг от друга лишь тем, что Факторович чесал голову и наворачивал на палец кольца своих черных волос, Москвин же головы не трогал, а почесывал когтистым пальцем босой ноги косточку, выпирающую из-под синей штанины галифе.

Рыжий старик Верхотурский сидел у окна и читал книгу. Весеннее солнце светило ярко, и соломенные жгуты, в которые был вплетен лук, свисали по стенам комнаты, как косы неведомых блондинок.

Верхотурский производил впечатление чего-то тяжелого, чугунного. Широкий лоб его, кисти рук, рот, громкое дыхание — все было большим и тяжелым. Читая, он недоуменно поднимал брови, пожимал плечами и делал кислое лицо. Потом он захлопнул книгу и, подойдя к стене, прочел объявление о

Текст рассказа печатается по книжной публикации 1957 года (Москва).

турнире. Он был порядочно толст и, читая, упирался животом в стену.

— Вот что, дети Марса, — сказал он, — военкомам не надлежит писать ”выигравшим считается выигравший”.

Игроки молчали.

— Послушайте, молодые идиоты, — сказал Верховтурский, — вы слишком рано устроили состязание.

Игроки снова ничего не ответили, только Москвин, продолжая смотреть на доску, пропел:

— Идиоты, идиоты, молодые идиоты...

Партию выиграл Москвин.

— Шах, он же и мат, — загоготал он, быстро смешав фигуры.

Факторович зевнул и пожал плечами.

Потом Москвин рисовал громадный зеленый ноль и при этом давился от смеха, хлопотливо всплескивая руками.

— Блеющий ишак Москвин начинает действовать на мои нервы, — пожаловался Факторович, и Верховтурский, подняв голову от книги, проговорил:

— Ишаки не блеют, товарищ военком.

— Очень хочется жрать, — сказал Москвин, любуясь листом на стене.

— Еще неизвестно, доживем ли мы до еды, — ответил Факторович.

Они заговорили о произошедшем. Ночью польская кавалерия ворвалась в город. Очевидно, галицийские части открыли фронт. Красных в городе было мало, один лишь батальон чон¹. Чоновцы разбежались, и город сдался полякам тихо, без пулеметного визга и хлопанья похожих на пасхальные яички английских гранат.

Они проснулись среди поляков, два бледнолицых от потери крови военкома, приехавшие с фронта лечить раны, и еще третий, старый человек, с которым они познакомились только вчера. Он совер-

¹Чон — часть особого назначения.

шенно случайно задержался в городе из-за порчи автомобиля. И доктор, у которого жили военкомы, ожидая пока исправят электрическую станцию и можно будет включить сияющую голубым огнем грушу рентгеновской трубки, ввел его в столовую и сказал:

— Вот, пожалуйста, мой товарищ по гимназии, а ныне верховный комиссар над...

— Брось, брось, — сказал рыжий, и, оглядев диван, покрытый темным бархатом, полку, уставленную китайскими пепельницами из розового мрамора, каменными мартышками, фарфоровыми львами и слонами, он подмигнул в сторону узорчатого, как Кельнский собор, буфета и сказал: — Да-с, ты, видно, не терял времени, красиво живешь.

— Да, еще бы, — сказал доктор, — все это теперь можно купить за мешок сахара рафинада и два мешка муки.

— Брось, брось... — ухмыльнулся рыжий.

Он протянул военкомам свою мясистую большую руку и пробурчал:

— Верхотурский.

И оба военкома одновременно кашлянули, одновременно скрипнули стульями, переглянулись и значительно подмигнули друг другу.

Потом пришла в столовую добрейшая Марья Андреевна и, узнав, что Верхотурский — товарищ мужа по гимназии, вкрикнула, точно ее кто-то ушибнул, и заявила, что пока Верхотурский не поест, не выпится на мягкой постели, она его непустит. Ночевал он в одной комнате с мальчиками — так звала Марья Андреевна военкомов.

Утром к ним зашел доктор, он был в мохнатом халате, на его седой бородке, напоминавшей хвостик репки, блестели капельки воды, щеки, покрытые фиолетовыми и красными веточками жилок, подергивались.

— Город занят польскими войсками, — сказал он.

Верхотурский посмотрел на него и рассмеялся.

— Ты огорчен?

— Ты понимаешь ведь, о чем я говорю, — сказал доктор.

— Понимаю, понимаю.

— Вы бы могли переодеться и уйти, может быть, это будет лучше всего, черным ходом, а?

— Ну, нет, — сказал Верхотурский, — если мы уйдем сегодня, то попадемся, как кролики, на первом же углу. Сегодня мы не уйдем и завтра, вероятно, тоже не уйдем.

— Да, да, может быть, ты и прав, — сказал доктор, — но понимаешь...

— Понимаю, понимаю, — весело сказал Верхотурский, — я, брат, все понимаю.

Они стояли несколько мгновений молча, два старых человека, учившихся когда-то в одной гимназии, и смотрели друг на друга. В это время вошла Марья Андреевна. Доктор подмигнул Верхотурскому и приложил палец к губам.

— Доктор вам уже сказал, что у нас вы в полной безопасности? — спросила она.

— Именно об этом мы сейчас говорили, — сказал Верхотурский и начал смеяться так, что его живот затрясся.

— Клянусь честью, ты меня не понял, — сказал доктор, — я ведь думал...

— Понял, понял, — перебил Верхотурский и, продолжая смеяться, махнул рукой.

И они остались в комнате, уставленной мешками сахара, крупы и муки. На стенах висели венки лука, длинные связки коричневых сухих грибов. Под постелью Верхотурского стояло корыто, полное золотого пшена, а военкомы, подходя к своим дачным, складным кроваткам, ступали осторожно, чтобы не повредить громадных глиняных горшков с повидлом и маринованными грушами, стеклянных банок с малиновым и вишневым вареньем. Они ночевали в комнате, превращенной в кладовую, и хотя комната была очень велика, в ней негде было повернуться,

ибо Марья Андреевна славилась как отличная хозяйка, а доктор имел большую практику в окрестных деревнях.

II

— Положение хуже губернаторского, — сказал Факторович.

— Да, хуже, — подтвердил Москвин.

Факторович подошел к окну. Площадь была пуста.

— Как много камней, — удивленно пробормотал он и спросил: — Что же делать?

— А я почему знаю, — ответил Москвин.

— Продолжать шахматное состязание, — предложил Верхотурский.

— Вам смешно, — сказал Факторович, точно Верхотурский был в лучшем положении, чем он и Москвин.

— Пожалуйста, завтракать! — крикнула в коридоре Марья Андреевна.

Они пошли в столовую. Москвин посмотрел на стол: белый хлеб, масло, мед, повидло, большая кастрюля сметаны, на блюде в облаке пара высилась гора лапши, смешанной с творогом, в глубоких тарелках лежали редька, соленые огурцы, кислая капуста.

— Э, как-нибудь, — крикнул Москвин и сел за стол.

Он первым справился с лапшой, и Марья Андреевна спросила:

— Вам можно еще?

— Большое спасибо, — сказал он и ударил под столом ногами, как испугавшийся заяц.

— Большое спасибо — да или большое спасибо — нет? — рассмеялась Марья Андреевна и положила ему вторую порцию.

— Если можно, я тоже съем еще, — сердито сказал Факторович и подмигнул шумно глотавшему и почему-то смущенному Москвину.

В столовую вошел длиннолицый мальчик в очках,

лет четырнадцати-пятнадцати. К груди он прижимал толстую книгу в блестящем желтом переплете.

— А, Коля, — сказали одновременно Факторович и Москвин.

Мальчик пробормотал:

— Здравствуйте.

После этого он споткнулся и, садясь, так загрохотал стулом, что Марья Андреевна вскрикнула.

Мальчик ел, глядя в книгу, и ни разу не посмотрел в свою тарелку.

— Вы не боитесь, юноша, угодить себе вилкой в глаз? — спросил Верхотурский.

Мальчик мотнул головой.

— Ах, это несчастье! — сказала Марья Андреевна. — У меня сердце обливалось кровью, пока я привыкла. Доктор, доктор, — закричала она, — завтрак давно простыл! — и, обращаясь к Верхотурскому, сказала: — Вы поверите, за тридцать лет не было случая, чтобы он пришел вовремя к столу. Вечно приходится по десять раз подогревать и носить из кухни в столовую. Прислуга его ненавидит за это.

В дверях показался доктор.

— Иду, иду, иду... помою руки и моментально сажусь за стол.

Москвин и Факторович рассмеялись.

— Да, — сказал Москвин, — мы здесь четвертый день, и каждый раз доктор говорит: "Помою руки и сажусь обедать" и уходит на час.

Но на этот раз доктор пришел вовремя. Он вошел стремительной походкой, откинул ногой завернувшийся угол дорожки, сорвал листочек с календаря, щелчком сбил осколок яичной скорлупы, поднял с пола бумажку и бросил ее в полоскательницу. Садясь, он ущипнул мальчика за щеку и спросил:

— Ну, как дела, будущий Лавуазье?

Коля, продолжая смотреть в книгу, сказал:

— Глупо.

— Ну так вот, — сказал доктор, потирая руки от предстоящих удовольствий вкусного рассказа и еды. —

Ну так вот — могу вам сообщить все новости.

Здесь, в столовой, он смотрел на своих непрошенных гостей с радушием и любовью, так как больше всего в жизни он любил рассказывать во время еды.

Он очень обижался, когда жена, перебивая его, кричала:

— Ешь, ешь, ты меня замучишь этими историями про царя Гороха.

Теперь, радуясь слушателям, он принялся рассказывать: в городе польская кавалерия, по улицам ездят патрули, возле здания городской управы стоят четыре пулемета, у поляков колоссальнейшая артиллерия, танки, в город они придут к вечеру, это основные силы второй армии. Говорят, что вторая армия почти целиком состоит из немцев, дисциплина прямо-таки железная, офицеры сплошные немцы, ну, и бороться с ними невозможно. Отношение к населению занятых городов идеальное: днем город занят, а к вечеру на площадях, увеселяя гуляющих, играют военные оркестры.

Потом доктор рассказал, со слов другого пациента, что в занятых областях предполагается ввести демократическое правление и что крестьяне рады новой власти.

— Вот это неправда, — перебила Марья Андреевна, — когда нас занимали большевики, молочницы пришли вместе с разведкой, а сегодня Поля во всем городе не могла достать кварты молока.

Доктор махнул рукой и начал рассказывать, со слов третьего пациента, что Япония совместно с Америкой начала наступление на Сибирь, причем план ее наступления точнейшим образом согласован с поляками. Рассказывал бы он еще очень долго, потому что слушатели его не перебивали, но Марья Андреевна вдруг вскипела и закричала:

— Ешь, пожалуйста, уже два раза подогревают тебе завтрак, — и когда доктор попробовал рассердиться, она сказала умоляющим голосом, которого он особенно боялся: — Как тебе не стыдно говорить людям,

поневоле живущим в твоём доме, вещи, которые им тяжело слушать. Неужели ты не понимаешь...

Верхотурский поднял голову, поглядел на Марию Андреевну, а Коля крикнул:

— Стыдно, стыдно! — и, схватив книгу, выбежал из столовой.

Доктор поднес руки к вискам и, обращаясь к Верхотурскому, сказал:

— Вот, в собственной семье...

После завтрака доктор надел на рукав перевязь с красным крестом и собрался на визиты.

— Не могу сидеть минуты без дела, — сказал он, — в любые бомбардировки хожу к больным и черт меня не берет.

В коридоре он долго внушал Поле, что разговаривать с больными следует, держа дверь запертой на цепочку, и прежде чем впустить кого-нибудь, нужно позвать Марию Андреевну.

— Ты говори: "Я без хозяйки никого не впущу" — понимаешь ты?

— Та понимаю, боже ж мий, чы я зовсим дурная? — отвечала Поля.

— Никто не говорит, что ты зовсим дурная, а я только объясняю, чтобы ты хорошенько все поняла: кто бы ни просил впустить его, что бы он ни говорил, ты отвечай: "Я без хозяйки никого не впущу". И сейчас же иди за Марьей Андреевной, понимаешь?

Поля молчала, и доктор сердито спрашивал:

— Чего же ты молчишь, неужели не понимаешь?

Все сидевшие в столовой молча слушали этот разговор, но когда доктор снова начал объяснять про цепочку, Мария Андреевна крикнула отчаянным голосом:

— Ты перестанешь мучить эту несчастную, ведь ты доведешь меня до буйного помешательства!

— Ну и семейка! — крикнул из коридора доктор и захлопнул дверь.

Марья Андреевна сразу же успокоилась и сказала, что Москвину следует надеть докторские брюки, ибо

в галифе он выглядит подозрительно.

— Но вообще можете не беспокоиться, — с гордостью проговорила она, — доктор настолько уважаем, что никто не осмелится прийти с обыском в нашу квартиру.

Она ушла хлопотать по хозяйству, а Верхотурский и военкомы остались в столовой.

— Помыть, что ли, посуду, скука смертная, — сказал Москвин и, пощупав свой живот, покачал головой.

Факторович икнул и заговорил плачущим голосом:

— Товарищи, я здесь с ума сойду. Я задыхаюсь в этой обстановке. Я ведь сам жил в такой семейке, у своего папаша, мне эта механика известна.

— Брось, — сказал Москвин, — подумаешь, обстановка, ты бы посмотрел на моего папаню, когда он в получку возвращался.

— А я вот полежу на этом роскошном диване, — сказал Верхотурский и улегся, подкладывая под затылок подушечки.

Он взял одну подушку в руки и принялся разглядывать ее. На черном бархате была вышита бисером яркая бабочка, сотни разноцветных бисеринок переливались в сложном и тонком узоре, составлявшем расцветку крыльев.

Верхотурский ковырнул пальцем вышивку, потер ладонью бабочкины глаза, сделанные из круглых красных пуговичек, и задумчиво сказал:

— Ну-ну, доложу я вам...

Потом он положил подушечку себе на живот и довольно захрапел.

— Пойдем на склад Опродкомарма, поиграем в шахматишки, — предложил Факторович.

— Только не турнирную, а любительскую, — ответил Москвин.

— Т-рус.

— Я, знаешь, боюсь тебя в один день доконать, у тебя еще рана откроется от огорчения.

— Не бойся за мою рану, товарищ.

Как только они начинали говорить о шахматах, между ними устанавливался этот мальчишеский, сварливый тон. Это повелось еще с того времени, когда они лежали в полевом госпитале и сестра милосердия, глядя на их бумажные лица и прислушиваясь к их слабым голосам, едва слышным сквозь гул орудий, пугалась — ей казалось, что раненые военкомы сошли с ума.

Вдруг с улицы раздался шум, крики. Толкая друг друга, они побежали к окну.

Через площадь мчался толстый лысый человечек, а за ним, придерживая рукой шашку, гнался высокий и тощий польский солдат. Лысый человек бежал молча, он бодал воздух своей круглой головой, точно проламывал себе дорогу, а серовато-синий солдат мерно перебирал ногами и делал это так неохотно, точно верблюд, которого гонят палкой.

— Стуй, стуй, пшя крев! — кричал солдат.

Но "пшя крев" и не думал останавливаться. Вот он в последний раз повел шеей, боднул невидимое препятствие и скрылся за железной калиткой. И тотчас вслед за ним во двор вбежал тощий ленивый верблюд.

Площадь вдруг опустела, и три человека, стоя у окна, долго молчали.

— Догонит, сукин кот, — шепотом сказал Москвин.

— Как много камней, — точно силясь понять что-то, проговорил Факторович.

А Верхотурский молчал, поглаживая подушечку, которую машинально захватил, вскочив с дивана.

Из калитки вышел солдат, держа за шнурки два желтых ботинка. Он оглянулся, точно собираясь ступить в воду, и пошел через площадь. И как только солдат побрел, помахивая ботинками, на площадь выбежал лысый толстяк.

— Пани, пани, мои буты! — кричал он, всплескивая руками и приплясывая вокруг солдата. Его ноги в светлых носках еле касались земли, и было похоже, что человек танцует какой-то веселый, задорный

танец. Солдат пошел быстрее, но толстяк не отставал от него.

— Пани, мои буты! — орал он и старался вырвать ботинки, но солдат, сердито закричав, метко лягнул его по задку. Он шел быстрыми шагами, худой, небритый, подняв ботинки над головой, а маленький толстяк в светлых носках прыгал возле него и пронзительно кричал.

Он уже не боялся ни револьвера, ни кавалерийской сабли, весь охваченный могучим желанием вернуть свои оранжево-желтые ботинки. Так они дошли до середины площади, и солдат начал озиаться, не зная куда идти.

— Пани, мои буты, — с новой силой взвыл толстяк, и кавалерист вдруг повернулся и ударил его сапогом в живот. Толстяк тяжело упал на спину. Кавалеристу, должно быть, стало неловко, что он так жестоко ударил человека. Он воровато оглядел окна домов — не видел ли кто-нибудь, как ударился упавший нежным, жирным затылком о камни. И солдат увидел, что десятки глаз смотрят на него, он увидел полных ненависти и ужаса людей, стоявших у окон, заставленных горшками, в которых цвели жирные комнатные цветы. Солдат увидел отвращение на лицах этих людей, начавших, как только он поднял голову, задегивать кружевные занавески. Он высоко поднял ботинки и швырнул их лежавшему толстяку. Потом он пошел, не оглядываясь по сторонам, худой, небритый солдат, в помятой старой шинели, и скрылся в переулке.

Толстяк оперся на локоть, приподнялся, посмотрел в ту сторону, куда ушел грабитель, и вдруг сел, начал надевать ботинок. Из домов выбежали люди, обступили его, все одновременно говоря и размахивая руками. Потом толстяк пошел к одному из домов, победно стуча отвоеванными ботинками, а люди шли вслед за ним, хлопали его по спине и хохотали, полные гордости, что маленький человек оказался сильнее солдата.

— Да, сплошные немцы, — сказал Москвин.

Верхотурский ударил его по животу, проговорил:

— Вот какие дела, товарищи, — и, оглянувшись на дверь, сказал: — Поляков мы прогоним через месяц или три — это мне не внушает сомнений, а вот с этим индивидом нам долго придется воевать, ух как долго!

И военкомы одновременно взглянули ему в лицо, как глядят дети на взрослого, читающего им вслух.

III

Перед обедом произошел скандал. Вернувшись с визитов, доктор вздумал заняться хозяйством. Так всегда случалось, когда в приемной не было больных. И так как доктор не мог оставаться без дела, это доставляло ему прямо-таки физическое страдание, он прошелся по комнатам, поправил криво висевшую картину, попробовал починить кран в ванной комнате и, наконец, решил заняться перестановкой буфета. Умудренный опытом, Коля отказался ему помогать.

Тогда доктор перенес столик красного дерева из коридора в столовую, бормоча:

— Черт знает что... вещи, которым буквально цены нет, почему-то должны гнить в передней.

Потом в столовую забрел Москвин и взялся вместе с доктором передвинуть буфет. Рана мешала ему — он не мог ни приподнять буфет, ни толкать его грудью. Однако он так усердно принялся подталкивать буфет задом, что посуда отчаянно задребезжала.

— Что вы делаете, ведь это хрусталь! — закричал доктор и кинулся открывать дверцу; оказалось, что одна рюмка разбилась. И как полагается, в то время, когда доктор зачем-то старался приставить длинную ножку рюмки к узорной светло-зеленой чашечке, в столовую вошла Марья Андреевна. Она всплеснула руками и так вскрикнула, что Факторович, бывший у себя в комнате, а Поля — в кухне, прибежали в

столовую.

Марья Андреевна не жалела рюмки, ей вообще ничего не было жалко. Доктор всегда жаловался, что она его разоряет тем, что кормит десятки нищих, отдает им совершенно новые вещи, ворчал, что и ротшильдовских капиталов не хватит, чтобы окупать расходы ее безмерного гостеприимства. Вот и сейчас он узнал на Москвине свои совершенно новые брюки английского шевиота, купленные за четыре пятерки у приехавшего из Лодзи контрабандиста. Но у Марьи Андреевны был стальной характер, доктор знал, что нет во вселенной силы, которая заставила бы ее измениться, и он молча сносил и обедавших на кухне бедняков, и посылки, которые она отправляла своим бесчисленным племянникам и племянницам, примирился он и с комиссарами, которые, приехав просвечиваться, неожиданно поселились на полном пансионе в комнате-кладовой.

Марья Андреевна не любила, когда муж вмешивался в хозяйственные дела. Однажды, это было двенадцать лет тому назад, когда доктор зашел в кухню и изменил программу обеда, она бросила в него глубокую тарелку. И теперь, при домашних неладах, она предостерегала мужа: "Не доводи меня до того, что однажды произошло", — и он тотчас же уступал ей.

Марья Андреевна закричала:

— Немедленно убрать эту дрянь из столовой! — и ударила ногой по столику.

Доктор потащил столик в переднюю, и так как Марья Андреевна крикнула ему вслед: "В передней ему тоже нечего стоять, его нужно выбросить на чердак", — доктор уволок столик к себе в кабинет — единственная комната, где он чувствовал себя хозяином. Когда он вернулся, буфет уже стоял на прежнем месте, а Марья Андреевна говорила Факторовичу:

— Эти перемены властей просто зарез для меня — больные боятся ходить, в самом деле, смешно же идти к доктору лечить бронхит или какое-нибудь

кишечное заболевание, когда рискуешь быть убитым и изнасилованным буквально на каждом углу. А он от безделья немедленно сходит с ума, я прямо в отчаянии. То же самое было, когда пришли большевики: он вздумал обклеить спальню какими-то дикими обоями, а когда деникинцы четыре дня обстреливали нас из пушек и мы сидели в погребе — он начал перекладывать запас капусты из одной каморы в другую и возился до тех пор, пока не свалились дрова и мы все едва не погибли.

Она посмотрела на мужа и с тихим отчаянием, протянув руки, сказала:

— Вот, пришли поляки, и ты уже переставляешь буфет.

Потом она подошла к нему и стала счищать с его рукава паутину, а доктор поднялся на цыпочки и несколько раз поцеловал ее в шею.

Окончательно помирились они за обедом, этим великим таинством, которое Марья Андреевна совершала с торжественностью и серьезностью. Она волновалась перед каждым блюдом, огорчалась, когда Верхотурский отказывался есть, и радовалась, когда Москвин шутя управился с третьим "добавком". Ей все казалось, что обедающим не нравится еда, что курица пережарена и недостаточно молодая.

— Скажите откровенно, — допрашивала она Верхотурского, — вы не едите, потому что вам не нравится? — и на лице ее были тревога и огорчение.

Обед ели мирно — доктор не говорил про политику, только рассказал случай из своей практики, про то, как его вызвали ночью в имение к умиравшему помещику за двадцать верст от города и как пьяный кучер на полном ходу въехал в прорубь с тройкой лошадей и доктор чудом спасся, выскочив в последнее мгновение из саней.

История эта была очень длинная, и потому, что Марья Андреевна подсказывала мужу слова, а Коля строил ужасные рожи и незаметно зажал уши, Верхотурский понял, что про пьяного кучера и прорубь

рассказывается, наверное, в сотый раз, и ему сделалось так скучно, точно он прожил в этом доме долгие годы и каждый день слушает про помещика и про то, как некий доктор, который теперь в Харькове профессор и *persona grata*, одному больному вылушил по ошибке здоровый палец, а другому вместо абсцесса вскрыл мочевой пузырь, и больной взял да и помер, не очнувшись даже от наркоза.

— Удивительное дело, — сказал Верхотурский, — мы с тобой не виделись около сорока лет, а встретились и начали говорить друг другу ты. Зачем?

— Юность, юность, — проговорил доктор. — *Gaudeamus igitur*.

— Какого там черта *igitur*, — сердито сказал Верхотурский, — и где этот самый *igitur*? Я вот смотрю на тебя и на себя, точно сорок лет бежали друг от друга.

— Конечно, мы разные люди, — сказал доктор, — ты занимался политикой, а я медициной. Профессия накладывает громадный отпечаток.

— Да не о том, — сказал Верхотурский и ударил куриной костью по краю стола.

— Речь о том, что ты буржуй и обыватель, — сказал Коля профессорским тоном и покраснел до ушей.

— Видали? — добродушно спросил доктор. — Каков домашний Робеспьер, это в собственной-то семье...

— Конечно, буржуй, — подтвердила Марья Андреевна, — недорезанный буржуй...

— Ну какой же он буржуй, — сказал Москвин, — доктора, они же труженики.

И Москвин стал рассказывать, как на восточном фронте, где он тоже лежал в полевом госпитале, — его там ранило осколком в ногу, — колчаковский эскадрон ворвался в деревню, и доктора вместе с санитарями и легкоранеными отстреливались, пока не подоспел батальон красной пехоты.

— И как еще пулял, сукин сын, из карабина

австрийского, знаешь, короткий такой... — оживленно обратился он к доктору.

— Ты паршивый меньшевик, — вдруг крикнул Факторович, и громадные глаза его засияли черным огнем, — врачи, адвокаты, бухгалтеры, инженеры, профессура — предатели. Они враги революции. Я бы их всех... — крикнул он, и его тонкие губы искривились и задрожали, а худое лицо было похоже на белый занесенный нож.

— Ешьте компот, пожалуйста, — сказала Марья Андреевна, — прошу вас, ешьте и не волнуйтесь.

Факторович растерянно оглянулся и начал рубить ложечкой ломти груш и яблок, плававших в прозрачном, густом сиропе.

Он ел компот и искоса поглядывал на Верхотурского, а тот сидел, покачиваясь, полузакрыв глаза, и, видно, думал о чем-то невеселом — лицо его выражало усталость и скуку.

После разговора о том, буржуй ли доктор, все молча ели третье, позванивали ложечками.

— Вы ничего не слышите? — спросил Коля, обращаясь к самовару.

— Нет, — отвечал Москвин.

Тогда Коля подошел к окну и раскрыл его. И все сидевшие услышали далекий, страшный крик.

— А-а-а-а-а, — кричал город.

Синее небо было полно величия и покоя, и казалось диким, что воздух так прозрачен и легкий, что весело и нежно светит весеннее солнце и так беспечно переговариваются между собой воробьи, когда над городом навис этот ужасный человеческий вопль, полный смертного отчаяния и страха.

— А-а-а-а-а, — кричали сотни людей.

— Видите ли, — объяснял доктор, — когда они подходят к дому и начинают стучать в парадную дверь, самооборона бежит по квартирам и предупреждает жильцов, все становятся у окон и кричат. Соседние дома тоже начинают кричать, и в общем кричат целые кварталы. Иногда это помогает.

— Чудовищно просто, — сказал Верхотурский и, быстро поднявшись, начал ходить по комнате.

— Это ничего, — успокаивающе сказал доктор, в центре города они себе ничего подобного не позволяют, у нас даже открыта парадная дверь. — Он поглядел на жену и сердито сказал: — Коля, закрой моментально окно, что это за дурацкий мальчишка! Ты разве не знаешь, что маму это расстраивает.

Марья Андреевна сидела, закрыв лицо руками, и плакала.

— Боже мой, боже мой, — бормотала она, — когда кончится этот ужас? — Она подняла голову и закричала: — Поля, Поля, убирай со стола! — и снова, закрыв лицо, продолжала плакать.

Она плакала и говорила, что нет у нее сил перенести окружающие ее страдания людей, всхлипывая, рассказала, как ужасно живет еврейская беднота, как погибают от голода беспомощные старики и старухи, рассказала, что закрылись благотворительные сиротские дома и сотни детей ходят по квартирам, просят хлеба, рассказала, как старики-пенсионеры, милые и хорошие люди, работавшие всю свою жизнь, теперь стоят с протянутой рукой, рассказала, как страшно умер старик-генерал, живший в соседнем доме. Она рассказывала, а Поля убирала со стола тарелки, ножи, вилки, плетеную хлебницу, солонки, голубую чашку, в которой был компот.

— Вымой клеенку горячей водой, ты не видишь разве, — сказала Марья Андреевна и провела рукой по столу, показала Поле тусклый след, оставшийся от пальцев. И пока Поля мыла клеенку, Марья Андреевна говорила, что помощь, которую она оказывает людям, ничтожна, и нет силы, которая могла бы осушить море слез и страданий, принесенных революцией и гражданской войной.

Ее красивая седеющая голова тряслась, как у старухи, все сидели молча, а через стекла вместе с нежным светом садившегося солнца в комнату входил тихий, далекий вой:

— А-а-а-а-а...

— Да, — сказал доктор, — я хочу знать только одно: почему во время революции, которая якобы сделана для счастья людей, в первую очередь страдают дети, старики, беспомощные и ни в чем не виноватые люди? А? Объясните мне это, пожалуйста!

Но все молчали, и никто ничего не объяснил доктору.

Все вздрогнули от неожиданного звонка и молча переглянулись.

— Я открою, — сказал Коля.

— Ты с ума сошел, — вскрикнула Марья Андреевна и схватила его за рукав.

— Поля, — позвал доктор, — Поля, пойдите к двери.

Звонок выл, орал, взвизгивал, чья-то безумная рука рвала его.

— Что вы девушку посылаете, — сказал Москвин, — уж лучше я схожу.

— Через цепочку, через цепочку, — закричал ему вслед доктор.

Москвин подошел к двери, подбадривая себя, соорудил рожу, спросил невинным голосом:

— Кто там?

И тотчас женский голос закричал:

— Откройте, ради бога, к доктору, к доктору, ради бога, откройте, к доктору!

Москвин снял цепочку, щелкнул английским замком, но дверь не открывалась.

— Сейчас, сейчас, — сказал он и повернул нижний ключ, но дверь снова не открылась.

— Тьфу ты черт, что такое, — бормотал он и увидел, что дверь была заперта еще на три железных задвижки и большущий крюк.

— Сейчас отопру, — сказал он и отодвинул задвижки.

— Доктор, доктор! — закричала старая женщина в платке и побежала в столовую. — К сыну моему, доктор, умоляю вас, скорей! — говорила она и

платок хлопал, как крылья черной птицы.

Она была полна безумия, и казалось, что ее отчаяние могло заразить не только живых людей, но и камни, по которым она бежала сюда.

Но доктор, видевший страшную смерть в тихих комнатах и светлых больничных палатах чаще, чем воины видят ее на поле сражения, остался спокоен.

— Да перестаньте кричать, — сказал он и замахал руками, — если каждый больной станет так звонить, то на вас звонков не напасешься. И зачем, спрашивается, вы ворвались в столовую?

Женщина посмотрела на него расширенными глазами. Ведь только сумасшедший может говорить про звонок и столовую, когда в мире случилось такое ужасное несчастье. Все спокойные люди были безумны. Кричать и выть должны они, ведь ее сын погибает.

— Доктор, идемте, доктор, идемте! — иступленно говорила она и тащила его за рукав.

— И я пойду с вами, — сказал Москвин, увидев нерешительность доктора.

— Отлично, веселей будет возвращаться, — сказал доктор, — вы пойдете в качестве фельдшера.

И Марья Андреевна дала Москвину докторский пиджак с широкой перевязью Красного креста.

Доктор собирался безмерно медленно, а в коридоре он вдруг остановился и начал брюзжать:

— Вы имейте в виду, что во всем городе есть один безумец-врач, который выходит из дому вот в такие дни. Озолотите Свидлера, чтобы он сегодня перешел через улицу, или пусть Дукельский пойдет к вам за тысячу рублей. Дукельский, который моложе меня на четыре года, а я вот, рискуя жизнью, хожу.

Пустые улицы казались особенно широкими, а дома с закрытыми окнами и наглухо забитыми парадными дверями стояли точно шеренги серых людей, ожидающих казни.

— А-а-а-а-а... — протяжно кричали привокзальные кварталы.

— Доктор, доктор, скорее, — всхлипывая говорила женщина и тянула его за рукав.

— Да не могу я с моим миокардитом бегать, как козел, — сердился он. — Если вы хотите скорее, нужно было извозчика достать.

А когда они подошли к нужному переулку, доктор сказал:

— Подождите секунду, — и, зайдя за угол, остановился у стены.

— Боже мой, боже мой, — шептала женщина и каждый раз, заглядывая за угол, всплескивала руками.

Доктор стоял за углом так долго, что Москвин подошел посмотреть, не уснул ли он, прислонившись головой к стене.

— Вот это припас, — проговорил он и вдруг услышал, как за воротами кто-то шепотом говорил:

— Это доктор, доктор, я его узнаю.

Должно быть, самооборона смотрела на них через щели в досках. Наконец они подошли к одной калитке, Москвин остался ожидать во дворе, а доктор с женщиной поднялись по черным железным ступеням кухонной лестницы.

Доктор пробыл в доме недолго, скоро он спустился вниз, и Москвин спросил его:

— Ну как, что с парнем?

Доктор пожал плечами и плюнул.

— Надо быть полной идиоткой, совершенно выжившей из своих куриных мозгов, чтобы беспокоить врача в таких случаях, — сердито сказал он и пошел со двора.

— Что, пустяки? — обрадовался Москвин.

— Какие пустяки? — удивился доктор. — Но вы себе представляете, чем я могу помочь молодому человеку, которому прикладом раздробили череп и который умер по крайней мере сорок минут назад. А? Как вы думаете — в таких случаях надо беспокоить врача?

Они вышли на улицу, и сверху донесся острый,

сверлящий крик, в котором не было ничего живого и человеческого, — так кричит железо, когда его сверлят насквозь.

Доктор остановился на мгновение и тихо сказал:

— Я уже не говорю о том, что прогулялся совершенно бесплатно. Как-то неловко брать в таких случаях деньги.

Всю обратную дорогу доктор рассказывал Москвину, когда и кем были построены дома, мимо которых они шли. У него была громадная память, он помнил и знал все: сколько стоил дом, приносил ли он доход; доктор даже знал, как учатся дети домовладельцев и где живут их замужние дочери.

Они не встретили ни одного человека, звуки шагов раздавались громко, как в ночной тишине.

IV

В блюдечко было налито постное масло, ватка служила фитилем — называлась эта конструкция "каганец" и пользовались ею для освещения взамен электричества. Каганец трещал, должно быть, к маслу была примешана вода, желтый пальчик пламени сгибался и разгибался, читать при его свете было почти невозможно.

Они сидели на своих кроватях и смотрели, как тени мешков, ящиков, банок струились и извивались по стенам, бесшумно сталкиваясь и вновь разбегаясь.

Факторовича лихорадило. Он измерял после ужина температуру, и у него оказалось больше тридцати восьми градусов. Лицо его с продавленными щеками было совсем темным. Москвин уговаривал его лечь в постель и взялся ему помочь снять туго сходявшие сапоги. Москвин повернулся задом к Факторовичу, и тот протянул сапог между широко расставленных ног Москвина. Москвин, ухватив задник сапога, старался устоять на месте, а Факторович толкал его второй ногой в зад, и от этого сапог сходил с ноги. Им

обоим было больно, они кряхтели. Москвин говорил, сердито скаля зубы.

— Зачем ты каблуком жмешь, сволочь, да еще в самый копчик.

— Проще всего носить ботинки, — сказал Верхотурский.

— Ботинки? — спросил Факторович, и в голосе его было презрение.

Москвин вдруг побежал, держа в руках сапог.

— Теперь давай второй, — сказал он, а Верхотурский подозрительно засопел и спросил:

— А мыть ноги это тоже буржуазный предрассудок, товарищ Факир?

— Мыть ноги? — переспросил Факторович, и снова голос его был полон презрения.

— Да, — сердито и громко сказал Верхотурский, — завтра утром военком пластунского полка будет мыть ноги, верьте мне. — Он снова засопел и добавил: — Иначе означенный военком не будет спать со мной в одной комнате.

— Если большинство товарищей настаивает... — сказал Факторович голосом, которым председатели собраний вводят кажущийся им лишним пункт повестки.

Он презирал свое неможное тело, покрытое черной вьющейся шерстью. Он не жалел и не любил его — не колеблясь ни секунды, взшел бы он на костер, повернулся бы чахлой грудью к винтовочным дулам. С детства одни лишь неприятности приносила ему его слабая плоть — коклюш, аденоиды, насморк, запоры, сменяемые внезапными штормами колитов и кровавых дизентерий, инфлуэнции, изжоги. Он научился, презирая свою плоть, работать с высокой температурой, читать Маркса, держась рукой за раздутую флюсом щеку, говорить речи, ощущая острую боль в кишечнике. Да, его никогда не обнимали нежные руки.

Может быть, первый раз в жизни Факторович промолчал там, где нужно было разоблачать буржуа-

зию, слишком уж он уважал человека, имя которого произносили с одинаковым почтением в Реввоенсовете армии и в Губкоме комсомола. Он подумал, что жизнь в мещанской Швейцарии наложила отпечаток на бытовые привычки Верхотурского.

“Плеханов был тоже барин”, — хотел сказать он и повесил портянку на спинку стула.

— Спрячьте-ка эту страшную штуку, — повелительно сказал Верхотурский.

“Вероятно, он поэтому и скатился к меньшевизму”, — раздраженно решил Факторович и всунул портянку в сапог.

Но когда Москвин, подпевая авторитету, сказал:

— Да оно, пожалуй, и не мешало бы всполоснуть ножи, — Факторович не выдержал и крикнул:

— Поздравляю, ты, кажется, скоро начнешь употреблять одеколон и галстуки, — и задумчиво, ни к кому не обращаясь, проговорил: — Как страшна все-таки сила буржуазной заразы — вот товарищ Москвин, комиссар артдивизиона, сын пролетария, рабочий, коммунист, прожив четыре дня в буржуазной семейке...

— Ложись, ложись, — перебил Москвин, — помни, что доктор сказал, пока шрапнельку не вытащат — лежать колодой!

Но Факторович, презрительно поморщившись, махнул рукой. Он встал, и тень его выросла на стене, он потряхнул головой, и вихрастые волосы зашевелились,

— Вы слышите, — сказал Факторович и показал на темное окно, — это они!

Армия входила в город. Могуче рокотали колеса восьмидюймовых орудий, скрежещущие по камням подковы лошадей выбивали искры, и казалось, что ноги коней громадны, как колонны, обросшие густой страшной шерстью. С жестяным криком проехал броневик, его прожектор осветил мрачно шагавшую пехоту, блеск сотен штыков. Броневик проехал, и штыки погасли, исчезли в темноте, но солдаты все шли и шли — был слышен гул их шагов.

Комиссары стояли у окна, всматриваясь в темноту. То там, то здесь вспыхивали огоньки спичек, раздавались выкрики людей, поспешно отбрыкивали подковы легконогих адъютантских лошадок, но эти звуки глохли в гудении тысяч шагающих сапог. Польская армия входила в город.

— Подумать только, — сказал Верхотурский, — что парень, с которым я одно время встречался в варшавском подполье, который когда-то ходил на сходки, таскал за пазухой литературку, теперь вот состоит генералиссимусом этой контрреволюционной махины, борющейся с коммунизмом.

— Борющейся с коммунизмом! — крикнул Факторович и взмахнул руками. И, может быть, потому, что голова его горела, он заговорил безудержно и громко о великой социалистической революции. И странное дело — хотя детские кальсоны смешно сползали с его живота, а верблюжья голова изможденного иудея тряслась на нежной шейке, и хотя за темным окном раздавался равномерный ужасающий гул молча идущих полков, не было сомнения, что сила на стороне этого верующего человека, стоящего у окна большой полутемной комнаты, заваленной мешками крупы, связками грибов и венками лука.

— Факторович, голубчик, ложись — вредно ведь тебе, — нежно и настойчиво сказал Москвин и, обняв товарища за плечи, повел его к постели.

Москвин долго уговаривал Факторовича лечь, и когда тот, наконец, согласился, Москвин тоже лег, уткнувшись носом в подушку. Факторович укрылся одеялом, закрыл глаза и утих. Потом он начал бросаться, лег на бок, перевернулся на живот, глаза его открылись, ужас отразился в них.

Москвин, приподняв голову, смотрел на него.

— Факторович, что с тобой? — спросил он сдавленным голосом.

Факторович вдруг откинул одеяло, сел, начал водить рукой по простыне, потом он поднес к своим полуслепым глазам ладонь. Верхотурский, припод-

нявшись, молча смотрел на него. Москвин сквозь стиснутые зубы издал какой-то рыдающий звук.

— Эта сволочь, — сказал Факторович, показывая на Москвина, — эта впавшая в детство сволочь насыпала мне в кровать пшена.

Москвин, глядя, как Факторович собирает пригоршни пшена, дрыгал ногами и выкрикивал:

— Ой, не могу, вшей-то, вшей-то сколько...

— Фу ты черт, — сказал Верхотурский, — я думал, что товарищ умирает.

Вскоре Факторович снова лег и сказал:

— Товарищ Верхотурский, не то удивительно, что этот тип два часа с крестнической настойчивостью уговаривал меня лечь в постель, меня удивляет, как в такое время, когда поляки прорвали фронт, когда мы отрезаны, коммунист, вместо того, чтобы напрячь все силы мозга для страшной борьбы, развлекается вот такими игрушками.

Москвин, обессиленный от смеха, махнул рукой и сказал:

— Что со мной говорить, я ведь меньшевик, пропащий для рабочего класса человек, — и грозно добавил: — Ты меня, Факторович, не воспитывай, я из своих боевых ран пролил крови больше, чем ты.

Они начали по-серьезному ссориться, укоряя друг друга и вспоминая разные пустые случаи. Потом они уснули. Москвин похрапывал, а Факторович скрипел во сне зубами, и Верхотурский вспомнил, как в Лукьяновской тюрьме он четыре месяца провел в камере с товарищем, который скрипел ночью зубами; Верхотурский просился в одиночку — этот зубовный скрип раздражал и не давал уснуть.

Должно быть, оттого, что он слишком много ел, у него сделалась жестокая изжога, и он почти до утра лежал с открытыми глазами и, сердито щурясь в темноту, думал о вещах, занимавших его вот уже сорок лет. Мысли его не путались, а шли легко и быстро. Он точно записывал их косым, размашистым почерком. То, что он находился в захваченном

поляками городишке, не волновало и не беспокоило его. Он знал, что найдет способ наладить положение, как делал это уже десятки раз.

И только когда он вспомнил громадную пустоту сегодняшнего дня, вспомнил дом, полный дорогих и глупых вещей, разговоры за столом, ужин, обед, завтрак, чай, он забеспокоился, начал думать, как страшно было бы вдруг заболеть и пролежать здесь несколько недель.

А за окном стояла полная тишина. Город, после того, как вошли войска, спал глубоким сном, точно больной, измученный днем страданий в жестокой операционной комнате и наконец впавший в забытие.

V

Утром город зашумел весь сразу, в домах раскрылись окна, распахнулись парадные двери. Площадь была полна народу. Обыватели встречались, радуясь друг другу, удивляясь встрече, всплескивали руками.

— Ну, что слышно в городе? — спрашивали они.

— Говорят, что штаб армии останется у нас постоянно, — и людям не верилось, глядя на военных, мирно ходивших тут же рядом, что вчера при виде этих серо-голубых шинелей они отходили от окон и, млея, ждали, не утихнет ли вдруг шум шагов возле их дома, не ударит ли мрачный завоеватель винтовочным прикладом по двери. Те, вчерашние, были фронтовиками, они не знали закона, потому что каждый день шли на смерть.

На стенах домов расклеили приказ № 1, и все узнали, что комендант города — полковник Падральский. Полковник Падральский извещал население, что он хочет покоя и того, чтобы жители, не боясь реквизиций, занимались своими делами. Полковник велел всем сдать холодное и огнестрельное оружие, а в последнем пункте приказа жирным шрифтом извещал, что если кто-нибудь вздумает стрелять по

войскам из окон, он, полковник Падральский, велит сжечь дом, из которого производилась стрельба, "а все мужское население в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, проживающее в доме, будет расстреляно".

Обыватели, согласно приказу полковника, занялись своими делами: открыли магазины, перчаточные и шапочные мастерские, сапожные и портняжные заведения, кондитерские и пекарни. И краснощекий ювелир, спрятав под старинный темный комод сверток украденных им часов, рассказывал заказчикам, как его "сделал нищим" худой небритый разбойник, тот, у которого он отвоевал лишь свои ботинки.

А худой солдат ехал полем; ноги его коня дымились от пыли, лицо солдата было совсем серым после ночного перехода, и он внимательно рассматривал бритый беленький затылок мальчишки, ведущего эскадрон по дорогам этой чужой страны, о которой товарищи шепотом рассказывали много чудесных и страшных историй.

Да, город зажил мирной жизнью; может быть, эта мирная жизнь и была самым страшным в годы гражданской войны, более страшным, чем кровавые ночные бои у переправ, чем красный террор защищавшейся революции, чем голод и пожары.

Но обыватели не томились своей страшной жизнью, они не понимали смысла шедшей борьбы, и не много сердец сжималось тоской при мысли, что спокойствие, обещанное полковником Падральским, установится на долгое время.

В этот день доктору исполнилось пятьдесят восемь лет, готовился "большой" обед, дом шумел и грохотал с утра. Марья Андреевна, одетая в ярко-голубой халат, повязав голову цветным украинским платком, убирала комнаты. Она снимала паутину и пыль с белой голландской печки, такой высокой, что Марья Андреевна влезла на стул, поставленный на стол, и, вскрикивая от страха, тянулась к верхним изразцам. Это трудное и опасное предприятие напоминало

восхождение альпиниста на белоснежную вершину недоступной горы.

Доктор, всплескивая руками, бегал вокруг и кричал:

— Сумасшедшая, в твои годы, с твоим сердцем...

Но Марья Андреевна не обращала на него внимания, у нее была любовь к тяжелым и опасным трудам. Она мастерски натирала воском полы, умело чистила дымоходы, не гнушалась прочищать толстой железной проволокой засорившийся унитаз и делала это так быстро и ловко, что старик дворник с восхищением говорил:

— Ай да барыня, вот это настоящая барыня.

На кухне было невероятно жарко от громадной, топившейся с раннего утра плиты. Казалось, что мухи, шныряющие в открытое окно, не выдерживая жары, вылетают на улицу отдышаться, а освежившись и набравшись сил, вновь возвращаются к кухонным трудам.

Москвин, сидя на корточках перед плитой, ворошил кочергой уголья, и горячий снег искр сыпался через решетку. Он так старательно подкладывал сухие березовые поленца, что плита прямо-таки ревела, заполненная белыми и желтыми лоскутами пламени.

Поля открывала духовку и говорила:

— Та годи же, в цэй духовци нэ то що стрюдель, а пасху мона печь.

Она плевала на раскаленное дно духовки, и слюна вспучивалась и вскипала.

Поля была сейчас счастлива. Сирота, ушедшая служить в город, она уже шесть лет работала прислугой, научилась готовить господские блюда, прошла всю хитрую школу горничной и кухарки, умевшей делать тысячи вещей, чтобы хозяева вкусно, тепло и чисто жили. Ночью, лежа на своей дощатой кровати, полуживая от четырнадцатичасовой работы, она мечтала о том, как выйдет замуж и заживет своей, а не чужой жизнью. И теперь ей казалось, что кухня принадлежит ей, что она жена этого веселого

молодого парня, который так ловко колет левой рукой дрова и так душевно расспрашивает ее про деревенскую жизнь, шепотом учит неповиновению докторше, жалеет ее загубленную у плиты молодость.

И удивительное дело — Москвина тоже тянуло на кухню. Простой солдатский план, который он сразу же замыслил в вечер своего приезда, увидев девушку, принесшую самовар в столовую, сейчас казался поганым и ненужным.

Он злился, когда Марья Андреевна за столом говорила, что на украденное у нее горничными и кухарками можно построить трехэтажный дом. Он поражался той громадной работе, которая была навалена на Полю, — самовары, завтрак, обед, мытье полов, мойка посуды, дрова, вода, беганье к дверям, десятки мелких и мельчайших поручений. А поздно ночью, когда все уже ложились и тушили свет, из спальни раздавался голос Марьи Андреевны:

— Поля, Поля, дай мне, пожалуйста, стакан чаю, я буквально умираю от жажды.

И спустя минуту в коридоре слышалось топанье босых ног.

По вечерам он сидел на кухне у открытого окна и разговаривал с Полей. Он учил ее стратегии классовой борьбы, советовал, как устроить капкан для хозяйки и заставить ее заплатить восемьсот миллионов рублей за сверхурочную работу. Потом он рассказывал Поле, как ей будет хорошо и легко жить при социализме, утешал ее, что терпеть осталось недолго — месяцев восемь, десять. А днем, так как ему, рабочему человеку, было тошно видеть свое безделье и ее тяжкие труды, он рубил дрова, топил плиту и очень умело чистил картошку, так ловко, что Поля, глядя на него, хохотала и говорила:

— А боже ж мой, ну чисто як женщина.

Правда, теперь, разгоряченный чугунным жаром плиты, Москвин поглядывал на босые ноги Поли очень свирепыми глазами, а когда она подходила к плите, лапал ее за всевозможные места, и они

начинали возиться и хохотать.

Оборванная старуха-еврейка сидела на кухне, ожидая пока пройдет хозяйственный пыл Марьи Андреевны и ее позовут в столовую рассказать про харкающую кровью дочь, про зятя, пытавшегося прокормить восемь человек шитьем мужских подштанников и потерявшего зрение, потому что, жалея керосин, этот умник работал в темноте, про заморыша внука, родившегося без ногтей, про внучку, полгода сидящую дома, так как неудобно большой девочке выйти на улицу в одной рубашке. Старуха знала, что после ее рассказа Марья Андреевна закроет лицо руками и тихо начнет говорить: боже, боже, — а потом вынесет ей столько мешочков крупы, муки и фасоли, что вся семья три недели не будет бояться голодной смерти. И она даже знала, что докторша снова куда-то уйдет и вернется с детским платьицем. Тогда Цына заплачет и докторша заплачет, потому что они обе — старые женщины и не могут забыть детей, умерших двадцать лет назад. Старуха, тихонько покачиваясь, сидит на табурете и вдыхает сладкие, жирные запахи рождающихся пирогов. Москвин и Поля не обращают на нее внимания. Им кажется, что старуха ничего не видит, ничего не понимает, а она, искоса поглядывая на них, бормочет:

— Ну-ну, надо иметь медное желание, чтобы хотеть такую девушку, как эта...

Этот спокойный день был очень длинен. Факторович лежал, его лихорадило, кружилась голова. Читать ему не хотелось — в доме не было книг по философии и политической экономии, а Мережковского, которого принесла ему Марья Андреевна, он с презрением отверг. Лежа с закрытыми глазами, Факторович думал. Этот сытый, спокойный и ласковый дом напоминал ему детство. Марья Андреевна характером очень походила на одну его тетку — старшую сестру отца. И он вспомнил, как два года назад, будучи следователем Чека, он пришел ночью арестовывать ее мужа — дядю Зему, веселого толстяка, киевского

присяжного поверенного. Дядю приговорили к заключению в концентрационном лагере до окончания гражданской войны, но он заразился сыпняком и умер. Факторович вспомнил, как тетка пришла к нему в Чека и он сказал ей о смерти мужа. Она закрыла лицо руками и бормотала: боже мой, боже мой, — совсем так, как это делает Марья Андреевна.

Да, с тех пор он не видел ни отца, ни матери, ни сестер. И сегодня он вспомнил их — может быть, они все умерли уже. Он задремал, и ему снились очень глупые сны.

— Я не хочу больше супа! — плаксивым голосом кричал он и топал ногами, а отец чеканил:

— Кто не ест супа, тот не получит компот.

Потом он снова открыл глаза, над ним стоял Верхотурский и говорил:

— Я вас разбудил. Вы плакали и орали диким голосом.

Да, Факторович себя скверно чувствовал в течение этого нудного и тяжелого дня. Несколько раз он приподнимал голову и удивленно смотрел на Верхотурского. Тот сидел на мешках, рядом с очкастым парнем Колей, и оживленно с ним говорил.

Вероятно, чтобы не мешать Факторовичу, они говорили вполголоса, слов нельзя было разобрать.

Верхотурский смеялся, жестикулировал и, видно, рассказывал что-то смешное: Коля, слушая, вытягивал шею и часто ржал. Этот разговор очень занимал Факторовича — о чем мог так оживленно говорить участник трех заграничных съездов партии с этим мальчишкой?

Но он снова задремал, а когда открыл глаза, Верхотурского и Коли уже не было. Постучалась Марья Андреевна, она пришла насыпать в длинные, похожие на чулки мешочки манную крупу и пшено. Крупа шурша сыпалась в мешочки, и Марья Андреевна громко вздыхала. Потом она сказала властным голосом:

— Я вам запрещаю сегодня вставать с постели,

обед вам принесут сюда.

Факторович сварливо ответил:

— Ну, положим, я этого барства не признаю.

— Я отвечаю за ваше здоровье перед вашей матерью, — сказала она и ушла, утряхивая крупу.

Тоска охватила его, это бессмысленное существование было ужасно: больше месяца, как его эвакуировали с фронта, и он таскается по госпиталям, ведет нудные разговоры с врачами, а дни, проведенные в этом паточном доме, его окончательно доконали. Нужно сегодня же устроить совещание с Верхотурским и Москвиным. Нужно принимать срочные меры. Зачем добродетельная дама мучает его своими заботами? Сегодня же он скажет ей обо всем.

Перед обедом раздался резкий, тревожный звонок. Факторович подумал, что это пришли звать доктора к тяжелобольному, но через несколько мгновений он услышал громкий мужской голос, хлопанье дверей, стук сапог.

— Цо?.. Пся крев! — вдруг раздалось под самой дверью, и в комнату, гремя сапогами, вошел польский офицер в плаще и каске. Его лицо было совершенно белым, черные наглые усики колечками поднимались над верхней губой.

Сердце Факторовича остановилось. Ему показалось, что он краснеет, что щеки его горят, но в действительности лицо его стало мертво-серым.

— Прощу пана, ваши личные документы, — лающим голосом крикнул офицер.

”Пропало”, — подумал Факторович и, приподнявшись на постели, заикаясь, спросил:

— Позвольте узнать, какое вы имеете право врываться в частную квартиру и проверять документы?

Такой вопрос задал ему в прошлом году петлюровец-агроном, которого он пришел арестовывать.

— Цо то есть право? — заревел поляк, и Факторович подумал: ”Они могут спрятаться в погребе”.

Он решил поступить как птица, желающая хитростью увести охотника от своего гнезда. И как только

Факторович подумал, что нужно спасти Верхотурского и Москвина, он сразу же успокоился и, подняв глаза, в упор посмотрел на поляка. Тогда он увидел, что лицо офицера обсыпано мукой, а черные колечки усов нарисованы углем.

— Ты г... — истерически закричал он и подушкой сбил с офицера картонную каску.

— Что, намочил в штаны? — спросил поляк и принялся приплясывать вокруг постели.

На этот раз они поссорились по-настоящему. Факторович даже хотел дать Москвину по морде, и Москвин сообразил, что переборщил, — Факторович так переволновался, что не мог обедать.

— Вы начали беситься, — сказал им Верхотурский, — сегодня же вечером вводятся обязательные для коммунистов лекции по историческому материализму. Каждый день три часа.

А на торжественном обеде было много гостей. Верхотурского представили им как одесского юриста, застрывшего в городе при переходе власти, а Москвин сошел за землемера, приехавшего лечиться из деревни. И так как всем было известно, что у доктора постоянно живут в гостях всевозможные родственники и знакомые, а также родственники знакомых и знакомые родственников, все поверили в юриста и землемера.

За обедом рассказывали о страшном вчерашнем дне. Называли убитых, подробно перечисляли, кого и насколько ограбили, пили за здоровье лучшего врача в городе, за самое прекрасное и доброе женское сердце, а владелец аптеки, изрядно глухой старичок, предложил тост за "спокойствие, еще раз спокойствие и снова спокойствие, и в общем за quantum satis спокойствия для всех мирных граждан и их семей".

Этот тост так понравился, что все начали смеяться, хлопать в ладоши, а молодой доктор Рыбак даже закричал ура. Но так как его никто не поддержал, Рыбак смешно пискнул, покраснел и тотчас же начал сморкаться, хотя никакой надобности в этом не

было.

А к концу обеда все развеселились, и оказалось, что даже вчера, в этот страшный и тяжелый день, произошла одна прямо-таки уморительная история.

Несколько богатых купцов, нарядившись в свои лучшие костюмы, отправились вместе с женами встречать поляков. На пустыре, возле вокзала, их нагнали два кавалериста и раздели буквально донага. Усатый доктор-хирург, рассказывая эту историю, помирал от смеха.

— Если б вы только видели мадам Самборскую, если бы вы ее только видели, — мотая головой, говорил он. — Ведь они шли мимо моих окон. Вера Павловна думала, что со мной будет удар, клянусь вам богом, никогда в жизни я так не смеялся.

— Что они дети что ли? — сказал доктор и пожал плечами. — Все знают, что пока в городе разведка, следует сидеть дома и никуда не выходить. А эти еще сдуру нарядились.

— Вы б уже молчали, — сказал усатый хирург. — Ведь вы единственный врач, который вчера занимался практикой.

— Но ведь это его долг врача, — удивилась Марья Андреевна.

Усатый доктор подмигнул и шепнул своему соседу, розовому большеносому гинекологу:

— Марк Львович, как вы думаете, это из врачебного долга наш именинник рискует своей жизнью?

С Верхотурским беседовал доктор Сокол, уроженец Одессы. Сокола беспокоила судьба оперного театра. Верхотурский, выступавший в этом театре месяца полтора назад на конференции комиссаров 14-й армии, успокоил его.

— Слава богу, — сказал Сокол. — Зимний дворец они сожгли, Кремль в Москве развалили, не хватало только, чтобы они погубили одесскую оперу.

Первое занятие состоялось после завтрака. Верхотурский начал с опроса учеников. Самым знающим оказался Коля. Со вчерашнего дня он не отходил от Верхотурского, говорил с ним весь вечер, принес ему толстые тетради, в которые записывал конспекты прочитанных книг, а утром, еще до завтрака, он пришел в комнату, уселся на мешок сахара и молча смотрел на Верхотурского.

Этот мальчик прочел за свой пятнадцатилетний век столько книг, что мог потягаться в учености с человеком, имеющим высшее образование.

Он читал курсы физики Эйхенвальда и Косоногова, читал "Происхождение видов", "Путешествие на корабле Бигль", "Основы химии", проштудировал "Элементы дифференциального исчисления" Грэнвилля, прочел несколько десятков книг по геологии, палеонтологии и астрономии. Сейчас он конспектировал первый том "Капитала", переписывал в тетрадь целые страницы малопонятной ему книги. Его сильно беспокоило, должен ли он посвятить себя науке и подарить человечеству новую теорию строения материи, либо вступить в ряды бойцов за коммунизм.

Одинаково прекрасными казались ему величественный путь Фарадея и Либиха, трагическая дорога Чернышевского и Карла Либкнехта. Кем быть? Ничтоном или Марксом? Это был нешуточный вопрос, и Коля, несмотря на свою ученость, не мог решить его.

Главная беда заключалась в том, что не с кем было посоветоваться. Знакомые доктора, приходившие в гости, были безнадежными идиотами. Он видел, что ни ураганный артиллерийский огонь, ни кавалерийские атаки, ни взрыв поезда снарядов, потрясший весь город, не могли ничего поделать с этими людьми. Они упорно под гул орудий и взрывы гранат продолжали говорить о реквизированных комнатах, о цене керенок, о золотых пятерках и о вреде сахара. Они ругали большевиков — безумцами,

фанатиками и хамами; петлюровцев — разбойниками и погромщиками; осуждали деникинцев за разврат и мечтали о немецкой оккупации, при которой можно будет ездить в Баден-Баден.

Других людей Коля не видел. Отец был отсталым человеком, он не знал, что существует классовая борьба и что атомы состоят из электронов. Мать, когда Коля сказал ей, что подумывает уйти в Красную армию, назвала его юным мечтателем, узнала в нем свою беспокойную душу и обещала снять с него штаны, ботинки и запереть в кладовую.

И вдруг Коля увидел человека старого, с довольно толстым брюшком, который разительно не походил на окружающих его людей. Орел среди кур! Это был человек, сошедший со страниц книги, это был человек его ночных мечтаний.

Вчера он сказал: "Знаешь, юноша, когда-то я хотел, подобно Лафаргу, покончить с собой, достигнув шестидесятилетия, боялся старческого окостенения, но, глядя на вашего папашу, вижу, что во мне есть еще запасец пороха лет на тридцать". Он не был похож и на Факторовича — ни разу он не сказал громкой, напыщенной фразы, от которой Коле становилось немного совестно и неудобно. То, что он говорил, было всегда просто, до смешного понятно. В нем была громадная сила насмешки. И в нем было еще нечто, чего Коля, несмотря на свою ученость, не мог понять. Ночью, лежа в постели и вспоминая разговор с Верхотурским, он вдруг расплакался, такое необычайное волнение охватило его.

И вот этот человек сидел на табурете, перебирал, подобно четкам, связку сморщенных коричневых грибов и, смеясь, говорил:

— Москвин человек в теории явно невинный. Факир чудовищно утверждает куновскую ересь, но защищает ее не от испорченности, а лишь в силу той же невинности в теории. Единственным ответившим, что же такое производственные отношения, оказался юный абитуриент, потому начнем сначала.

Никогда Коля не был так горд и счастлив, как в эти мгновения.

Урок длился около двух часов. Москвин, красный, точно он все еще сидел перед раскаленной плитой, прислушивался к словам Верхотурского, то хмурился, то вдруг начинал улыбаться и кивать головой. Коля, вывалив изо рта язык, быстро писал в общую тетрадь, на первой странице которой было написано синим карандашом: "Абсолютная истина прекраснее всего". Факторович внимательно смотрел на Верхотурского и временами, делая страдальческое лицо, бормотал:

— Ну, положим, это я знал давным-давно.

— Я у тебя потом спишу, — сказал Коле Москвин.

А после лекции у них началась беседа, и впервые, пожалуй, в квартире доктора люди оживленно, волнуясь и перебивая друг друга, говорили о предметах, не имеющих никакого отношения к их личным делам, удачам и неудачам.

Перед обедом Москвин и Факторович сели играть третью партию матча. Играя, они все время говорили друг другу колкости, а под конец партии Факторович подставил королеву и хотел взять ход назад.

— Ну нет, товарищ, — сказал Москвин и ухватил рукой королеву.

— Я еще не пошел, — кричал Факторович, — я только взял рукой!

— Не берись рукой, ты уже большой, — говорил Москвин и тянул королеву к себе.

Кончилось тем, что они снова поссорились. Факторович разбросал фигуры и сказал:

— Можешь считать, что я проиграл, а ты выиграл, — и добавил: — Партач и мошенник.

Москвин заявил, что он лучше согласится сидеть в концлагере, чем играть с тронутым человеком в шахматы, и что он, Москвин, любит интересную и справедливую игру, а с Факторовичем, который стремится к выигрышу, тошно играть.

За обедом Марья Андреевна сердито сказала:

— Поля, ты, видно, влюблена: суп соленый, как рапа, его невозможно в рот взять.

И Факторович, зная застенчивость Москвина, сказал невинным голосом:

— Хорошо, что Москвин не готовил третьего, а то кисель тоже был бы соленым.

Эффект получился внушительный — Поля убежала, а Москвин подавился.

Факторович продолжал издеваться, и Москвин так смутился, что не мог поднять головы, сидел красный, со слезами на глазах, и старательно, деловито жевал, точно ел не кисель, а жесткое мясо.

Спас его приход доктора, как всегда опоздавшего к обеду. Доктор не выносил, когда разговор шел без его участия. И сейчас, усевшись, он потер руки, беспокойно посмотрел на Факторовича и сказал:

— Позвольте, позвольте минуточку, я вам лучше расскажу нечто более интересное.

И он принялся рассказывать. Все давно уже пообедали, Поля убрала со стола, а доктор все выкладывал да выкладывал одну новость за другой. Сегодня к нему приходил в качестве пациента польский офицер, от него доктор узнал подробности прорыва. Фронт уже отодвинулся на восемьдесят верст от города. Он искал сочувствия военкомов, точно они должны были радоваться вместе с ним, и когда он сказал: "Да, надо думать, что на этот раз большевикам пришла крышка", — его вдруг испугали лица Факторовича и Москвина, они смотрели на него какими-то зверскими глазами.

— Вам нездоровится? — спросил доктор у Факторовича.

Один лишь Верхотурский улыбался и посмеивался, и доктор, обращаясь к нему, продолжал:

— Могу вас порадовать: сегодня заезжал ко мне городской инженер и обещал через два дня пустить станцию, штаб армии дает ему восемь вагонов каменного угля. Да, во всем чувствуется совершенно новый дух. Когда привезли с фронта раненого

начдива, привезли, конечно, ко мне, и нужно было посмотреть рентгеном раздробленное бедро, потому что Степан Корнеевич не брался без снимка делать операцию, военный комиссар велел вырубить роскошный сад и топить фруктовыми деревьями котлы, чтобы дать энергию. Культурно? Разумно? Владелец сада, Мерк, честнейший человек, немец, уважаемый всем городом.

— Да, это ужас, — сказала Марья Андреевна. — Когда он мне рассказывал об этом, то плакал горячими слезами и я плакала вместе с ним.

— Какие у него были груши! — перебил доктор. — Каждый год ко дню рождения жены он посылал нам большую корзину; я ведь лечил всю его семью, двух дочерей, тещу...

В это время кто-то робко постучал в дверь и спросил:

— Доктор, вы скоро?

Это, очевидно, был ходок от ожидавших в приемной больных. Доктор вскочил и убежал, не закончив рассказа про груши.

После обеда Москвин и Факторович сидели на кроватях. Уныние охватило их. Покачиваясь и зевая, они смотрели друг на друга.

— Эта жирная жратва превратит нас в кретинов, — убежденно проговорил Факторович.

— Да, — сказал Москвин, — давай поговорим с Верхотурским, — нужно драпать отсюда.

— Тут, наверное, есть подпольный комитет, но как с ним связаться?

В это время вошел Верхотурский. Он оглядел унылые фигуры товарищей, уселся рядом с Москвиным, обнял его за плечи и сказал:

— Дети мои, может быть, вам и следует еще пожить здесь и полечиться, но мне лично пора прекратить пытку сливочным маслом и цыплятами, труба зовет.

— Мы не останемся, — в один голос крикнули Москвин и Факторович.

Верхотурский изложил им свой план:

— Я говорил с доктором. "Культура культурой, — сказал я ему, — но если нас обнаружит дефензива, то тебе не поздоровится". Вы знаете, что он горит желанием помочь нам, ему это легко сделать. У него громадные связи, все извозчики его знают, доктор сегодня был у одного, промышляющего контрабандой; он должен вернуться через два дня, и в следующий рейс мы поедem с ним. Вот и все.

— А как же он нас провезет, — усомнился Москвин, — вдруг начнут документы проверять?

Верхотурский рассмеялся:

— Ну, милый мой, вы не знаете этих бородатых мошенников. Они провезут на подводе дредноут, не то что трех добропорядочных людей. — Он снова рассмеялся. — Я вспоминаю, как при налаженной границе возил через Дунай кипы нелегальщины; единственное, чего боялся мой гид, это как бы лодка не утонула от чрезмерного груза.

— Не знаю, — сказал Факторович, — а по-моему, нужно искать связей с подпольным комитетом, я не верю этой сволочи.

— Что же, Факир, ищите, — ответил Верхотурский, — я вам не запрещаю.

— Буду искать, — сказал упрямо Факторович, — я не верю этой накипи.

Он ушел из комнаты и в коридоре столкнулся с Колей.

— Верхотурский здесь? — спросил Коля. — Я хочу у него узнать, не ошибся ли я, когда записал...

— Он спит, — перебил Факторович и отвел Колю к вешалке.

— И я пойду, — умоляюще прошептал Коля и схватил Факторовича за руку.

Потом Коля принес в ванную комнату охапку своей одежды, и Факторович надел серую курточку, а свою гимнастерку бросил в корзину для грязного белья. Курточка пришлась ему впору — он был узкоплеч и мал ростом.

За ужином обнаружилось, что Факторовича и Коли нет дома. Поля сказала, что видела их — они ушли вместе. На дворе было уже совсем темно. Марья Андреевна посмотрела на часы, потом на темные окна и схватилась рукой за грудь — у нее начался сердечный припадок. Марью Андреевну уложили на диван, и доктор, стоя над ней, громко шептал, отсчитывая валериановые капли. Вдруг она зарыдала и протянула вперед руки — в дверях стоял Коля. Лицо его было грязно, рубаха порвана.

— Пей, пей, — плача от радости, закричала Марья Андреевна и протянула сыну приготовленный для нее стакан с валериановыми каплями.

— Оставь меня в покое, пей сама, — сердито сказал Коля и быстро спросил: — Он не пришел?

— Нет, — ответил Москвин и сразу все понял.

Ясное дело — Факторович попался. Да, Коля подтвердил это. Они вышли на улицу и на углу увидели бегущих людей. "Назад, назад", — кричали люди. Они не успели убежать, их окружили солдаты и погнали на главную улицу. Там их присоединили к толпе задержанных.

Конный офицер ездил вдоль колонны и хлыстом указывал не некоторых людей, велел им выйти из толпы; указал он и на Факторовича.

— Учуял гад, — сказал Москвин.

— Ну, и их увели под конвоем, — рассказывал Коля, — а нас погнали на товарную станцию грузить мешки в вагоны.

— С чем мешки? — спросил доктор.

— Зерно и сахар, — всхлипывая, ответил Коля, — наверное, сто вагонов.

— Это в обмен на каменный уголь, — сказал Верхотурский.

— Да, в обмен, — подтвердил Коля, — а потом один пьяный, я не знаю кто он, в коротеньком мундире, вынул шашку и начал резать одному старому еврею бороду, и у того пошла из лица кровь, и он стал кричать, а он начал его бить сапогом. И все

стали кричать и плакать, чтобы он его отпустил, и тогда они начали бить всех саблями, не насмерть, а плашмя, по лицу и по голове. И поднялась паника, а там еще кругом стояли женщины, и они ужасно закричали и заплакали, тогда я проскочил под вагон и убежал. Да, и еще когда всех начали бить, возле меня стоял один еврей, грузчик, и он вдруг страшно закричал: "Ой, люди, я отжил", — и ударил того, коротенького, по морде, и он упал, а я сам видел, как они его зарубили.

— Боже мой, — вдруг поняв все, вскрикнула Марья Андреевна, — ведь ребенок был на волосок от смерти!

Она обхватила Колю за плечи и, прижав к себе, начала целовать в щеки, а он вырывался и сурово говорил:

— Да оставь ты эти глупые нежности.

— Чего ради вас понесло на улицу? — спросил доктор.

— Просто вышли погулять.

В комнате-кладовой Коля рассказывал секретные подробности Верхотурскому и Москвину.

— Да, скажи мне, пожалуйста, куда он хотел идти? — спрашивал Верхотурский.

— К машиностроительному заводу, в рабочие кварталы.

Верхотурский ударил себя обеими руками по ляжкам:

— Вот уж действительно совершенный ребенок! Что же он хотел в рабочих кварталах стать на углу кварталов и останавливать прохожих: "Простите, вы случайно не член подпольного комитета?" Он тебе не говорил, что собирался делать в кварталах?

— Пойду искать, — решительно сказал Москвин.

— Что?!! — гаркнул Верхотурский. — Хватит того, что один уже провалился возмутительно, по-дурацки; не терплю этого картонного героизма, несообразного ни с какой целью.

— Может, и несообразный, — сказал Москвин, — а

я Факторовича так не оставляю.

— О господи! — вздохнул Верхотурский и принялся убеждать Москвина.

Почти до утра по коридору раздавалось топание Полиных босых ног — разволновавшаяся Марья Андреевна принимала лекарства и пила чай. Но Москвин не вышел в коридор, он сидел на кровати, держась руками за голову, и тихо вопрошал:

— Эй, Факторович, дружба, что же это?

Верхотурский лежал молча, и не было известно, спал он или думал, глядя в темноту.

VII

Это был тяжелый день. Утром доктор ссорился с женой. Из спальни были слышны их злые голоса.

— Ты превратила наш дом в конспиративную квартиру, — говорил доктор, — теперь этот человек на допросе укажет, что скрывался у нас, потом найдут этих двоих. Ты понимаешь, что это все значит?

— Это не твое дело, — отвечала Марья Андреевна, — я буду отвечать за все, а не ты.

— Ты нас погубишь, сумасбродка!

— Не смей учить меня, — крикнула Марья Андреевна, — ни один человек не посмеет сказать, что я ему отказала в помощи, слышишь ты или нет?

Москвин, сидя в столовой, слышал этот разговор. Он ушел на кухню.

— Эх, дурак, не знаешь ты, что такое Факторович, — бормотал он и ругал доктора.

На кухне тоже был тяжелый день — стирка. Поля, стоя среди мятых холмов грязного белья, терла тяжелые мокрые скатерти на волнистой стиральной доске. Серый столб пара поднимался до самого потолка, воздух в кухне был тяжелый, как мокрая грязная вата. Потное лицо Поли казалось совсем старушечьим, глаза выпуклыми и злыми. Она стирала

с пяти часов утра, но вызывавшая ярость и тошноту груди белья не хотела уменьшаться. В дни стирки все боялись Поля, даже Марья Андреевна предпочитала не ходить в кухню и, заказывая обед, робко говорила:

— Варите сегодня, что хотите, что-нибудь полегче.

В день стирки кошка сидела в коридоре, вылизывая бока и нервно подергивая лопатками, нахлебник-пес уходил на нижнюю площадку кухонной лестницы и уныло взирал на полено, которым в него метнуло обычно ласковое существо, царившее среди сладких костей и великолепных запахов кухни.

Но Москвин не знал этого, и потому он не мог по-настоящему оценить улыбку нежности, которой встретила его Поля. Мрачно кивнув ей, он пошел к плите и взялся за кочергу "поднимать давление". Лишь несколько раз искоса поглядев, как мечутся под сорочкой Полины груди, Москвин спросил:

— Что, замучили тебя, сволочи?

Поля, распрямившись, повела плечами, стряхнула с рук трещащую мыльную пену, упавшую в серо-голубую, казавшуюся почему-то холодной воду, вытерла пот со лба.

— Шоб воны уже вси повыздыхали, буржуи прокляты, — сказала она и улыбнулась Москвину усталым, нежным ртом. Потом снова склонилась над корытом.

Это был тяжелый день. Ветер поднимал тучи пыли, она мчалась над улицей, плясала на площади, слепила прохожих, забивалась в уши, нос, скрипела на зубах. И этот холодный ветер, потушивший жар весеннего солнца, эта пьяно пляшущая над площадью пыль вселяли тревогу в сердца обывателей.

Сорванные ветром ставни хлопали, и прохожие вздрагивали — им казалось, что снова над городом рвутся снаряды. Их пугал шорох ветвей, грохотанье жести на крышах, гневные глаза красноармейца с несорванного плаката: "Шкурник, иди на фронт!" Все говорило о призрачности покоя, обещанного полковником Падральским.

А когда по главной улице поспешно прогрохотали орудия легкой батареи и куда-то поскакали с белокрасными флажками кавалеристы, в городе родился слух, что большевики снова перешли в наступление, что дивизии китайцев и латышей, переброшенные с Южного фронта, разбили поляков.

Это был тяжелый день. Верхотурский ходил по комнате, заложив руки за спину. Вот он зацепился ногой за торчащее тугое ухо мешка и так остервенелось, что поднялось облачко муки и белым пятном легло на пол.

Верхотурский подошел к стене, сорвал объявление о турнире и, скомкав его, сердито бросил.

— Факир, — сказал он, — за такие вещи надо исключать из партии. Вместо того, чтобы спокойно подождать два дня... — и он наступил на объявление.

По всему было видно, что и ему не легко давалось спокойное ожидание. Лишь когда пришел Коля, Верхотурский перестал ходить по комнате. Почему-то присутствие этого худого, нескладного мальчика успокаивало его.

— Товарищ Верхотурский, — сердито сказал Коля, — возьмите меня с собой!

— Ку-уда? — рассмеялся Верхотурский. — Коля, — сказал он и сам удивился своему голосу, — Колюшка, тебе ведь нет еще пятнадцати лет; ей-богу, это получится по Майн-Риду, над которым ты смеялся.

Подбородок Коли отвис, углы губ опустились, лицо сделалось от этого совсем длинным, и Верхотурский, глядя на него, проговорил:

— Ты, брат, не знаешь, какая чудесная жизнь лежит перед тобой. — Он закрыл глаза и покачал головой. — Какая жизнь, ах, какая жизнь! Наука, музыка, вот эта самая медицина, которую мы здесь, сидя с тобой, освистали. Куда тому саду, который вырубил военком, до наших садов. Какие у нас будут врачи, ученые, писатели. И ты один из них, Коля.

Но лицо Коли не сделалось веселей, хотя он внимательно слушал про чудеса будущей жизни.

— Знаешь что? — сказал Верхотурский. — Ты приезжай ко мне в Москву как только наладится движение, напиши и приезжай. Условились?

Он обнял Колю за плечи и вдруг поцеловал его в висок.

После этого он рассердился и сказал:

— Извлеки-ка Москвина из кухни, продолжим наши занятия.

Во время обеда доктор рассказал, что к нему утром приезжал вчерашний поляк, личный адъютант начальника артиллерии, весьма важного генерала, который близок самому Пилсудскому. Генерал последние дни недомогает, и адъютант обещал, что вечером, когда они будут возвращаться из штаба мимо докторского дома, они заедут к доктору.

— Я сказал, что рассчитываю на этот визит не только как врач, понимаешь, пригласил его от твоего и своего имени.

— Что ты наделал, — взволновалась Марья Андреевна, — как я его приму сегодня, да еще, как назло, стирка и Поля абсолютно невменяема.

Но тревоги были напрасны — доктор, зайдя в столовую и оглядев накрытый к ужину стол, рассмеялся и восхищенно сказал:

— Ты прямо-таки министр, Ллойд-Джордж!

— Я его буду просить за Факторовича, — решительно сказала Марья Андреевна.

— Ты форменная идиотка! — в ужасе крикнул доктор и схватился руками за волосы.

Марья Андреевна весь день ссорилась с мужем и поэтому особенно нежна и внимательна была к Москвину и Верхотурскому.

Она уговаривала их выйти к ужину, но они отказались наотрез.

— Ну что же, тогда вы будете купаться, — сказала она Верхотурскому, — сегодня стирка и есть горячая вода в колонке.

Марья Андреевна подробно объяснила ему, что ванну не следует делать слишком горячей, что ни в

коем случае нельзя становиться босыми ногами на каменный пол, что тотчас после ванны нужно лечь и укрыться, ужин ему принесут в постель.

Она погладила его по плечу и сказала:

— Когда я думаю о вас, мне хочется плакать, вы старше доктора на несколько лет, а у вас нет ни семьи, ни уюта, ни дома. Вечный вы странник!

— Ничего, ничего, — утешил ее Верхотурский, — я привык.

Он пошел в ванную комнату, а Москвин отправился с Полей на чердак развешивать белье.

После ванны Верхотурский, войдя в комнату, посмотрел на пустую кровать Факторовича и сказал:

— Эх, Факир, Факир...

Он сидел, опустив ноги с кровати. Из столовой слышались звуки пианино — это Марья Андреевна играла гостям полонез Шопена.

Тело болело после купанья, голова немного кружилась, а музыка была такой печальной и веселой, такой тонкой и капризной. От нее болело сердце, и ничего, казалось, не могло быть слаще и ненужней этой боли. А может быть, сердце болело оттого, что он не послушался Марьи Андреевны и купался в очень горячей воде?

Верхотурский открыл глаза — перед ним стоял доктор.

— Я на минуточку, — сказал он, — должен сообщить неприятную историю; только что прибегали звать меня к человеку, с которым вы должны были завтра уехать. Он сломал себе ногу, понимаете — вносил кипу товара и упал с лестницы.

— Фу ты черт, как глупо! — сказал Верхотурский и, поглядев на доктора, добавил: — Не нужно огорчаться, через два дня, так или иначе, нас здесь не будет.

— Что ты, что ты! Живите здесь хоть два года, — ответил доктор.

Он ушел, а Верхотурский закрыл глаза и слушал музыку. Кажется, никогда в жизни ему не было так

грустно, как в этот вечер.

Да, должно быть, этот польский полководец любил те же произведения, что и он. Во всяком случае, Марья Андреевна играла те вещи, которые хотелось слушать Верхотурскому.

Потом музыка прекратилась, и он лег в постель. Сердце тяжело хлопало, в груди кололо, иногда сердце вдруг проваливалось куда-то, и он хватался рукой за спинку кровати; казалось, что он летит.

Да, Верхотурский купался в горячей воде, и вот его сердце расшалилось...

Москвин пришел с чердака, когда гостей уже не было.

Войдя, он увидел постель Факторовича, и холод тревоги охватил его. Весь день он тосковал, охал, не переставая думал о товарище, а вечером совершенно забыл про него. Может быть, Факторовича вели на расстрел, пока Москвин развешивал белье на чердаке?

Проснулись они одновременно, их разбудила Поля. Какой-то человек стоит под кухонной дверью и спрашивает их. Часы в столовой пробили три раза, было совершенно темно. Москвин побежал на кухню босиком, придерживая руками кальсоны.

Через несколько минут он вернулся.

Верхотурский спросил из темноты:

— Ну что?

— Идем, идем, — возбужденно зашептал Москвин. — Ждут нас. Лошади, документы — все есть... Факторович, сволочь, удрал из комендатуры вместе с этим парнюгой из комитета, в деревне нас дожидается.

Он вдруг рассмеялся:

— Поля-то ни за что его впустить не хочет, хозяина бережет, он на лестнице нас ждет.

Они оделись в темноте, волнуясь и спеша; так одеваются матросы, разбуженные в своем доме ночной тревогой, зовущей их в плавание.

И с тем чувством, с которым моряки, ни разу не оглянувшись на мирные огоньки земли, вдыхают холодный воздух и радостно всматриваются в мрачное

и суровое ночное море, в котором им суждено жить и умереть, Верхотурский и Москвин навсегда ушли из теплого докторского дома.

И они не узнали, что произошло после их ухода. Поля зашла в кабинет доктора. Там она долго рылась в стеклянном шкафчике и выбрала из всех баночек с лекарством самую большую, самую темную склянку, с грозной латинской наклейкой: "Kalium bromatum", высыпала на руку белые кристаллики, помертвев, проглотила соленый, страшный порошок.

Жизнь была не нужна ей; она знала, что больше не увидит ушедшего.

Утром она проснулась, руки и спина болели от вчерашней стирки, глаза опухли — всю ночь она плакала во сне. Долго Поля не могла понять, ушла ли она на тот свет или осталась на этом.

А когда дом проснулся, все зашли в комнату-кладовую и увидели две пустых, смятых постели и третью — аккуратно застеленную.

Коля, чтобы не расплакаться, быстро бормотал: "Второй дом Советов, комната сто восемнадцать". Как только прогонят поляков, он уедет в Москву, к Верхотурскому.

А доктор стоял перед Марьей Андреевной и, загибая пальцы, говорил:

— Ушли, как свиньи, не простившись, не сказав спасибо, не написав записки. Москвин украл мои совершенно новые брюки, которым буквально нет цены; в-третьих... — доктор показал на заплаканное лицо Поля.

— Ах, оставь, пожалуйста, — сказала Марья Андреевна, — ты хочешь, чтобы они тебе, как пациенты, заказывали у ювелира серебряные подстаканники с именной надписью?

Но по всему было видно, что ее огорчил и обидел ночной уход комиссаров.

1935 г.

ЦЕЙЛОНСКИЙ ГРАФИТ*

I

— Как работает новый химик? — спросил главный инженер Патрикеев.

— Я знаю? — сказал Кругляк и закрыл один глаз. — Пока знакомится с лабораторией и ходит по производству.

— Да, плохой ли, хороший ли, уволить его нельзя, — сказал Патрикеев и, усмехаясь, рассказал Кругляку, что новый химик какой-то особенный политэмигрант и что сам секретарь райкома вчера приезжал говорить о нем к директору. — Это на их языке называется "создать условия", — сказал он.

— Ну, положим! — проговорил Кругляк. — Я у себя в лаборатории не буду создавать условий. Если он не сможет работать, пусть секретарь райкома приезжает еще раз и переведет его в техпроп, к толстой мадамочке, — там чисто санаторная обстановка.

Он вдруг рассердился и замахал руками.

— Хорошее дело! Вчера мне посадили индуса, а завтра посадят негра, а послезавтра китайца. А с кем работать? А? За качество парить будут меня или этого марсианина?

Потом они заговорили о производстве, и главный инженер, почесывая худую слабую шею, говорил, что нужно закрыть фабрику и что скоро все они получат

*Текст рассказа печатается по первой книжной публикации (Москва, 1936).

свои пять лет и отправятся на канал. Он усмехался и пожимал плечами: в конце концов, ему все надоело, он устал от этой работы, у него нет больше ни нервов, ни сил.

— Вы подумайте, — говорил он, — управляющий трестом знает только одно: "Мы смогли построить Магнитогорск, а вы не можете наладить выпуск приличного карандаша". Чтобы сделать карандаш, нам нужны японский воск, древесина виргинского можжевельника, германские анилины, метилвиолет. Ведь это импорт! Только законченный идиот не может этого понять.

— Э, — сказал Кругляк, — разве можно закрывать производство? — И он рассмеялся от этой смешной мысли. — Виргинский можжевельник мы заменили сибирским кедром. Когда нам сказали, что нет вагонов, чтобы везти кедр, мы заменили кедр липой, а липу ольхой, а ольху сосновыми досками. Сегодня один вайемер¹ предложил мне вообще заменить древесину прессованным торфом. Заменим торфом, в чем дело? Ну, а насчет того, чтобы посидеть; почему не посидеть в советских условиях? — сказал он.

— А чем вы замените цейлонский графит, который у нас на исходе?

Зазвонил телефон. Кругляк взял трубку.

— Да, да, вы угадали. Это я, — сказал он и покосился на главного инженера.

— Почему на улице? — с ужасом произнес он. — Почему неприлично к холостому? Но это нелогично, Людмила Степановна, вы ведь обещали. Что? Хорошо, приходите с подругой. Тогда я позову приятеля... Он начальник цеха на Шарике. Что? Ну, конечно, не такой, как я, но, в общем, хороший парень. Будет, будет патефон, — грустно сказал он. — Что? Только торгсиновские, польские. Хорошо, хорошо, без водки. Будем пить наливку. Видите: со мной, как с воском,

¹Еврейское слово — насмешливая нарицательная кличка вроде "чудак".

а вы боялись. Значит, в девять? Очень хорошо! Ну, пока! — и он положил трубку.

— Что, будет сегодня дело? — спросил Патрикеев и, уныло погладив лысину, пробормотал. — Хоть бы в этом году получить отпуск, поехал бы в Сочи.

— Знаете, — сказал Кругляк, — меня уже тошнит от холостой любви. — Потом, сверкнув карими горячими глазами и пронзив воздух большим пальцем, он проговорил: — Цейлонский графит на исходе? Я найду заменитель. Мы заменим его, если понадобится, навозом, а карандаши все-таки будут писать. А, Степан Николаевич? Разве можно остановить производство карандашей в стране, которая начала учиться писать?

И они снова заговорили о том, что дощечка сырая, что кудиновская глина никуда не годится, а чясовярская ничуть не хуже германской шипаховской, и что Бутырский завод готовит не краски, а дерьмо, но что глянцак и грунтлак завода "Победа рабочих" совсем не плохи... Фабер и даже сам Хартмут не отказались бы от них. Потом в комнату ворвался клеевар и крикнул: "Расклейка!" Патрикеев вытер пот, а Кругляк выругался, и они побежали в цех.

Никто не знал настоящей фамилии нового химика, но, глядя на его кофейное лицо, синеватые толстые губы, — такие губы бывают у мальчишек, вылезающих из воды после четырехчасового купания, — на черные глаза, ворочавшиеся за громадными стеклами очков, как существа, живущие своей отдельной и обособленной жизнью, казалось, что имя у него красивое и странное, как плеск воды, "Бэн", "Саид", "Али".

Директор фабрики Квочин, — человек в сапогах и ситцевой рубаше, красноглазый от недосыпания и желтолицый от евшей его желудок язвы, — хотел обставить встречу красиво и торжественно.

Ему казалось, что сотрудники лаборатории должны произнести речи, по-братски обнять зарубежного товарища, и поэтому нового химика при первом его приходе в лабораторию сопровождали, кроме Квочина,

секретарь ячейки и председательница фабкома. Но Кругляк сразу же все испортил.

Он похлопал индуса по спине, потом пощупал его брюки, подмигнул лаборанткам и сказал:

— Вот это коверкот, чистой воды инснаб! Вот бы, товарищ Митницкая, вам такой костюм!

И все невольно рассмеялись, и новый химик улыбнулся, показав отливающие влажной синевой зубы.

Кругляк начал деловито допрашивать, какое у него образование и где он работал.

Новый химик, оказывается, окончил в Англии двухгодичные курсы при каком-то колледже.

— Эпес вроде техникума, — объяснил себе вслух Кругляк.

Где он работал как химик? О, немного. В Англии он занимался лаковыми красками, а в Германии работал по гидролизу древесины, недолго, около шести месяцев. И еще у себя на родине он полтора года пробыл на графитовых рудниках.

— По эксплуатации, или как химик по контролю? — с восторгом спросил Кругляк.

Новый химик улыбнулся и замотал головой.

— О нет, совсем другой, — сказал он.

— Ну, а как вас зовут? — вдруг спросил Кругляк.

И индус, улыбнувшись в третий раз, точно осторожно ступая в темноте, старательно выговорил свое новое имя:

— Николай... Николай... Николаевич.

— Ну вот, Николай Николаевич, — сказал Кругляк, — будем работать вместе. В чем дело? Я вас напущу на этот самый графит, почему бы вам не поработать на производстве в советских условиях?

Он удивился и снова повторил:

— Конечно, мы поработаем в советских условиях.

Он повернулся к толстухе Алферовой, председателю фабкома, и сказал:

— Товарищ Алферова, как жизнь? Я что-то не видел у себя в лаборатории этих пресловутых практи-

кантов из графитного цеха. Где же борьба за знаменитый техминимум?

После этого он произнес речь.

— Ого, карандаш! — говорил Кругляк. — Это вроде метро, экзамен на аттестат зрелости. Карандашных фабрик меньше, чем метрополитенов, если хотите знать. А хорошие карандаши, к которым я не могу придраться, делает только Хартмут в Чехословакии. Вы думаете — Фабер? Ничего подобного! Но такого дерьма, как мы, не делает ни одна страна. Честное слово! Это нечто ужасное. Если б я работал в прокуратуре, поверьте мне, я бы обеспечил на три года всех наших итээров. Но подождите, подождите! Вы еще увидите: мы сдадим на аттестат зрелости, экстерном, за четыре года! А не за сто двадцать, как Германия.

В общем, из торжественной встречи ничего не получилось.

II

Новый химик был высок и худ, и хотя он хорошо одевался и носил разрисованный галстук, при каждом его движении как будто становились видны из-под платья сухие, легкие ноги, вздыбленная ребрами грудь и худые темно-коричневые руки. И ходил он по цехам, точно раздвигая высокую траву, странной походкой, похожей на медленный, полный значения танец. К нему привыкли очень быстро, он вошел в жизнь фабрики так же просто и легко, как и всякий другой человек.

Пробер приносил со склада коробочки графита, новый химик брал навески на аналитических весах и сжигал графит в муфельной печи, потом он снова брал белые фарфоровые тигли своими темными пальцами и взвешивал золу. На клочке бумаги он высчитывал процент зольности и вносил цифры в лабораторный журнал.

Подбегал Кругляк и, заглядывая через его плечо, говорил:

— Цейлонского графита больше не дадут, скоро кончится счастье.

Красивый юноша, мастер графитного цеха, Кореньков, прежде чем загрузить графит в шаровые мельницы, приходил в лабораторию за анализом, и, пока новый химик списывал цифры на бланк, Кореньков смотрел на его темное лицо и руки, казавшиеся совсем черными по сравнению с белой сорочкой.

— Как там у вас в Индии, очень жарко? — однажды спросил Кореньков.

— О нет! Совсем хорошо, — поспешно ответил новый химик.

Девушки-лаборантки тихонько обсуждали, красивый ли он.

Худенькая Кратова считала, что он страшный. Оля Колесниченко, первая красавица на фабрике, на которую приходили каждый день молча смотреть молодые инженеры Анохин и Левин и которой Кругляк ежедневно со вздохом и угрозой говорил: "Ох, товарищ Колесниченко, если б вы только не были лаборанткой в моей лаборатории"... — находила, что нового химика портят синие губы. "Я бы, кажется, умерла", — говорила она подругам. Кузнецова и Мензина были согласны с ней. И только старшая лаборантка, толстая Митницкая, носившая пенсне, считала, что индус замечательно красивый и интересный. Она даже рассердилась на Колесниченко и назвала ее мещанкой.

Лаборанты и рабочие, работавшие на экспериментальной установке, курили толстые папиросы индуса, говорили ему "ты" и сразу решили, что он хороший и совершенно "свой" рабочий парень.

Кругляк подбегал к нему, стремительно говорил:

— Ну как? Все хорошо? Вы не думайте, что я вас буду долго держать на контроле. Скоро займемся настоящим делом, — и снова убегал.

Ему хотелось поговорить с индусом, расспросить,

есть ли в Индии трамваи, хорошие ли там женщины, много ли там заводов и как они работают, пьют ли там водку, не думают ли англичане построить карандашную фабрику на базе цейлонского графита, можно ли использовать слонов для внутризаводского транспорта. Все эти вопросы мелькали у него, когда он подходил к новому химику, но он не успевал их задать.

Голова Кругляка была полна динамита. Он вмешивался в работу всех цехов, занимался переоборудованием станков, хотя это к химии не имело ни малейшего отношения, вел одновременно двенадцать исследовательских работ, с удивительной быстротой находя отечественные заменители для исчезнувших с рынка импортных красителей; единственный человек на всей фабрике, он знал особенности каждого станка и аппарата; он ругался с начальниками цехов, читал лекции, шептался с мастерами, бегал к директору, звонил по телефону в трест и наркомат. На каждом заводе-поставщике у него были свои парни-инженеры, с которыми он вместе кончал институт, вместе выпивал и шатался вечерами по Тверскому бульвару. Все они теперь работали начальниками цехов, заведующими лабораториями, техническими директорами, все веселые, молодые ребята, любившие Кругляка так же, как и он их любил. Поэтому, когда коммерческий отдел не мог чего-нибудь достать, "добывалы" уныло шли в лабораторию и просили Бориса Абрамовича позвонить на проклятый "Клейтук", который не дает желатина, несмотря на письма из треста и наркомата.

Да, ничего удивительного не было в том, что Кругляк не успевал поговорить с новым химиком.

Один человек в лаборатории относился к новому химику с особенным чувством: уборщица Нюра. Это была маленькая, косоглазая женщина, тихая и измученная. Жена непутевого человека, от которого она родила трех детей, Нюра содержала на свое крошечное жалованье не только детей и старуху-мать, но и

мужа. Муж Нюры, широкогрудый парень, носивший под пиджаком выцветшую фиолетовую майку, не был пьяницей или хулиганом. Он интересовался в жизни только футболом, два раза он зайцем ездил в Харьков смотреть матчи, и хотя возвращался из этих поездок с видом человека, перенесшего сыпной тиф, снова собирался поехать в Одессу. Он обладал большим добродушием и всегда смеялся, когда старуха-теща по вечерам молилась богу и просила его отправить зятя на Соловки.

Кругляк знал семейные обстоятельства Нюры, знал, отчего ей постоянно хочется спать и почему у нее такое желтое лицо. Он ей выхлопотал прибавку, заявив, что Нюра квалифицированная мойщица химической посуды, и когда заведующий ТНБ¹ усомнился в такой квалификации, Кругляк, сделав страшные глаза, сказал:

— Если бы вы нанялись ко мне сегодня мыть тонкую химическую посуду, я бы вас завтра же выгнал. Вы что, шутите со мной? Может быть, по-вашему, инженер-химик это тоже не квалификация?

Нюра приходила в лабораторию, подметала пол, вытирала тряпкой столы, зажигала примус под перегонным кубом и садилась на ящике за вешалкой читать книгу; она прочла за год много десятков замечательных книг, сидя на этом ящике и покуривая махорочные папиросы. И Кругляк — этот маленький, сердитый динамо-мотор, заставляющий четко, быстро и неустанно работать всех, никогда не трогал Нюры. Иногда, пробегая мимо ее ящика, он шепотом говорил ей:

— В палатке, за конторой, привезли картошку, можете сбегать до гудка, пока очереди нет.

Трудно сказать, почему Нюре так нравился новый химик, но девицы-лаборантки, замечавшие решитель-

¹ТНБ — тарифно-нормировочное бюро.

но все и знавшие, когда Патрикеев ссорился с женой и сколько галстуков у начальника карандашного цеха Тараянца, и определявшие даже, был ли Кругляк на ночной пирушке, по его особой придирчивости и деятельности на следующее утро, сразу же заметили: Нюра вытирала стол нового химика три раза в день, она принесла ему из конторы пепельницу, в то время, как сам Кругляк клал окурки в треснувшую фарфоровую чашку; она постелила ему в ящики стола не газету, как остальным, а голубую толстую бумагу, за которой ходила в упаковочный цех; и, наконец, все видели — Нюра держала книгу на коленях и не читала, а, полуоткрыв рот, смотрела, как работает индус.

Однажды он слышал, как Нюра жаловалась Митничкой, что ей не дали на складе халата, и сердито говорила:

— Что ж я свое последнее платье должна испортить?

Через несколько дней новый химик подошел к Нюре и протянул сверток. В свертке был джемпер.

— Возьмите надеть, товарищ, — сказал он.

Нюра сделалась красной ("ну такой красной, такой красной, как децинормальный перманганат", — говорила Кратова) и, спрятав руки за спину, замотала головой.

"Нюра", "товарищ Орлова", "ну вот, какая право!" — закричали девицы. На шум выбежал из своего кабинета Кругляк, он закричал, чтобы все немедленно брались за работу, потом сразу же предложил заплатить за джемпер, с тем, чтобы Нюра выплачивала долг частями, но Нюра ничего не хотела. Она сказала:

— Ни даром, ни за деньги не возьму, вот убейте меня.

Кругляк ушел, так как зазвонил телефон, а новый химик виновато улыбался. Джемпер купила Оля Колесниченко.

Это был хороший джемпер, яркий, как тропический цветок: красный, зеленый и голубой. И стоил он всего двадцать рублей в инсеновском распределителе

нового химика. Это была совершенно замечательная штука, и, когда после выходного дня Оля Колесниченко явилась на фабрику в новом джемпере, Анохин и Левин, пришедшие в обеденный перерыв смотреть на нее, переглянулись, покачали головами и приходили в лабораторию еще три раза по всяким пустым делам, пока Кругляк не сказал им:

— Ребята! Ни я, ни вы! И лучше уходите, потому что дело кончится стенной газетой, — и вытолкал их вон.

После этой истории Нюра несколько дней не смотрела на нового химика, а сидела в моечной и терла пемзой какие-то безнадежно заржавевшие банки из-под каустика. Среди девиц по этому поводу было много смешных разговоров.

III

После гудка в лаборатории остались три человека. Остальные стремглав бежали домой. Митницкая спешила к ребенку, Колесниченко должна была пообедать, переодеться и снова поехать в город на вечерние курсы по стенографии, а жила она за Москвой, в Лосиноостровской. Это было нелегко — четыре раза в день ездить поездом.

Хромой Петров и худенькая Кратова учились на курсах иностранных языков. Рабочие с экспериментальной установки — голубоглазый грузин Рамонов и рябой татарин Гизатулин — спешили на рабфак, второй Петров (о нем говорили: "тот, который заикается") ездил ежедневно бриться на Серпуховскую площадь. Там в парикмахерской работала мастером девушка, в которую он был влюблен. На бритье уходила почти треть жалованья. Петров вел себя в парикмахерской, как иностранный турист, но зато дела шли хорошо; мастер был уже с ним в кино, и они собирались в выходной день поехать за город, к тетке Петрова.

В лаборатории остались три человека: Кругляк, новый химик и Ньюра.

Кругляк сидел в своем кабинете, заваленный карандашными стержнями, и, выпятив нижнюю губу, испытывал их на излом, цвет черты, на истираемость и раскрашивание.

Он составлял таблицы, стараясь вывести закономерность, связывающую рецептуру с качеством стержней.

Но стержни ломались при ничтожных нагрузках, цвет черты у них был бледно-серый, и крошились они прямо-таки ужасно.

Работницы из упаковки, подняв головы к не достигающей до потолка перегородке, помирали от смеха, слушая, как Кругляк, вслух соображая что-то, жаловался и матерно ругался. Потом, сорвавшись с места, он побежал в цех и, стоя у двери лаборатории, крикнул:

— Когда будете уходить, проверьте хорошенько краны, выключите муфели, а ключ не сдавайте в будку — я вернусь через пару часов, положите его в краскотерку.

Он пошел в графитный цех, где происходил обжиг стержней, и вместе с длинным грязным немцем Шперлингом, мастером обжига, ходил вокруг печи, регулируя подачу нефти в форсунки, скорость движения тиглей, следя за термопарой.

— Ну что, Шперлинг, — с тревогой говорил Кругляк, — и после этого обжига опять напьешься?

— Ganz möglich, — отвечал Шперлинг и вытирал пальцами свой всегда мокрый нос.

У него был заведен обычай: после каждого неудачного обжига напиваться и пьяным приходить к фабрике. Он сидел на скамеечке перед контрольной будкой и жаловался сторожам на печь, грозил в сторону цеха кулаком, сморкался, вытирал слезящиеся глаза и кричал:

— Не du... — и добавлял три русских слова.

Вот и теперь они хотели получить графит чертежного

карандаша. Кругляк сам составлял рецептуру с такой придирчивой точностью, точно расфасовывал лекарства в аптеке, но после обжига уже во второй раз вместо чертежных стержней 2Н и 3Н у них получались стержни, годные только для школьного и конторского карандашей.

— Знаешь, Шперлинг, — говорил Кругляк, щупая глину, которой были обмазаны тигли, — если и на этот раз не получится, напьюсь вместе с тобой. — Ему сделалось смешно, и он рассмеялся: — Со мной это случается часто и без неудачного обжига, но теперь я напьюсь и приду вместе с тобой плакать в контрольную будку.

— Ganz möglich, — ответил Шперлинг и высморкался на зеркально-серые от графита плиты пола.

А уборщица Нюра в это время сидела на своем ящике и читала. Ей не хотелось идти домой. В лаборатории после гудка было тихо, — через громадные окна входило столько света, что рабочий зал был точно залит какой-то очень светлой и легкой водой, бутылки с цветными растворами светились на рабочих столах и казались приветливо улыбающимися красными, желтыми и оранжевыми лицами. Нюра сидела среди этих веселых, широко глядящих стеклянных рож и читала толстую книгу из фабричной библиотеки, перелистывала замусоленные сотнями молодых и старых рук страницы, пестрые от графита, красок и масла. Как она печалилась, когда умирал красавец Болконский! Бедная девушка Наташа, сколько беды и горя пережила она на этом свете! Ей тоже нелегко жилось, уборщице Орловой, и она горевала и радовалась над книгой правды, лучшей из книг.

А потом она поглядела на химика.

Нюра видела, как он открывал шкафы, в которых Кругляк собирал коллекцию образцов сырья, вынимал коробки и банки. Ей хотелось подойти к нему и сказать что-нибудь хорошее. Может быть, ему плохо живется, за ним, наверно, никто не смотрит, кто стирает ему, чинят ли ему белье и штопают ли носки?

Она со вздохом посмотрела на ходики и начала собираться: выключила муфель, закрыла краны. Потом, уже надев кофту, она потушила примус, гревший перегонный куб, и примус, погасая, хлопал синими крылышками пламени и так жалобно свистел, точно ему не хотелось кончать свою работу.

— Николай Николаевич, ключ на полке, за бутылью, — сказала Нюра.

Тогда индус остался один.

Он рассматривал образцы сырья, щупал их, взвешивал на руке, глядел на них, то приближая, то отдаляя глаза от банок, коробок и ящиков.

Сколько замечательных, чистых красок! Он читал в английском журнале, что на "Baden, Soda, Anilin Fabric" создали столько тонов и оттенков, что цветовая лавина, катящаяся по земле, не составляла и половины того, что сделали германские химики.

В этих нескольких сотнях коробочек, умещавшихся на трех полках, был весь мир красок: восходы и закаты солнца, луна, поднимающаяся из-за темных гор, море, арктические льды, леса жарких стран. Ему нравилось рассматривать все эти анилины и лаки — черные, фиолетовые, гремяще красные, нежно-лимонные и оранжевые.

И названия их нравились ему: бриллиант-грюн, метилвиолет, родамин, фенолфталеин, эозин.

Эти сложные названия ему было почему-то легче произносить, чем обычные английские, а особенно французские слова.

— Родамин, родамин... — несколько раз повторил он.

Потом новый химик перешел к другому шкафу. Какое удовольствие смотреть и нюхать, щупать, гладить все это!

Вот привезенные из Средней Азии дощечки арчи, темные листочки шеллака, копал, комья демаровой смолы, похожая на жемчуг аравийская камедь, трагант.

Ему не хотелось выходить на улицу, где шарканье

тысяч обутых ног, противный треск трамваев, кряхтение грузовиков сливались в густой шум, такой же тяжелый, серый и пыльный, как асфальт мостовой и стены домов.

Он посмотрел на часы — нужно собираться. Он ведь хотел поехать на Кузнецкий мост купить английские и французские газеты, потом надо было пообедать, написать письмо, и затем он решил свои вечера посвящать занятиям по философии, каждый день не менее трех часов. Вот уже неделя, как он составил программу, достал книги и все же ничего не делает, забрел в какой-то сад, два раза был в кинематографе, позавчера ходил в оперный театр на большой площади. Впрочем, в театре он был в субботу. Он уже начал путать дни недели. Да, это было шестого числа. Вот! Сегодня — десятое. Как раз десятого он начнет. И новый химик закрыл шкаф.

Он подошел к своему столу, чтобы сложить бумаги и поставить тигли в эксикатор. Но бумаги на его столе были аккуратно сложены, поверх них лежала тяжелая стеклянная линейка, которой графили лабораторный журнал. И прокаленные тигли стояли в эксикаторе.

Новый химик гортанно крикнул, оглянулся, сделал страшную рожу. Потом он высоко подпрыгнул, но опустился на пол совершенно бесшумно, точно прыгал босиком на мягком песке. Он запустил себе палец в нос, осканился, высунул язык, рассмеялся, погрозил кому-то кулаком и пошел к двери.

Лаборатория осталась пустой, было совсем тихо, и только в вытяжном шкафу потрескивал остывающий муфель. Да, в лаборатории стало пусто, и некому было подойти к окну посмотреть, как пришел вечер. Фабричный корпус, точно гудящий корабль, высился над шумными улицами и площадью заставы; белая пыль висела в воздухе, а там, над шоссе, пыль была оранжевой, — казалось, что это лежит громадный золотой столб, полупрозрачный и легкий, в котором стоят деревья и движутся, как водяные пауки,

автомобили.

Солнце коснулось края земли, глянуло на город снизу вверх, и вдруг на всех окнах домов заиграли, натянулись фиолетовые и оранжевые пленки мыльных пузырей, а по кирпичной стене фабрики потек густой сок раздавленных вишен.

А когда над улицами нависли прогибающиеся гирлянды фонарей, в лабораторию вернулся Кругляк. Он был весь мокрый от пота, и лицо его было грязно.

Кругляк зевал, чесал голову. Ему очень хотелось спать. Вдруг, спохватившись, он поднял телефонную трубку.

— Это ты, Людмилочка? — спросил он. — Да, да, я. На второй мы опоздали, а третий кончается в половине первого. Может быть, ты просто зайдешь ко мне? Совсем не поздно. Только десятый час. Жалко, что хороший вечер? Вот потому, что он хороший, ты приходи. Ну, чтобы не было душно, я открою форточку. Мало ли что, я тебе почитаю вслух *Chemiker Kalender*. Нет, кроме шуток. Я — с работы, задержала всякая ерунда. Значит, я тебя жду. Ну, ну, пока! Значит, жду.

Он встал, потянулся так, что скрипнул весь, как дверь, и сказал, обращаясь к портрету Менделеева:

— Честное слово, все было бы хорошо, но провожать ее домой в половине третьего ночи, когда нет денег на такси и когда в восемь часов нужно быть на фабрике, — это такое удовольствие!... — и он махнул рукой.

Менделеев ему ничего не ответил.

IV

В четыре часа дня в кабинете директора состоялось техническое совещание. Первым на повестке стоял вопрос: "Положение с графитом". Итээры входили в кабинет и рассаживались на принесенные из канцеля-

рии стулья. Они проходили через бухгалтерию и плановый отдел в своих грязных спецовках и снисходительно поглядывали на франтовски одетых экономистов и плановиков. Анохин и Левин, собиравшиеся ехать на пляж, шепотом уговаривали главного механика и заведующего механической мастерской старика Бобрышева, уступить им стулья возле двери, чтобы можно было незаметно уйти.

— Пересядьте на диван, вам же будет удобно, — с мольбой говорил Левин.

Но упрямый латыш, главный механик, которого прозвали Нониус, спокойно отвечал:

— Мне тут хорошо, не беспокойтесь, — а Бобрышев, делавший всегда только то, что делал главный механик, молча улыбался всем своим ярко-розовым лицом и тряс седой головой.

— Да брось их! — сердито сказал Анохин. — Ты не видишь: они думают, что едут в трамвае, — и, усаживаясь на диван, он пробормотал: — Дубье, скоты! Недаром у нас каждый день по два станка становятся в ремонт.

Пришел Патрикеев. Его окружили, и он начал громко, стреляя во все стороны шрапнельками слюны, рассказывать, что наркомат отказал в лицензии на цейлонский графит и предложил перейти на отечественное сырье. Он хлопал по спине мастеров графитного цеха, наклоняясь то к одному, то к другому, обнимал их за плечи, заглядывал в глаза и спрашивал:

— А, милый, как вы на это смотрите?

— Видеть не могу, как он подлизывается к мастерам! — сказал Левин.

— Он их боится как огня, — ответил Анохин.

Потом пришли Квочин и секретарь ячейки. Патрикеев подошел к ним. Они втроем сели за стол и начали негромко разговаривать между собой.

Все собравшиеся старались расслышать, о чем говорят за столом; может быть, Патрикеев как раз в эту минуту шепчет Квочину: "Невозможно! Сегодня по его вине опять запороли сто gross "Тип-Топа!"

А Квочин зевает, согласно и равнодушно кивает головой: "Конечно, выговор в приказе!" И секретарь добавляет: "Строгий при этом, да еще с предупреждением". Но все расслышали, как секретарь Кожин сказал:

— Хотя бы дождь пошел.

— Что ж, начнем, что ли? — спросил Квочин и, обведя глазами сидящих, кивнул главному механику и постучал пальцем.

— Кругляка еще нет, — сказал Кореньков, мастер по размолу графита.

— Тридцать человек не будут ждать одного Кругляка, — сердито сказал Патрикеев.

В это время вошел Кругляк. Стуча ногами, он подошел к стене, взял стул и с грохотом поволок его к директорскому столу.

— Положение с графитом, — сказал он громко и показал Квочину повестку на техническое совещание, — очень хорошее положение, а вот положение без графита, товарищ Квочин, это похуже, — и, разведя руками, он усмехнулся, и все рассмеялись.

— Кого в секретари? — спросил Квочин.

— Левина! — мрачно крикнул главный механик.

— Левина, Левина! — поддержал улыбающийся Бобрышев, и все загудели:

— Левина!

Левин пошел к столу, с ненавистью и тоской глядя на главного механика. Анохин помахал ему рукой, точно надолго прощался с ним.

Заговорил Патрикеев. Он говорил очень много и быстро, но ничего нельзя было понять из его слов. Главное — не было понятно, чего он хочет. Не то выходило, что через месяц фабрика остановится, не то он приветствовал новое постановление и предлагал завтра же переходить на советский графит, не то получалось, что вопрос должен решить Институт Прикладной Минералогии и что на исследовательскую работу понадобится, по крайней мере, шесть месяцев.

— На языке крупных специалистов это называется

”гнать зайца дальше”, — шепнул Левин сидевшему рядом с ним Кругляку.

— Боязнь ответственности, — точно ставя медицинский диагноз, ответил Кругляк и шепнул про себя: ”Хитрая муха!”

Патрикеев вдруг замолчал, и во внезапно наступившей тишине прозвучали слова:

— Отличный хлебный квас, в буфете только и спасаюсь.

Это в углу заведующий деревообделочным цехом, толстяк Гусев, беседовал с помощником директора по рабочему снабжению. Все оглянулись на них, Гусев вытянул шею и изобразил на лице такую напряженную внимательность, точно это не он двадцать секунд назад на глазах у всех разговаривал про хлебный квас.

Выступил заведующий графитным цехом.

— Нужно пробовать, — говорил он и, поглядывая на Патрикеева, спрашивал: — Но вот вопрос: что пробовать и как пробовать?

— Вот это я у тебя и спрашиваю, — сказал Квочин, — ты ведь заведуешь цехом, а не я.

Потом выступали мастера.

— Мы уже пробовали, — говорил красноносый, низенький Горяченко. — Пробовали еще при Карнаце, до войны пробовали, вот качество какое от этого будет получаться, — и, понизив голос, точно беседуя с приятелями в пивной, продолжал: — Вы ведь знаете, как теперь спрашивают с нас за качество, это ужас прямо!

— Да, надо раньше в институт, — говорил белолицый поляк Капустинский.

Потом говорил директор.

— А нельзя ли через наркома прямо в Совнарком РСФСР снова возбудить ходатайство о лицензиях? — вдруг спросил у директора Патрикеев.

— Это своим порядком, — ответил Квочин, поглядывая на Кругляка, но тот только зевал и тер глаза.

— Ну, товарищ Кругляк, давай, что ли, замены по

твоей части, — сказал Квочин.

— Пожалуйста! — сказал Кругляк и пожал плечами.

— Послушайте, ребята! — вдруг проговорил он, точно просил всех сознаться в чем-то. — Ведь вы просто не хотите ответственности. В чем дело? Ботогольский сибирский графит — кристаллический графит, с доброкачественной золой, чего вы боитесь? Нет, в самом деле, объясните мне, чего вы боитесь? И ты боишься! — вдруг рассердившись, сказал он Квочину. — Факт, факт! Ты грустишь, как скрипач на еврейской свадьбе, общее веселье тебя не касается. Директор валит на главинжа, главинж на завцехом, завцехом на мастеров, потом все — на институт. Причем тут Совнарком? Гоняете зайца, в общем. В чем дело? Пусть он побегает.

Он обозвал мастеров "шаманами", ругал директора, трест, главного инженера.

Слушая его, Патрикеев всегда удивлялся и недоумевал: почему он, Патрикеев, называет управляющего трестом по имени-отчеству и, говоря с ним, волнуется, почему секретарь ячейки для него, Патрикеева, личность таинственная и даже страшная: говоря с секретарем, Патрикеев почему-то менял против воли голос, говорил каким-то дурацким говорком, вставлял в речь ругательства "для народности" и, кончая разговор, внутренне произносил "уф!" — а вот Кругляк называл всех, без разбору, по фамилиям, однажды сказал управляющему трестом такое словечко, что Патрикеев обомлел, с директором он ругался с утра до вечера, секретарь ячейки ходил в лабораторию каждый день, и Патрикеев видел, что они разговаривали так, точно Кругляк не был беспартийным инженером, а бог весть сколько времени состоял в партии. Сперва Патрикеев думал, что у Кругляка есть крепкая рука в союзном наркомате, но это не подтвердилось. И он никак не мог понять, отчего Кругляк не ищет подпочвенных связей, которые, по мнению Патрикеева, единственные могли помочь инженеру в работе. "Опереться на своих людей",

”симпатия управляющего”, ”круговая порука”, ”не ссориться с нужным человеком”, ”не подводить своих”, ”не рисковать” — вот в чем залог успешной работы. А Кругляк со всеми ругался и не искал ”подпочвенных” связей.

Видно было, что Квочин злился, и мастера сердито переглядывались (Патрикеев знал, что мастера, как никто, могут подложить свинью в работе), а Кругляк, совершенно не учитывая положения и того, что сам управляющий трестом не настаивал на немедленной замене цейлонского графита, говорил:

— Ну, хорошо! Гоните зайца ко мне. Можете записать: внедрение советского графита поручается Кругляку. В чем дело? Вся ответственность лежит на мне. Только пусть коммерческий директор завтра посылает агента на Урал купить не две тонны, как здесь говорили, а сто тонн графита. Вся ответственность на меня, можете записать! — и он решительно распахнул пиджак.

— А чем вы будете отвечать, своим четырехсотрублевым жалованьем? — раздраженно спросил Патрикеев.

— Своей честью советского инженера! Это мало, по-вашему, а? — в ярости заорал Кругляк и вскочил: казалось, вот-вот он полезет драться.

Все это было так интересно, что Левин перестал думать о неудавшейся поездке на пляж и оглянулся на Анохина. ”Видал, брат, наших молодых!” — хотел он глазами сказать приятелю. Но Анохина на диване не было. Он ухитрился незаметно улизнуть.

Вторым на повестке стоял вопрос о текущем ремонте станков, и Левин сделал такое сообщение, что главный механик начал кашлять, точно у него был коклюш.

В последние дни было так жарко, что незнакомые между собой люди в учреждениях или трамваях переглядывались и говорили друг другу:

— Ну, знаете...

— Нечто совершенно сверхъестественное...

Солнце не грело, а прямо давило, мяло людей. Краска на крышах текла, и маляры не могли работать босиком; железные стульчики трамвайных стрелочниц уходили ножками в асфальт, как в глину. Людям было жарко днем и ночью; они обливались потом, когда ели мороженое и пили холодный квас. Все только и говорили про отпуск, море, Клязьму, деревню, реку.

Но особенно трудно было работать в душных фабричных цехах: лаки и растворители испарялись, наполняя воздух сладким, противным запахом, мощные вентиляторы, казалось, дышали, как живые существа, не неся прохлады, а обдавая лица работающих сухим, горячим дыханием.

В лаборатории эфир и метиловый спирт вскипали, точно их грели газовые горелки, и некоторые органические препараты, обычно твердые и кристаллические, превращались в тесто.

Только новый химик совершенно не чувствовал жары. Он ходил в суконном костюме, таком же темном, как его лицо, носил воротничок, галстук, руки его были сухими, как прокаленный песок, он делал свое дело легко и просто, не говорил о Клязьме и поездке на реку.

Во время обеденного перерыва к нему подошел Кругляк.

— Николай Николаевич, — сказал он, — после работы зайдите ко мне, начнем с вами на пару одно замечательное дело. — Он осторожно свел пальцем пот со лба, тряхнул рукой и, посмотрев на пол, сказал: — Если дальше так пойдет, до чего же это дойдет?

Он был очень доволен — только что из цеха приходил Шперлинг и протянул Кругляку несколько десятков пропитанных жиром стержней. Смеясь, мотая

головой, издавая носом, горлом и губами десятки звуков, он смотрел, как Кругляк сравнивал стержни с хартмутовскими образцами.

— Вишло, вишло! — радостно и удивленно говорил Шперлинг.

Он наклонился к Кругляку и шепотом, точно предостерегал его, сказал:

— Товарищ Кругляк! Вы один знаете всю подлость нашего производства.

И Кругляк, смутившись, спросил:

— Что, жарко, Шперлинг?

— Мне не жарко, — ответил немец. — Возле моей печки всегда Zentrabl Africk.

И они принялись вновь рассматривать стержни чертежного карандаша, воинственно потрясая ими, точно дротиками.

Вскоре Шперлинг ушел в цех, а Кругляк, крепко сжимая стержни, прошелся по лаборатории, говоря лаборантам и рабочим:

— Ну, ребята, чертим! Ставлю в получку два литра!

Он прошел мимо Оли Колесниченко: она сидела за аналитическими весами, вся розовая и потная от жары, и была так хороша в своем синем сарафане, что Кругляк даже не произнес своей обычной фразы, а только вытаращил на нее глаза и махнул рукой.

Потом он спросил у Нюры:

— Ну, как футболист?

— В Одессу вчера уехал, — сказала Нюра, и они оба рассмеялись.

— Пойду к главинжу, пусть скушает компот, — сказал вслух Кругляк. — Мы не сумеем выпускать чертежный карандаш? Конечно, конечно, разве мы что-нибудь умеем! — и, потрясая дротиками, он пошел в контору.

После работы индус зашел в кабинет Кругляка.

— Слушайте, Николай Николаевич, — сказал Кругляк, — вы уже две недели работаете, а я вас еще ни о чем не спросил. Скажите, где вы жили в последнее

время?

— Южный Китай, — ответил новый химик.

— А, интересно! — крикнул Кругляк. — Вы здесь очень скучаете, наверно?

Новый химик кивнул головой: да, он скучает. И, так как ему нравился этот молодой, веселый инженер, который никого не боялся и не жалел себя в работе, индус, ломая фразы и выворачивая наизнанку слова, начал рассказывать Кругляку разные вещи. Он рассказал ему про свою родину и про страшный остров, куда англичане ссылают революционеров. Это совсем маленький островок: там нет тюрьмы, люди бродят по болоту, отравленному лихорадкой. Раз в год, на рождество, солдаты, живущие в казарме на высоком берегу, сгоняют оставшихся в живых к коменданту, и он им выдает килограмм сахара и пачку чая. Потом их опять гонят в болота до следующего рождества. Это очень трудная жизнь, коменданты сменяются на острове раз в два года, и за каждый год они получают пять лет отпуска в Великобританию, на полном колониальном жалованье. На этом острове жили два товарища нового химика, его друзья. Да, он скучает, ему хочется быть с ними.

Он говорил громко, гортанным голосом, кривил рот, глаза его стали широкими и совершенно черными. Он вдруг поставил каблуки на сиденье стула и как-то очень ловко и быстро сложил ноги, выставив вперед колени. Казалось, что проповедник, сидя на циновке, обращается к народу, потрясая сухим, деревянным кулачком.

Потом они некоторое время молчали. Казалось, что и Кругляк, весь охваченный мыслями о далекой стране, не может прервать молчания.

— Послушайте, — тихо сказал Кругляк, — послушайте! Я хочу вам сказать одну вещь. — Индус слушал, вытянув шею. — Теперь, когда обжиг налажен, — продолжал Кругляк, — давайте закрутим вместе работу по внедрению сибирского графита.

Индус молчал. Кругляк оживился, задвигался на

стуле.

— В самом деле, вы только подумайте: это красота! Он залегает в Восточной Сибири. Явно кристаллический. Как вы смотрите на это дело? Мы быстро составим рецептурку, провернем через цех и поднесем нашему оппортунисту на практике гросс карандашей из советского графита. А? Ведь это будет мировой номер! — Он перегнулся через стол и дернул индуса за рукав. — А? Николай Николаевич! — весело крикнул он. — Я тут воюю, как Чапаев: с этим старым трусом, с мастерами, с директором, который только и думает про благополучный отчет, с отделом рационализации. Вы знаете, что мы сделали за полтора года? Прошли от Киева до Варшавы, уверяю вас. Когда я пришел на фабрику, — вы мне, конечно, не поверите, — глину привозили из Германии! Факт! Если чего не хватает, главный инженер пишет директору рапорт: "Через десять дней останавливается производство", и сидит страшно доволен: отогнал от себя зайца! Достали — хорошо! Не достали — тоже хорошо! Ну, ну я ему показал! Виргинский можжевельник? А ольха, липа вас не устраивают, а? Вот, пожалуйста, попробуйте, товарищи, рецептурка — химические карандаши на ленинградском метилвиолете. Пишут? Слава богу! Потом я взялся за всю эту экзотику. Южноамериканские смолы и камеди? Это была работа! Мастера кричали, как новорожденные, день и ночь, технорук копал под меня целый радиус метра. В конце концов, Охтенский завод дает прекрасные искусственные смолы. Теперь мы внедрим сибирский графит, а? Зачем нам цейлонский?

Он поднялся и побежал вдоль стены своего кабинета, тыкая пальцами в схемы технологического процесса.

— Подождите, осенью мы выгоним аравийскую камедь. Знаете, какая у меня мысль? Заменить ее просто пшеничной мукой. — И Кругляк расхохотался.

Потом он подошел к новому химику вплотную и, заглянув ему в глаза, сказал:

— Вы сами видите, наш карандаш — это г..., но пусть, как говорили мои предки, я не дождусь видеть своих детей жить в социалистическом раю, если через три года советский карандаш не будет смеяться над немецким. — Он наклонился и горячим шепотом сказал в ухо индусу: — Слушайте, я ведь вижу: вы самый замечательный парень! Давайте крутить это дело вместе.

О чем думал новый химик? Он поставил ноги на пол, он серьезно кивнул головой, и похож он был в эту минуту на англичанина больше, чем на индуса.

Кругляк снял с гвоздя полотенце, вытер лицо, и полотенце потемнело от влаги, точно он вытирался после умывания.

— Знаете что? — сказал он. — Давайте поедем в Парк культуры, доедем до Бородинского моста, сядем на речной трамвай, получится очень здорово. Правда, я условился встретиться в семь часов с одной Людмилочкой, но революция от этого не пострадает. Я ей завтра позвоню, что меня вызвали в Наркомлегпром, к самому Любимову.

Когда они вышли из проходной будки, Кругляк взял нового химика под руку.

Прохожие оглядывались на них, и Кругляку это нравилось. Он, смеясь, говорил:

— Люди думают, что вы так загорели на Воробьевке.

Он предложил пообедать в парке и начал жаловаться на свой аппетит.

— Мне всегда хочется кушать, — говорил он. — Утром я не завтракаю, а вечером не ужинаю — лень возиться, холостяк! Приходится съедать три обеда на фабрике-кухне. Митницкая и Колесниченко не обедают, я пользуюсь их карточками. Три супа, три вторых, три киселя — можно жить. — Он толкнул своего спутника в бок и сказал: — Смотрите, смотрите, что за фигура! Вот это ноги! Прямо на сельскохозяйственную выставку. — Потом он стал высчитывать свой бюджет: — Три обеда обходятся

восемь рублей в день, вот вам уже двести сорок; папиросы — тридцать; бритве — пятнадцать, я дома не люблю; папаше — он живет у старшей сестры — шестьдесят. Сколько? Уже триста сорок пять. А получаю я четыреста семьдесят пять. Заем, союз — на мою молодость остается рублей восемьдесят. Ну, конечно, премии. Примерно три месячных жалованья в год. Но все это расходуется неизвестно куда. Вот второй год хочу себе сшить настоящий костюм, и ничего не получается.

Подходя к Бородинскому мосту, они увидели толпу, собравшуюся у края тротуара. Оказалось, что заблудилась девочка. Перед ней на корточках сидел милиционер и, стараясь говорить женским голосом, спрашивал, как фамилия ее мамы.

— Ой, не могу видеть, когда дети плачут! — сказал Кругляк.

Какая-то девушка в белом платье, поднимаясь на цыпочки, старалась заглянуть через плечи стоявших.

— Что случилось? — спрашивала она. — Молодой, старый? Трамваем переехало?

— П-а-п-а-л-а-м! — крикнул Кругляк и махнул рукой.

— Нет, серьезно: что случилось? — спросила девушка.

— Ничего особенного! Я хочу с вами познакомиться, — сказал он и расхохотался.

Девушка тоже рассмеялась, покачала головой и ушла.

— Типичная валдайская девственница, — сказал Кругляк, и они пошли к пристани садиться на речной трамвай.

Они ехали на катере мимо окутанного дымом завода Фрунзе, проехали мимо домиков Потылихи, и только когда вода сделалась темной от отражавшихся в ней высоких деревьев на Ленинских горах, стало немного прохладней и почувствовалась сырость воды и свежесть воздуха.

— Дыши, дыши! — говорил себе Кругляк. — Делай

га, га!

Он радовался, вертелся, вскакивал с места.

— А мне казалось, что лучшего места, чем наша фабрика, нет на свете, — говорил он.

Новому химику тоже понравилась местность, мимо которой они проезжали. После европейских столиц, Москва его не поражала ни размерами, ни красотой улиц. Но ему нравилась многоликость этого города, этот хаос маленьких домишек, садилов, нелепых переулков, из которого проступали площади и широкие проспекты новой столицы. Город лежал, как глыба камня, которая постепенно освобождала скрытую в ней статую. И теперь, глядя на рабочих, строивших каменную набережную, он думал, что вся эта огромная страна высвобождает из-под груды хлама, грязи и болот свою величественную, мускулистую фигуру.

И еще, глядя на реку, он думал о других берегах, низких и болотистых, в которых бежала желтая и горячая, как живое существо, вода.

Выйдя на берег, они стали в очередь за морсом. Кругляк, смеясь и хлопая Николая Николаевича по плечу, выпил подряд пять стаканов. Стоявшие за ним начали сердиться, и какой-то военный, державший под руку девицу с таким серьезным видом, точно девица была отлита из стекла, крикнул:

— Послушайте, вы что, хотите мировой рекорд устанавливать? Люди пить хотят.

— Je ne comprends pas, — сказал Кругляк. — Я американский турист, — и все стоявшие возле будки рассмеялись.

Кругляк нашел, что парк с прошлого года стал чем-то хуже, а Николаю Николаевичу все очень понравилось, аттракционы ничем не уступали берлинскому луна-парку, правда, не было американских гор.

Они оба остались очень довольны прогулкой. Индуса только смущало, что Кругляк все время заговаривал с незнакомыми женщинами. С одной

коротенькой девушкой, в очень длинном голубом платье и в белом берете, стоявшем над челкой под углом в сорок пять градусов, он даже ходил под руку и, прощаясь, записал ей на бумажку номер телефона и подарил карандаш с красной головкой.

Когда они выходили из парка, Кругляк торжественно поклялся, что больше не будет ездить на фабрику в выходные дни и что восемнадцатого утром приедет в парк прыгать с парашютной вышки.

— Я бы сейчас тоже мог прыгнуть, — сказал он. — Но после трех обедов это опасно. Первый прыжок нужно делать натошак.

А на трамвайной остановке у Николая Николаевича украли из наружного кармана дорогое вечное перо "Монблан".

Кругляк ужасно огорчился. Он всплескивал руками, горячился, рассказывал всем, как это случилось.

— Главное, я его видел, — говорил он. — Маленький такой паршивец, не больше четырнадцати лет. Я еще подумал: чего он вертится под ногами?

Он утешал Николая Николаевича, а тот улыбался и молчал. Ему не было жалко вечной ручки.

VI

Наутро начались работы по замене цейлонского графита. Нюра пошла с бумажками к заведующему цехами, техноруку, коммерческому директору. Рамонов тащил в цех глину и нужную аппаратуру. Кругляк, опередив главбуха, выпросил у Квочина служебную машину, и Петров "тот, который заикается", поехал в Институт Прикладной Минералогии за графитом. Главбух кричал, что не привезет денег и фабрика останется без зарплаты, а Кругляк, с интересом поглядывая на него, говорил по телефону:

— Это ты, Сокольский? Да, да — Кругляк. Я только что послал к вам лаборанта. Вот, вот! Карандашей? Я послал, он передаст. Конечно, и два

чертежных. Куда? На Игарку? Здорово! Зайди под выходной, обещал Крюков зайти, я его встретил в Наркомтяже. Ничего, женился, где-то в Горьком на строительстве Нефтегаза. Ну, ну, приходи, со своей закуской только. Так смотри же, не меньше, чем пятьдесят кило. — Он повесил трубку и сказал главбуху: — Слушайте, единственный человек на фабрике, с которым я боюсь ссориться, это вы. Но что же делать?

И пока главбух собирался ему ответить, он ушел в цех.

— Нет свободной шаровой мельницы? — говорил он мастеру. — А это что? Нуждается в ремонте? Каком? Ну, это пустяки!

И он пошел к главному механику.

— На полчаса слесаря, — убеждал Кругляк главного механика, — в плановом порядке? Хорошее дело, ждать две недели! Тут работы на двадцать минут, — и, зная упрямство Нониуса, Кругляк сказал: — Я слышал, вы уходите в отпуск? Ну, знаете, будь я директором, я бы вас не отпустил.

— Почему? — подозрительно спросил главный механик.

— Кроме шуток! Ведь ваш отдел — сердце фабрики, а вы — мозг своего отдела, — сказал Кругляк и прижал руки к груди.

И главный механик выписал наряд.

И так, незаметно, за полтора часа было сделано то, что при ремонте мельницы, по плану Нониуса, и получении графита, по требованию коммерческого отдела, заняло бы две-три недели.

Новый химик перешел работать в цех.

Он любил составлять рецептуры в заваленном ящиками и мешками цеховом складе сырья. Здесь воздух был душный и теплый. Чего только не было на этом складе, и чем только не пах здесь воздух! Парафин, воск, саломас, глина, тальк, метилвиолет, сухие лаки, наполнители, милори, каолин. Но здесь уже не было нравившихся ему смол и камедей: все

это было загнано Кругляком в коробочки с образцами.

Вся левая стена склада была уставлена маленькими, пузатенькими бочонками с английскими надписями. Новый химик сразу узнал эти бочонки. Он видел, как их наполняли графитом, как их грузили на платформы, как громадный кран осторожно переносил их над зеленой, как трава, водой и опускал в трюм желтопузого парохода. И какое-то несказанное удовольствие испытал он, сидя над открытым бочонком и пропуская меж пальцев тяжелую струю графитного порошка. Графит был теплый и такой мягкий, что, казалось, облизывал руку ласковым языком. Стоило его потереть меж пальцев, и пальцы становились стального цвета, блестели, как зеркало, делались скользкими и гладкими.

И в свободные от работы минуты он запускал руку по локоть в бочонок с графитом, перебирал его, пока пальцы не касались шершавого дерева. Зачем он это делал? Он и сам не знал.

Часто в цех приходил Кругляк и говорил:

— Ну как? — и, не дожидаясь ответа, сам отвечал: — Все в порядке, я уже видел. Скоро пустим шихту на фильтр-пресса. — Он волновался, подозрительно нюхая графит, сердито говорил: — Ой, помол, помол!

В выходной день он так и не поехал прыгать натошак с парашютной вышки, а просидел до вечера в лаборатории, составляя длинные письма тресту Уралграфиткорунд и заводу. Он просил улучшить размол графита, чтобы "по крайней мере восемьдесят процентов проходило сквозь шелковое сито с десятью тысячами отверстий на квадратный сантиметр".

Действительно: сибирский графит был очень крупный, легко можно было рассмотреть отдельные листочки, из которых он состоял.

Патрикеев, щупая графит, пожимал плечами, делал круглые глаза и, переглядываясь с мастерами, смеялся так, точно у него во рту была деревянная коробочка, в которой прыгал камешек. На Кругляка он смотрел

дружелюбно и снисходительно, покачивая головой и улыбаясь.

— Под вашу личную ответственность, милейший Борис Абрамович, — говорил он, — под вашу личную ответственность на нас двигается с Урала сто тонн этой прелести.

Кругляк велел остановить на десять минут шаровую мельницу и, опечатав отверстие барабана печатью фабричной партячейки, сказал новому химику:

— Днем он смеется, но откуда я знаю, что он делает ночью?

Работавшие в цеху чувствовали какое-то напряжение, глядя на размеренно вращающийся барабан с болтавшимися вокруг сургучной печати ленточками. А новый химик все больше времени проводил на складе; там он поставил себе маленький столик и занимался ситовым анализом различных образцов графита. На складе, кроме него, был только один человек: рабочий, весовщик Горшечкин, шестидесятилетний лобастый старик, с большой головой, большим носом, большим беззубым ртом, большими ушами. Горшечкин был самым веселым человеком на фабрике, говорил он только рифмами. Когда на склад входил рабочий и, вытирая пот, жаловался:

— Ох, Горшечкин, и жарко! — тот подмигивал и отвечал:

— А мне не жалко.

Когда девушка-работница, смеясь, сказала ему:

— Что ты, товарищ Горшечкин, в таких валенках ходишь? Некрасиво! — он ответил ей:

— Некрасиво, зато спасибо.

С новым химиком он говорил много и охотно, рассказывая ему массу всяких историй, и каждый раз, когда индус, уходя с фабрики, церемонно пожимая ему руку, четко выговаривал:

— Товарищ Горшечкин, прощайте! — Горшечкин, радостно улыбаясь во всю ширь лица, отвечал:

— Не страшайте!

Иногда новый химик приходил в лабораторию, его

встречали шумно, точно он приезжал издалека.

Особенно почему-то радовались оба Петрова. А Нюра начинала волноваться и снова мыть только что вымытые стаканы, колбы и воронки, от растерянности бросала в раковину недокуренную папиросу. И он привык, сам того не замечая, к фабрике, к желтолицему Квочину, к секретарю ячейки Кожину, каждый день шепотом, точно у больного, спрашивающего:

— Ну, как твои дела, товарищ Николай Николаевич?

Привык к лаборантам, к веселому старику Горшечкину, к мрачному Шперлингу, к Нюре Орловой, к неистовому Кругляку.

Он уже однажды повздорил с мастером Горяченко, не хотевшим пропустить пробу через мешалку, и пошел с ним к Патрикееву. Патрикеев начал было вертеться и шутить, но индус закричал резким, как у птицы, голосом, а глаза его стали вдруг так страшны, что Патрикееву показалось — вот-вот новый химик его хватит чем-нибудь тяжелым.

Иногда он сидел в курилке с рабочими и слушал, о чем они говорят; по глазам его было видно, что он вслушивается внимательно в каждое слово, не думая в это время ни о чем другом. И только когда в цеховом складе он подходил к бочонкам графита, с ним начинало твориться неладное. Горшечкин это давно уже заметил. Николай Николаевич задумывался, отвечал невпопад, а большей частью и вовсе не отвечал. И Горшечкин все думал: отчего это Николай Николаевич дуреет?

А маленькое сердитое динамо, жужжа, обливаясь потом, быстро гнало работу.

Шихту выгрузили из мельницы, и Кругляк, вместе с индусом, ревниво ходил вокруг нее, сердился, когда кто-нибудь подходил к ней слишком близко, точно в темном чане болтал ножками младенцев.

В тот день, когда шихту отжали на фильтре-прессе, пропускали через вальцы и мешалку, дважды пропустили через пресс-сито и наконец торжественно

загрузили в патрон масляного пресса, чтобы отжимать через агатовую матрицу бесконечную нить графитного стержня, Кругляк ни разу не пошел на фабрику-кухню.

— Ну, как? — задыхаясь, спросил он у работницы, клавшей нить на длинный лоток.

Старуха-работница, работая быстрыми темными пальцами, поглядела на индуса, сидящего перед ней на корточках, на жадные глаза Кругляка и улыбнулась той улыбкой, которой могут улыбаться только старухи-работницы, улыбкой, которую не следует описывать, потому что ничего не выйдет из такого описания.

— Хороший товар, крепкий! — негромко сказала она.

Кругляк с размаху сел на пол и захохотал.

— Хороший товар! — только и мог повторить он несколько раз.

Они не ушли, пока последняя нить не была уложена на лоток, пока стержни не были раскатаны и поставлены вялиться на стеллажи.

Поздно вечером они все еще сидели в кабинете Кругляка, и Кругляк беспрерывно говорил.

— Вы думаете, я не дрейфил? Ого, еще как! Между нами говоря, когда зашипел пресс и пошла нить, я подумал: "Ей-богу, прыгать с парашютом не так уж страшно!"

Он смеялся, и индус, который тоже был рад удаче, улыбался широкой улыбкой.

— Слушайте, — сказал Кругляк, — давайте сегодня хорошенько выпьем. Пойдем в "Ку-Ку", в "Ливорно"? Вы думаете, это пустяки, все это? Ведь мы освобождаем страну от импортной зависимости.

Николай Николаевич согласился. Правда, он не пьет вина, только пиво.

— Ну, ничего! Вы будете пить пиво, а я возьму графинчик, — сказал Кругляк и, подумав, добавил: — А потом еще один графинчик. В этом "Ливорно" есть такая цыганка, что можно лопнуть. — Он еще раз

задумался и сказал: — Она, вероятно, такая цыганка, как я цыган, но это дела не меняет.

В ресторане Кругляк вдруг почувствовал ненависть к Патрикееву.

— Мне надоел этот тормоз! — говорил он. — Что, я нанялся его уговаривать? — Он перегнулся через столик и заговорил шепотом: — Ты — партийный парень, ну так слушай: Кожин смотрит на это дело так, как я смотрю, а не как директор. Директор считает, что если человек старый и имеет специальность, так он старый специалист. Ну, а секретарь считает, что он просто старый оппортунист в новой технике.

А к концу второго графина Кругляк вдруг открыл в себе способности певца. Он начал помогать хору. К ним подошел массивный человек в черном фраке, должно быть министр иностранных дел какого-то крупного государства, и пригрозил вывести певца на улицу.

Потом Кругляк ходил звонить по телефону и, вернувшись, сказал:

— Хотел позвать сюда одну знакомую девушку, но какой-то сосед ее начал мне читать мораль, что трудящихся не будят в половине третьего. Я ему говорю: "Не ленитесь, я по голосу слышу, что вы молодой человек", он мне говорит: "Приходите, парнишка, я вам обещаю открыть дверь". — Кругляк рассмеялся: — Я бы пошел, но, черт его знает, вдруг это какой-нибудь инструктор высшей физкультуры, который бросает левой рукой ядро на два километра. О чем говорить с таким человеком?

Они расстались на углу Рождественки и Кузнецкого моста. Кругляку вдруг так захотелось спать, что он шел по улице, то и дело закрывая глаза. Он шел совершенно прямо и, подойдя к своему дому, оглядел пустую серую улицу и хвастливо сказал:

— Кругляк бывает пьян, но никогда не блюет.

Когда сонный швейцар, чем-то очень громко гремя, открыл ему парадную дверь, Кругляк прого-

ворил:

— Тебе, наверно, все равно, товарищ, но с четвертого квартала мы пишем советским графитом, — и он обнял швейцара.

А новый химик совсем не спал в эту ночь.

Он шагал по комнате и думал.

Работая в цехе вместе с Кругляком, глядя на работницу, улыбнувшуюся им, радуясь удаче опыта, он чувствовал много замечательных вещей. В каких только странах по обе стороны экватора он не жил за последние годы. Там все люди были для него иностранцами. Здесь была страна друзей. Он ходил по комнате и думал о другой стране, где живые краски ярче и прекрасней всех анилинов, о болотистом острове, зараженном лихорадкой. Да, если б это зависело от него, вот сейчас, он вышел бы на улицу и пошел туда пешком.

VII

Коммерческий директор фабрики, Рябоконь, сохранил все славные традиции боевого комбрига. И когда посторонний человек заходил в отдел снабжения, где гремел Рябоконь, окруженный могучими парнями, одетыми в хаки и носившими на голове кубанки и кожаные фуражки, человек робел; ему казалось, что он попал в штаб партизанского отряда, где не очень-то ценят свою и чужую жизнь.

Рябоконь считал Кругляка самым ученым человеком, повыше разных академиков и профессоров, и относился к нему с большим уважением. Этого хорошего отношения не нарушил даже один случай, произошедший не так давно.

Рябоконь как-то пришел в лабораторию и, вынудив из желтого, в толстых ремнях, портфеля боржомную бутылку, грозно сказал Кругляку:

— Налей-ка чистого.

Кругляк похлопал себя по известному месту и

сказал:

— Не выйдет, товарищ директор!

Рябоконь ушел ни с чем, но когда Кругляк явился в коммерческий отдел и рассказал, как срочно нужен графит, Рябоконь вдруг умилился, обнял Кругляка за плечи так, что тот охнул, и сказал:

— Сделаем.

— Холодный! — гаркнул он и, когда в кабинет вбежал бледнолицый, худой человек в кожаной куртке, Рябоконь сказал ему: — Завтра выезжаешь на Урал, гнать графит.

— Есть, товарищ Рябоконь!

Дело у коммерческого директора было поставлено по-военному.

Графит с Урала действительно прибыл быстро. Он был упакован в двойные мешки, похожие на подушки. Полдня заняла переноска графита на склад и в цех. Мастера сердито поглядывали, как грузчики укладывали штабели мешков в цеховом складе. Старик Горяченко сердился и смотрел на новый графит с таким видом, точно к нему в квартиру вселялись какие-то беспокойные, суетливые люди. Кругляк вызвал Кожина и вместе с ним пошел к директору. Все трое, они стояли молча у окна и смотрели, как разгружали грузовики. Потом они одновременно переглянулись.

— Ну, товарищ Кругляк... — сказал Квочин.

Кожин рассмеялся.

— Да, делишки! — и, посмотрев на небо, добавил: — Надо подогнать разгрузку, дождь, видно, будет громадный.

Кругляк молчал.

— Ну вот, товарищи! — вдруг промолвил он. — Имейте в виду, это наш новый химик провернул дело с графитом. — Он подмигнул Квочину и весело сказал: — Я тоже приложился к этому делу, товарищ директор, свое моральное удовлетворение я имею при себе, но если мне дадут премию, то я буду иметь зимнее пальто. Это тоже греет.

— Ну, товарищ Кругляк... — обиделся Квочин.

А Кожин, махнув рукой, сказал:

— Эх, не тот наркомат; а то бы ты у нас с орденом ходил!

— Да, легкая промышленность... — задумчиво сказал директор и потер красные глаза.

Новый химик пришел в цех, когда графит был уже уложен. Да, графита было привезено много, в цеховом складе негде было повернуться. Пузатенькие бочонки исчезли — не то их унесли куда-то, не то завалили сибирским графитом. Новый химик вышел в цех. Надо было уходить. Он предупредил в лаборатории, что уже, не возвращаясь, пойдет домой. Собственно говоря, он мог и не заходить в цех, ведь делать тут было нечего. Да, он хотел посмотреть, как уложили новый графит, ведь завтра предстояло начать анализ. И еще кое-что: у него вошло в привычку, перед тем, как идти домой, смотреть на бочонки цейлонского графита. Он даже не ленился вновь отмывать руки и запускал в бочонок пальцы. Но пузатенькие бочонки исчезли — не то их унесли куда-то, не то их завалили сибирским графитом.

Вдруг хлопнула форточка, стукнуло окно, песок, точно спасаясь от дождя, отчаянно застучал по стеклам. И сразу же начался ливень. Грозы не было, но дождь был очень силен; он так грохотал по крыше, что заглушил скрежет станков; казалось, что они движутся совершенно бесшумно.

Индус подошел к окну. Он стоял и смотрел, как по стеклам скользила вода. Оттого ли, что на дворе было почти темно, от какой ли другой причины, лицо его казалось совсем черным.

— Николай Николаевич! — окликнул его знакомый голос.

Это была Нюра Орлова. Она вытащила из-под кофты сверток и сказала:

— Это плащ Бориса Абрамовича.

Новый химик отрицательно покачал головой.

Он шел в полумраке между фабричными цехами,

перепрыгивая через лужи, добрался до проходной, и когда сторожа предложили ему переждать, он снова покачал головой и вышел на улицу.

Он шел своей легкой походкой, и по мостовой в сторону заставы плыла желтая широкая река.

А Нюра стояла у окна и думала, что этот человек не захотел надеть плащ потому, что она его обидела, не взяв подарка, предложенного ей от чистого сердца.

1935 г.

СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ

I

Последние годы Борис Исаакович Розенталь выходил из дому лишь в теплые тихие дни. В дождь, в сильный мороз либо в туман у него кружилась голова. Доктор Вайнтрауб полагал, что головокружения происходят от склероза, и советовал перед едой выпивать рюмку молока с пятнадцатью каплями йода.

В теплые дни Борис Исаакович выходил во двор. Он не брал философских книг: его развлекали возня детей, смех и руготня женщин. С томиком Чехова он садился на скамейке возле колодца. Он держал открытую книгу на коленях и, глядя все на одну и ту же страницу, сидел, полузакрыв глаза, с сонной улыбкой, которая бывает у слепых, прислушивающихся к тому, как шумит жизнь. Он не читал, но привычка к книге была в нем настолько сильна, что ему необходимым казалось поглаживать шершавый переплет, проверять дрожащими пальцами толщину страницы. Женщины, сидевшие неподалеку, говорили: "Вот учитель заснул", — и беседовали о своих делах, словно были одни. Но он не спал. Он наслаждался теплом нагретого солнцем камня, вдыхая запах лука и постного масла, слушал разговоры старух о своих невестках и зятях, ловил ухом беспощадный, бешеный азарт мальчишеских игр. Иногда сохнувшие на веревках тяжелые мокрые простыни хлопали, как паруса на ветру, и лицо ему обдавало влагой. И ему казалось: вот он снова молод и студентом едет на

парусной лодке по морю. [Он любил книги — книги не стояли стеной между ним и жизнью. Богом была жизнь. И он познавал бога — живого, земного, грешного бога, читая историков и философов, читая великих и малых художников, которые каждый в силу свою славили, оправдывали, винили и кляли человека на прекрасной земле.] Он [сидел во дворе и] слышал пронзительный детский голос.

— Внимание, бабочка летит — огонь!

— Есть, поймал! Добивайте ее камнями!

Борис Исаакович не ужасался этой свирепости — он знал ее и не боялся на протяжении всей своей восьмидесятидвухлетней жизни.

И вот шестилетняя Катя, дочь убитого лейтенанта Вайсмана, подошла к нему в своем изодранном платье, шаркая галошами, спадающими с грязных исцарапанных ножек, и протянула холодный кислый блин, сказав: "Кушай, учитель!"

Он взял блин и ел его, глядя на худое лицо девочки. Он ел этот блин, и во дворе вдруг стало тихо, и все — и старухи, и молодые грудастые бабы, забывшие о мужьях, и лежавший на матрасе под деревом безногий лейтенант Вороненко — смотрели на старика и на девочку. Борис Исаакович уронил книгу и не стал поднимать ее — он смотрел на огромные глаза, внимательно и жадно следившие, как он ел. Ему вновь захотелось понять вечно удивлявшее его чудо человеческой доброты, он хотел вычитать его в этих детских глазах. [Но, видно, слишком темны были они, а может быть, слезы помешали ему, но он снова ничего не увидел и снова ничего не понял.]

Соседок всегда удивляло, почему к старику, получающему сто двенадцать рублей пенсии, не имеющему даже керосинки и чайника, приходят в гости директор педтехникума и главный инженер сахарного завода, а однажды приехал на автомобиле военный с двумя орденами.

— Это мои бывшие ученики, — объяснял он. И

почтальону, приносившему ему иногда сразу по два-три письма, он тоже говорил: — Это мои бывшие ученики. — Они его помнили, бывшие ученики.

И вот он сидел утром 5 июня 1942 года во дворе. Рядом с ним, на вынесенном из дому матраце, сидел лейтенант Виктор Вороненко с отрезанной выше колена ногой. Жена Вороненко, молодая красавица Дарья Семеновна, готовила на летней кухне обед и, наклоняясь над кастрюлями, плакала, а Вороненко, насмешливо морща белое лицо, говорил:

— Чего плакать, Даша, вот увидишь, отрастет у меня нога.

— Да я не от этого, лишь бы ты был живой, — говорила Дарья Семеновна и плакала, — я совсем от другого.

В час дня объявили воздушную тревогу: шел немецкий самолет. Женщины, подхватив детей, побежали к щелям, оглядываясь, не подбираются ли жулики к оставленным на столиках и табуретках продуктам. Во дворе оставался только Вороненко и Борис Исаакович. Мальчишка кричал с улицы:

— Возле нас остановилась автоцистерна, это объект. Водитель удрал в щель!

Собаки, изведавшие уже множество налетов, при первых же отдаленных звуках немецкого мотора, опустив хвосты, полезли в щели следом за женщинами.

Потом на миг стало тихо, и мальчишки пронзительно известили:

— Летит... разворачивается... пикирует, паразит!

Маленький городок вздрогнул от страшного удара, дым и пыль поднялись высоко вверх, крик и плач слышались из щелей. Потом стало тихо, и женщины вылезали из земли, отряхиваясь, поправляя платья, смеясь друг над другом, счищая с детей пыль и грязь, спешили к плиткам.

— А шоб вин сказывся, погасла-таки плита, — говорили старухи и, раздувая пламя, плача от дыма, бормотали: — Шоб ему уже добра ни на тим, ни на

щим свити не було.

Вороненко объяснил, что немец сбросил двухсотку и что зенитки мазали метров на пятьсот. Старуха Михайлюк бормотала:

— Та скорей бы уж немцы шлы, щоб кончилось несчастье. Вчера в тревогу какой-то паразит у меня с плиты горшок борща унес.

Во дворе знали, что сын ее Яшка убежал из армии и скрывается в чердачной комнате, выходит на улицу только ночью. Михайлючка говорила, что если кто заявит, то при немцах ему головы не снести. И женщины боялись заявлять — немцы были близко.

Агроном Коряко, не эвакуировавшийся с райзем-отделом, а хваставший, что уйдет с войсками в последнюю минуту, как только объявляли тревогу, бежал в комнату — он жил в первом этаже, выпивал стакан самогону, — агроном называл его "антибомбин", — и затем спускался в подвал. После отбоя Коряко ходил по двору и говорил:

— Все равно наш город — это неприступная крепость. Подумаешь, разбил дойч халупу!

Мальчишки первыми прибежали с улицы, принося точные сведения:

— Упала прямо против дома Заболоцких. Убило у Рабиновички козу; оторвало ногу старухе Мирошенко, ее повезли на подводе в больницу, и она умерла по дороге, дочь убивается так, что слышно за четыре квартала.

Вечером зашел к Борису Исааковичу доктор Вайнтрауб. Вайнтраубу было шестьдесят восемь лет. На нем был надет легкий чесучевый пиджак, косоворотка расстегнута на жирной груди, поросшей седой шерстью.

— Ну как, молодой человек? — спросил Борис Исаакович.

Но молодой человек тяжело дышал, одолев лестницу, ведущую на второй этаж, и лишь вздыхал, показывая на грудь. Потом он сказал:

— Надо ехать, говорят, последний эшелон с рабочи-

ми сахарного завода уходит завтра. Я напомнил инженеру Шевченко — он обещал прислать за вами подводу.

— Шевченко у меня учился, отлично успевал по геометрии, — сказал Борис Исаакович, — его нужно попросить взять из нашего дома раненого Вороненко, которого дней пять назад жена нашла в госпитале, и Вайсман с ребенком — муж ее убит, она получила извещение.

— Не знаю, будет ли место, ведь несколько сот рабочих, — сказал Вайнтрауб и вдруг заговорил быстро, обдавая собеседника своим тяжелым, горячим дыханием: — Ну вот, Борис Исаакович, город, где меня буквально каждая собака знает, — подумать только, шестнадцатого июня девятьсот первого года я приехал сюда. — Он усмехнулся: — И вот совпадение: в этом доме, в этом самом доме я был сорок один год тому назад у своего первого пациента — Михайлюк отравился рыбой. С тех пор кого я только не лечил здесь — и его, и жену, и Яшку Михайлюка с его вечными поносами, и Дашу Ткачук, еще до того, как она вышла замуж за Вороненко, и отца Даши, и Витю Вороненко. И так буквально в каждом доме. А-а, ну-ну! Дожить до того дня, чтобы нужно было бежать отсюда. И скажу вам откровенно, чем ближе отъезд, тем меньше во мне решимости. Все кажется — останусь. Пусть будет, что будет.

— А у меня все больше решимости ехать, — сказал учитель, — я знаю, что такое езда в переполненной теплушке для человека восьмидесяти двух лет. У меня нет родственников на Урале. У меня ни копейки нет за душой. Больше того, — он махнул рукой, — я знаю, уверен даже, что не выдержу до Урала, но это лучший выход — умереть на грязном полу грязной теплушки, сохраняя чувство своего человеческого достоинства, умереть в стране, где меня считают человеком.

— Ну, не знаю, — сказал Вайнтрауб, — а по-моему, не так страшно: все ж таки люди интеллигентных

профессий, вы сами понимаете, на улице не валяются.

— Наивный вы молодой человек, — сказал Борис Исаакович.

— Не знаю, не знаю, — сказал доктор. — Я все время колеблюсь, многие мои пациенты меня уговаривают остаться... Но есть и такие, которые безоговорочно советуют уехать. — Он вдруг вскочил и громко закричал:

— Что это? Объясните мне! Я пришел к вам, чтобы вы мне объяснили, Борис Исаакович! Вы — философ, математик, объясните мне, врачу, что это? Бред? Как культурный европейский народ, создавший такие клиники, выдвинувший такие светила научной медицины, стал проводником черносотенного средневекового мрака? Откуда эта духовная инфекция? Что это? Массовый психоз? Массовое бешенство? Порча? Или все ж таки немного не так, а? Сгустили красочки?

На лестнице послышался стук костылей, это поднимался Вороненко.

— Разрешите, товарищ начальник, обратиться? — насмешливо спросил он.

Вайнтрауб сразу успокоился и спросил:

— А, Витя, ну как дела? — Он почти всему населению города говорил "ты", потому что все сорокалетние и тридцатилетние когда-то мальчишками лечились у него.

— Вот ножку оторвало, — сказал, усмехаясь, Вороненко. Он о своей беде всегда говорил усмехаясь, стыдясь ее.

— Ну как, книжку прочли? — спросил Борис Исаакович.

— Книжку? — переспросил Вороненко; он все время усмехался, морщился. — Какого хрена книжку, вот будет нам знаменитая книжка.

И Вороненко вдруг нагнулся к ним, лицо его стало спокойно, неподвижно. Негромко и неторопливо он произнес:

— Немецкие танки прошли через железнодорожное полотно и заняли деревню Малые Низгурцы, это

примерно километров двадцать на восток.

— Восемнадцать с половиной, — сказал доктор и спросил: — Значит, эшелон не уйдет?

— Ну, само собой разумеется, — сказал старый учитель.

— Мешочек, — сказал Вороненко и, подумав, прибавил: — Завязанный мешок.

— Ну что ж, — проговорил Вайнтрауб, — посмотрим, значит, это судьба. Я пойду домой.

Розенталь посмотрел на него.

— Вы знаете, я всю жизнь не любил лекарств, но сейчас вы мне дадите единственное лекарство, которое может помочь.

— Что, что может спасти? — быстро спросил Вайнтрауб.

— Яд.

— Никогда этого не будет! — крикнул Вайнтрауб. — Я никогда этого не делал.

— Вы наивный молодой человек, — сказал Розенталь. — Эпикур ведь учил, что мудрый из любви к жизни может убить себя, если страдания его становятся невыносимы. А я люблю жизнь не меньше Эпикура.

Он встал во весь рост. Волосы, и лицо его, и дрожащие пальцы, и тонкая шея — все было высушено, обесцвечено временем, казалось прозрачным, легким, невесомым. И только в глазах была мысль, не подвластная времени.

— Нет, нет! — Вайнтрауб пошел к двери. — Вот увидите, как-нибудь промучаемся. — И он ушел.

— Больше всего боюсь я одной вещи, — сказал учитель, — того, что народ, с которым я прожил всю свою жизнь, который я люблю, которому верю, что этот народ поддастся на темную, подлую провокацию.

— Нет, этого не будет! — сказал Вороненко.

Ночь была темна, оттого что тучи покрывали небо и не пропускали света звезд. Она была темна от тьмы земной. Гитлеровцы были великой ложью жизни. И всюду, где ступала нога их, из мрака на поверхность выступали трусость, предательство, жажда темного

убийства, расправы над слабым. Все темное вызывали они на поверхность, как в старой сказке дурное колдовское слово вызывало духов зла. Маленький город в эту ночь задышался от темного и недоброго, от зловонного и грязного, что проснулось, зашевелилось, растревоженное приходом гитлеровцев, потянулось им навстречу. Из подвалов и яров вылезли изменники, слабые духом, рвали и жгли в печах книги Ленина, партийные билеты, письма, срывали со стен портреты братьев. В нищих духом зрели льстивые слова отречения, рождались мысли о мести за бабью ссору на рынке, за случайно сказанное слово; черствостью, себялюбием, безразличием заражались сердца. Труссы, боясь за себя, замыслили доносом на соседа спасти свою жизнь. И так было во всех больших и малых городах больших и малых государств, всюду, куда ступала нога гитлеровцев, муть поднималась со дна рек и озер, жабы всплывали на поверхность, чертополох всходил там, где растили пшеницу.

Ночью Розенталь не спал. Казалось, в это утро не взойдет солнце, тьма над городом встала навек. Но солнце взошло в предначертанный ему час, и небо стало голубым и безоблачным, и птицы запели.

Низко и медленно пролетал немецкий бомбардировщик, словно утомленный ночной бессоницей — зенитки не стреляли, город и небо над городом стали немецкими. Дом просыпался.

Яшка Михайлюк спустился с чердака. Он гулял по двору. Он сидел на той скамейке, где вчера сидел старый учитель. Он сказал Даше Вороненко, топившей плитку:

— Ну, что, где он, твой защитник родины? Убегли красные и не взяли его с собой?

И красивая Даша, улыбаясь жалкой улыбкой, сказала:

— Ты на него не доноси, Яша, он ведь по мобилизации, как все, пошел.

Яшка Михайлюк после долгого сидения в темноте

вышел под солнечное тепло, дышал утренним воздухом, смотрел на зеленый лук в огороде. Он побрился и надел вышитую рубаху.

— Ладно, — сказал он лениво, — вот бы выпить мне чего, не знаешь, где достать?

— Я достану самогон, — сказала Даша, — есть тут у одной знакомой. Только смотри, Яша, он ведь бедный, калека. Ты не капай на него.

Потом вышел во двор агроном, и женщины шептались:

— Вот это да, словно на первый день пасхи.

Он поговорил с Яшкой, шепнул ему словцо на ухо, и они оба рассмеялись.

Они зашли к агроному и выпивали там. Михайлючка принесла им сала и моченых помидоров. Варвара Андреевна, у которой все пять сыновей были в Красной Армии, самая вредная на язык и самая ядовитая во дворе старуха, сказала ей:

— Ты теперь, Михайлючка, знатная женщина страны при немцах будешь: муж в концлагере за агитацию, сын дезертир, дом этот твой собственный. Прямо тебя немцы городской головой выберут.

Шоссе лежало в пяти километрах восточней города, и поэтому немецкие войска прошли, минуя маленький городок. Лишь в полдень проехали по главной улице мотоциклисты в пилотках, трусах и тапочках, черные от загара. У каждого на руке были часы-браслетик.

Старухи, глядя на них, говорили:

— Ах, боже мой, ни стыда, ни совести, голые по главной улице. Окаянство-то до чего доходит!

Мотоциклисты пошуровали по дворам, забрали поповского индюка, вышедшего разобраться в конском навозе, второпях съели у церковного старосты два с половиной кило меда, выпили ведро молока и укатили дальше, обещав, что часа через два прибудет комендант. Днем к Яшке пришли еще два приятеля-дезертира. Они все были пьяны и хором пели: "Три танкиста, три веселых друга". Они бы, вероятно, спели немецкую песню, но не знали ее. Агроном

ходил по двору и, лукаво усмехаясь, спрашивал у женщин:

— Где же это наши евреи? Весь день не видно ни детей, ни стариков, никого, словно их и не было на свете. А вчера с базара пятипудовые корзины перли.

Но женщины пожимали плечами и не поддерживали этот разговор. Агроном удивлялся. Ему казалось, что женщины совсем иначе отнесутся к таким интересным словам.

Потом пьяный Яшка решил очистить свою квартиру, ведь до тридцать шестого года весь нижний этаж был занят Михайлюками. После того, как сослали отца, две комнаты занял Вороненко с женой, а во время войны горсовет вселил в третью комнату семью младшего лейтенанта Вайсмана, эвакуированную из Житомира.

Приятели помогли Яшке очищать площадь. Катя Вайсман и Виталий Вороненко сидели во дворе и плакали. Старуха Вайсман выносила посуду, кухонные горшки и, проходя мимо плачущих детей, шепотом говорила:

— Цыть, дети, тише, не надо плакать.

Но потное лицо ее с прилипшими к вискам и щекам седыми прядями казалось таким страшным, что дети, глядя на нее, пугались и плакали еще шибче. Даша пробовала напомнить Яшке об утреннем разговоре, но он ей сказал:

— Меня пол-литром не купишь! Ты думаешь, люди забыли, что твой Витька народ раскулачивал.

Лида Вайсман, вдова младшего лейтенанта, малость помешавшаяся, после того как в один день она получила похоронную на мужа и на брата, смотрела на плачущую девочку и говорила:

— Сегодня на базаре нет ни капли молока, плачь не плачь, молока нет.

А Виктор Вороненко улыбался, лежа на пустом мешке, постукивая костылем по земле.

Старуха Михайлюк стояла, высокая, седая, с яркими глазами, и все молчала. Она смотрела на плачущих

детей, на захлопотавшегося сына, на старуху Вайсман, на улыбавшегося безногого.

— Мамо, шо ж вы стоите, як засватанная? — спрашивал ее Яшка.

Два раза она не ответила ему, а на третий раз сказала:

— Вот и мы дождали дня.

До вечера выселенные сидели молча на узлах, а когда начало темнеть, вышел учитель и сказал:

— Очень прошу всех вас ко мне.

Закаменевшие женщины зарыдали сразу.

Взяв два узелка с земли, учитель пошел к дому. Комнату всю завалили узлами, кастрюлями, чемоданами, обвязанными проволокой и бечевкой. Дети уснули на кровати, женщины на полу, а Розенталь и Вороненко вполголоса разговаривали.

— Я о многом в жизни мечтал, — говорил Виктор Вороненко, — то мне хотелось орден Ленина иметь, то хотел свой мотоцикл с коляской, чтобы по выходным ездить с женой к Донцу; был на фронте, мечтал семью повидать, сыну привезти "железный крест" и сгущенного молока, а теперь я мечтаю только об одном: иметь гранаты — вот бы шухеру наделал!

А учитель сказал:

— Чем больше думаешь о жизни, тем меньше ее понимаешь. Скоро я перестану думать, но это случится, когда мне разmozжат череп. Пока немецкие танки бессильны помешать мне думать — я думаю о мире.

— Да что там думать, — сказал Вороненко, — гранаты бы ручные, побольше шухеру, пока я жив, Гитлеру сделать!

II

Агроном Коряко ждал приема у коменданта города. Говорили, что комендант — человек пожилой, знающий русский язык. Откуда-то стало известно, что в далекие времена он учился в рижской гимназии.

Коменданту было уже доложено, и агроном ходил в волнении по приемной, поглядывая на огромный портрет Гитлера, беседующего с детьми. У Гитлера на лице была улыбка, а дети, необычайно нарядные, с серьезными, напряженными лицами, смотрели на него снизу, с малой высоты своего детского роста. Коряко волновался. Ведь он некогда составлял план коллективизации по району — вдруг есть донос по этому случаю. Он волновался — впервые в жизни предстояло ему говорить с фашистами. Волновался он и потому, что находился в помещении сельскохозяйственного техникума, где преподавал год тому назад полеводство. Он понимал, что совершает решающий шаг и не сможет никогда вернуться к прежнему. И все волнения души агроном тушил одной фразой. Он твердил ее беспрерывно:

— Играть надо на козырную карту, на козырную карту надо играть.

Из комендантского кабинета послышался вдруг полный муки, хриплый, сдавленный крик.

Коряко отошел к входной двери. "Эх, ей-богу, зря я сам лезу, сидел бы, и никто бы не тронул", — с внезапной тоской подумал он. Дверь распахнулась, и в приемную выбежал начальник полиции, недавно приехавший из Винницы, и молодой бледный адъютант коменданта, который в базарный день делал облаву на партизан. Адъютант что-то громко сказал писарю по-немецки, и тот вскочил и кинулся к телефону, а начальник полиции, увидев Коряко, крикнул:

— Скорей, скорей! Где тут доктор? С комендантом припадок.

— Да вот наискосок дом, самый лучший врач в городе, — показал в окно Коряко. — Только он, извините, Вайнтрауб — еврей!

— Вас? Вас? — спросил адъютант.

Начальник полиции, уже научившийся калякать по-немецки, сказал;

— Хир, айн гут доктор, абер эр ист юд.

Адъютант махнул рукой, кинулся к двери, а

Коряко, догоняя его, показывал:

— Сюда, сюда, вот этот домик.

У майора Вернера был жестокий приступ грудной жабы. Доктор сразу понял это, задав несколько вопросов адъютанту. Он выбежал в соседнюю комнату, обнял, прощаясь, жену и дочь, захватил шприц, несколько ампул камфары и вышел следом за молодым офицером.

— Минуту... Я ведь должен надеть повязку, — сказал Вайнтрауб.

— Не надо, идите так, — проговорил адъютант.

Когда они входили в комендатуру, молодой офицер сказал Вайнтраубу:

— Я предупреждаю: сейчас прибудет наш врач, за ним послали авто. Он проверит все ваши медикаменты и методы.

Вайнтрауб, усмехнувшись, сказал ему:

— Молодой человек, вы имеете дело с врачом, но если вы мне не доверяете, я могу уйти.

— Идите скорей, скорей! — крикнул адъютант.

Вернер, худой, седой человек, лежал на диване с потным, бледным лицом. Полные смертной тоски, глаза его были ужасны. Вернер медленно произнес:

— Доктор, ради моей бедной матери и больной жены — они не переживут. — И он протянул к Вайнтраубу бессильную руку с белыми ногтями.

Писарь и адъютант одновременно всхлипнули.

— В такую минуту они вспомнили о матери, — набожно проговорил писарь.

— Доктор, я не могу дышать, у меня темнеет в глазах, — тихо крикнул комендант; он молил глазами о помощи.

И доктор спас его.

Сладостное чувство жизни вновь пришло к Вернеру. Сердечные сосуды, освободившись от спазм, свободно гнали кровь, дыхание стало свободным. Когда Вайнтрауб хотел уйти, Вернер схватил его за руку.

— Нет, нет, не уходите, я боюсь, это может повториться.

Тихим голосом он жаловался:

— Ужасная болезнь. У меня уже четвертый приступ. В момент припадка я чувствую весь мрак надвигающейся смерти. Нет в мире ничего страшней, темней, ужасней смерти. Какая несправедливость в том, что мы смертны! Правда ведь?

Они были одни в комнате.

Вайнтрауб наклонился к коменданту и, сам не зная отчего, точно толкнул его кто-то, сказал:

— Я еврей, господин майор. Вы правы, смерть страшна.

На мгновение глаза их встретились. И седой врач увидел растерянность в глазах коменданта. Немец зависел от него, он боялся нового приступа, и старый доктор с уверенными, спокойными движениями защищал его от смерти, стоял между ним и той страшной тьмой, которая была так близко, совсем рядом, жила в склеротическом сердце майора.

Вскоре послышался шум подъехавшего автомобиля. Вошел адъютант и сказал:

— Господин майор, прибыл главный врач терапевтического госпиталя. Теперь можно отпустить этого человека.

Старик ушел. Проходя мимо ожидавшего в канцелярии врача с орденом "железного креста" на мундире, он сказал улыбаясь:

— Здравствуйте, коллега, пациент в полном порядке сейчас.

Врач неподвижно и молча смотрел на него.

Вайнтрауб шел к дому, громко, нараспев, говоря:

— Только одного хочу я, чтобы меня встретил патруль и расстрелял перед окнами, на глазах коменданта, больше у меня нет желаний. Не ходи без повязки, не ходи без повязки.

Он смеялся, размахивал руками, казалось, что он пьян.

Жена выбежала к нему навстречу.

— Ну как, что, все обошлось? — спрашивала она.

— Да, да, жизнь дорогого коменданта совершенно

вне опасности, — улыбаясь говорил он и, войдя в комнату, вдруг повалился, рыдая, стал биться своей большой лысой головой об пол.

— Прав, прав учитель, — говорил он, — будь проклят тот день, когда я стал медиком.

Так шли дни. Агроном стал поквартальным уполномоченным, Яшка служил в полиции, самая красивая девушка в городе Маруся Варапонова играла на пианино в офицерском кафе и жила с адъютантом коменданта. Женщины ездили в деревни менять барахло на пшеницу, картофель, пшено, ругали немецких шоферов, требовавших огромной платы за провоз. Биржа труда рассылала сотни повесток — и к станции шли девушки и парни, с котомками и узелками, грузиться в товарные эшелоны. В городе открылось немецкое кино, солдатский и офицерский публичный дом, на главной площади построили большую кирпичную уборную с надписью на русском и итальянском языке: "Только для немцев". В школе учительница Клара Францевна задавала в первом классе детям задачу: "Два "Мессершмитта" сбили восемь красных истребителей и двенадцать бомбардировщиков, а зенитная пушка уничтожила одиннадцать большевистских штурмовых самолетов. Сколько всего уничтожено красных самолетов". И остальные учительницы боялись при Кларе Францевне говорить о своих делах, ждали, пока она выйдет из учительской комнаты. Через город гнали пленных, они шли, оборванные, шатаясь от голода, и женщины подбегали к ним, давали им куски хлеба, вареный картофель. Казалось, пленные потеряли человеческий образ, так измучены были они голодом, жаждой, вшами. У некоторых лица опухли, у других, наоборот, щеки ввалились, заросли темной пыльной щетиной. Но, несмотря на страшные страдания, они несли свой крест и с ненавистью смотрели на сытых, хорошо одетых полицейских, на носящих немецкие мундиры изменников. И ненависть была так велика, что, если б предоставили им выбор, их руки потянулись бы не за

горячим караваем хлеба, а к горлу предателя. По утрам толпы женщин под наблюдением солдат и полицейских шли на работу на аэродромы, мосты, исправлять пути, железнодорожные насыпи. Мимо них проходили с запада эшелоны с танками и снарядами, с востока на запад шли составы с пшеницей, скотом, заколоченные товарные вагоны с девушками и парнями.

Женщины, старики, малые дети — все ясно понимали, что происходит в стране, какой участи обрекли немцы народ и ради чего вели они эту страшную войну. И когда однажды к Розенталю во дворе подошла старуха Варвара Андреевна и, плача, спросила: "Что ж это в свете делается, деду?" — учитель вернулся к себе в комнату и сказал:

— Ну, вероятно, через день-два немцы устроят евреям великую казнь — слишком страшна жизнь, на которую они обрекли Украину.

— При чем же евреи? — спросил Вороненко.

— Как при чем? Это одна из основ, — сказал учитель. — Фашисты создали всеевропейскую всеобщую каторгу и, чтобы держать каторжан в повиновении, построили огромную лестницу угнетения. Голландцам живется хуже, чем датчанам, французам хуже, чем голландцам, чехам хуже, чем французам, еще хуже приходится грекам, сербам, потом полякам, еще ниже — украинцы, русские. Это все ступени каторжной лестницы. Чем ниже, тем больше крови, рабства, пота. Ну, и в самом низу этой огромной каторжной многоэтажной тюрьмы находится пропасть, которой фашисты обрекли евреев. Их судьба должна страшить всю великую европейскую каторгу, чтобы самый страшный удел казался счастьем по сравнению с уделом евреев. Ну вот, мне кажется, страдания русских и украинцев настолько велики, что подоспела пора показать, что есть судьба еще страшней, еще ужасней. Они скажут: "Не ропщите, будьте счастливы, горды, рады, что вы не евреи!" Это простая арифметика зверства, а не стихийная ненависть.

III

Во дворе, где жил учитель, за этот месяц произошло немало изменений. Агроном стал необычайно важен, потолстел. К нему ходили с просьбами женщины, приносили самогон, каждый вечер агроном напивался, заводил патефон, пел "Мой костер в тумане светит". В речи его появились немецкие словечки. Он говорил: "Когда я иду в нах гауз или на шпацир, прошу ко мне не обращаться с просьбами". Яшка Михайлюк дома бывал редко, большей частью он ездил по району, ловил партизан. Приезжал Яшка обычно с крестьянской подводой, привозил с собой сало, самогон, яйца.

Мать, безумно любившая его, готовила богатые ужины. Однажды на такой ужин пришел унтер-офицер из гестапо, и старуха Михайлюк с укором сказала Даше Вороненко:

— Не угадала ты, дура, видишь, какие люди к нам ходить стали, а ты живешь со своим одноногим в жиловской комнате.

Она никак не могла простить красавице Даше, что та в тридцать шестом году отказала ее сыну и пошла замуж за Вороненко. Яшка насмешливо и загадочно сказал:

— Скоро тебе просторно жить станет. Бывал я в городах, где очищено все сплошь... до последнего корешка.

Даша рассказала об этих словах дома. Старуха Вайсман начала причитать над внучкой.

— Даша, — сказала она, — я вам оставлю свое обручальное кольцо, а потом с нашего огорода пудов пятнадцать картошки можно будет снять, тыкву и бурак. Девочка прокормится кое-как до весны. У меня есть еще отрез сукна на дамское пальто, можно будет его выменять на хлеб. Она ведь совсем мало ест, у нее плохой аппетит.

— Прокормим как-нибудь, — ответила Даша, — а

вырастет, мы ее выдадим замуж за нашего Виталия.

В этот день пришел к учителю доктор Вайнтрауб. Он протянул учителю маленькую бутылочку, закрытую притертой стеклянной пробкой.

— Концентрированный раствор, — сказал он, — мои взгляды изменились, в последние дни я начал считать это вещество необходимым и полезным медикаментом.

Учитель медленно покачал головой.

— Благодарю вас, — грустно произнес он, — но мои взгляды тоже изменились за последнее время, я решил отказаться от этого лекарства.

— Почему? — удивленно сказал Вайнтрауб. — С меня хватит. Вы были правы, а не я. По центральным улицам ходить мне нельзя, жене моей запрещено ходить на базар под страхом расстрела, мы все носим эту повязку. Когда я выхожу с ней на улицу, у меня на руке словно тяжелый обруч из раскаленной стали. Так жить нельзя, вы совершенно правы. И даже каторги в Германии мы, оказывается, недостойны. Вы слышали, как там работают несчастные девочки и мальчики? Но еврейскую молодежь туда не берут, значит, ее — нас всех — ждет что-то во много раз худшее, чем эта страшная каторга. Что это будет — я не знаю. Зачем мне ждать этого? Вы правы. Я бы ушел в партизаны, но с моей бронхиальной астмой это неосуществимо.

— А я за эти страшные недели, которые мы с вами не виделись, — сказал учитель, — стал оптимистом.

— Что? — испуганно переспросил Вайнтрауб. — Оптимистом? Простите, но вы, кажется, сошли с ума. Вы знаете, что это за люди? Я пришел сегодня утром в комендатуру просить только о том, чтоб дочь мою после избиения освободили на один день от работы — и меня выгнали, и спасибо, что выгнали.

— Не об этом я говорю, — сказал учитель, — больше всего я боялся одной вещи, даже больше, чем боялся, — ужасался ее, покрывался холодным потом при одной мысли о ней. Знаете, того, что фашистский

расчет окажется верным. Я уже говорил об этом Вороненко. Я боялся, я ужасался, я не хотел дожить до этого дня, до этого часа. Неужели вы думаете, что фашисты вот так просто затеяли эту огромную травлю и истребление многомиллионного народа? В этом холодный, математический расчет. Они пробуждают лишь одно темное, разжигают ненависть, возрождают предрассудки. В этом их сила. Разделяй, натравливай и властвуй! Возрождать тьму! Натравить каждый народ на соседний, поработанные народы на народы, сохранившие свободу, живущих по ту сторону океана на живущих по эту сторону, и все народы всего мира на один еврейский народ. Натрави и властвуй! А мало ли в мире тьмы и жестокости, мало ли суеверий и предрассудков! И они ошиблись. Они развязывали ненависть, а родилось сочувствие. Они хотели вызвать злорадство, ожесточение, затемнить разум великих народов. А я сам воочию убедился, на себе испытал, что страшная судьба евреев вызывает у русских и украинцев лишь горестное сочувствие, что они, испытывая сами страшный гнет немецкого террора, готовы помочь чем могут. Нам запрещают покупать хлеб, ходить на базар за молоком, и наши соседки сами берутся делать для нас покупки: десятки людей заходили ко мне и советовали мне, как лучше спрятаться и где безопасней. Я вижу сочувствие многих. Я вижу, конечно, и равнодушие. Но злобу, радость от нашей гибели я видел не часто — всего лишь три-четыре раза. Немцы ошиблись. Счетоводы просчитались. Мой оптимизм торжествует. Я никогда не имел иллюзий — я знал и знаю жестокость жизни.

— Это все верно, — сказал Вайнтрауб и посмотрел на часы, — но мне пора: еврейский день кончается, половина четвертого... Мы с вами, вероятно, не увидимся больше. — Он подошел к учителю и сказал: — Разрешите с вами проститься, мы ведь знаем друг друга почти пятьдесят лет. Не мне вас учить в такие минуты.

Они обнялись и поцеловались. И женщины, смотревшие на их прощание, плакали.

Много событий произошло в этот день. Накануне Вороненко достал у мальчишек две ручные гранаты "Ф-1". Он обменял "фенек" на стакан фасоли и два стакана семечек.

— Что мне, — сказал он учителю, стоя под деревом и глядя, как сын его Виталик обижает маленькую Катю Вайсман, — что мне, пришел домой раненный, но никакого удовольствия нет, а как мечтал, ей-богу, и в окопе и в госпитале. Во-первых, немецкая оккупация; зверство это с их биржами труда, каторжанством в Германии, голодуха, подлость, немецкие и полицейские хари, предательство проклятых изменников. — Вороненко сердито крикнул сыну:

— Что ты делаешь ребенку, фашист? Ты же ей все кости повыдергиваешь! А? Как ты считаешь: ее отец погиб в бою за родину и посмертно награжден орденом Ленина, а ты должен ее бить нещадно с утра до ночи? И что за девочка такая, ей-богу, стоит, как овца, откроет глаза и не плачет даже. Хоть бы убежала от дурака, а то стоит и терпит...

Никто не видел, как он незаметно ушел из дому, постукивая костылями. Он постоял немного на углу, оглядываясь на дом, где остались его жена и сын, и пошел в сторону комендатуры. Больше он не видел ни жены, ни сына. И агроном не вернулся домой. Граната, брошенная одноногим лейтенантом, попала в окно приемной коменданта, где собрались поквартальные уполномоченные в ожидании новых инструкций. Коменданта в это время не было — он гулял в саду; так советовал ему врач с "железным крестом" на мундире. Каждый день сорокаминутная прогулка по тропинке фруктового сада и недолгий отдых на скамеечке.

Утром больную Лиду Вайсман полицейский погнал убирать трупы отравившихся ночью доктора Вайнтрауба, его жены и дочери.

Кое-кто из темных людей хотел пробраться в

квартиру к доктору. У жены его была каракулевая шуба, да вообще много имелось хороших вещей: серебряные ложки, хрустальные бокалы, из которых пили, когда приезжал сын — ленинградский профессор, ковры. Но немцы поставили караул, и никто ничего не получил, даже доктор Агеев, просивший "Большую медицинскую энциклопедию" и горячо объяснявший, что книги эти немцам совершенно не нужны, они ведь писаны на русском языке.

Тела везли по всем улицам. Худая, скверная лошадь останавливалась на каждом углу, точно мертвые ее пассажиры каждый раз просили остановиться, чтобы посмотреть на заколоченные дома, на террасу, застекленную синим и желтым стеклом в доме Любименко, на каланчу.

Пациенты смотрели на последнее путешествие доктора из окон, ворот, дверей. Никто, конечно, не плакал, не снимал шапок, не прощался с ним. В страшные эти времена кровь, страдания и смерть никого не трогали, потрясала людей лишь любовь и доброта. Доктор не был нужен городу: кому охота лечиться в такое время, когда здоровье сушая кара. Кровохарканье, паралич, тяжелая грыжа, смертные сердечные припадки, злые опухоли спасали от изнурительных работ, от немецкой каторги. И о болезнях мечтали, вызывали их, молили о них бога. Мертвого доктора провожали угрюмыми и молчаливыми взглядами. Лишь одна старуха Вайсман заплакала, когда телега проехала мимо дома, потому что накануне доктор, придя прощаться с учителем, принес для маленькой Кати кило риса, кулек какао и двенадцать кусков сахара. Он хорошо лечил людей, доктор Вайнтрауб, но не любил лечить бесплатно. Никому никогда он не делал такого богатого подарка.

Только к вечеру вернулась Лида Вайсман.

Она сказала, что доктор и докторша оказались тяжелыми, что земля была очень каменистой и твердой, но, к счастью, немец позволил копать неглубоко. Она пожаловалась, что сбила лопатой

каблуком и порвала юбку, когда слезала с подводы, — зацепилась за гвоздик. У нее хватило здравого смысла, а быть может, хитрости помешанной, не сказать Даше, что на заставе, при въезде в город, висит Виктор Вороненко.

Но когда Даша вышла, она деловито и тихо сказала:

— Виктор там висит, наверное, страшно хочет пить — рот раскрыт и губы совершенно пересохли.

Даша перед вечером узнала от старухи Михайлюк о судьбе Виктора. Она молча ушла в глубь двора, где были посажены огурцы, и села между грядок. Вначале мальчишки подозревали, что она собирается воровать с огорода, и следили за ней, но потом поняли, что она задумалась. Она закусилась зубами губу и думала. Совершенно не жалея себя, казнилась страшными мыслями. Она вспомнила первый день их совместной жизни и вспомнила вчерашний, последний, день, она вспоминала военного врача третьего ранга и сладкий кофе, который она варила для врача и пила вместе с ним, слушая пластинки. Она вспомнила, как муж спросил ее шепотом ночью: "Тебе не противно спать с одноногим?", и как она ответила: "Ничего не поделаешь". Она была грешна перед ним всеми грехами, хотелось бежать от людей. Но мир стал жесток, и некому было сочувствовать ей, — надо было подняться с земли, снова уйти к людям. В этот вечер пришла ее очередь носить воду из колодца.

Немецкий солдат, живший в соседнем дворе, побежал в уборную, на ходу стаскивая ремень, а на обратном пути увидел сидящую Дашу и подошел к забору. Он стоял и молча любовался ее красотой, ее белой шеей, ее волосами, ее грудью. Она чувствовала его взгляд и думала, зачем, ко всему горю, бог наказал ее такой красотой — ведь невысказанно чисто, без греха, жить красивой в подлое, страшное время.

Потом к ней подошел Розенталь и сказал:

— Даша, вы хотите остаться одна. Я вместо вас наново воды. Вы посидите, сколько нужно для

вашей души. Виталика я накормил холодной пшенной кашей.

Она молча кивнула, посмотрела на него и всхлинула. Он, пожалуй, единственный из горожан совершенно не изменился за все время, остался таким, каким был — внимательным, вежливым, читал свои книги, спрашивал: "Я вам не помешаю?", желал здоровья, когда кто-либо чихал. А ведь от всех людей ушло то, что так ей нравилось — вежливость, деликатность, отзывчивость. Кажется, только этот старик один во всем городе говорил: "Как вы себя чувствуете?", "Вы сегодня утром очень бледны", "Поешьте, ведь вы вечером почти ничего не ели". А мир жил так: "Э, все равно война, все равно немцы, все горит, все пропадает". И она ведь так жила, как весь мир, — неряшливо, не думая о душе.

Она быстро копала щепочкой землю между огуречными плетями и затем старательно закапывала ямки, равняя их с землей. И когда уже совсем стемнело, она немного поплакала — ей стало легче дышать, захотелось есть, пить чай и захотелось подойти к тронутой Лиде Вайсман и сказать ей: "Ну вот, мы теперь две вдовы — ты и я". А потом она уйдет в монашки.

В сумерках Розенталь поставил на стол подсвечник, достал из шкафа две свечи. Он их давно берег. Каждая из них была завернута в синюю бумагу. Он зажег обе свечи. Он раскрыл ящик, который никогда до этого не открывал, вынул пачки старых писем, фотографий и, сидя за столом, надев очки, перечитывал письма, писанные на голубой и розовой бумаге, выцветшей от долгого времени, внимательно рассматривал фотографии. Старуха Вайсман тихо подошла к нему.

— Что будет с моими детьми? — сказала она.

Она не умела писать. За всю свою жизнь не прочла она ни единой книги, она была невежественной старухой, но в ней взамен книжной мудрости развилась наблюдательность и житейский, во многое про-

никающий разум.

— На сколько вам хватит этих свечей? — спросила она.

— Я думаю, на две ночи, — сказал учитель.

— Сегодня и завтра?

— Да, — ответил он, — на завтрашнюю тоже.

— А послезавтра будет темно.

— Я думаю, что послезавтра будет темно.

Она мало кому верила. Но Розенталю можно было верить, и она поверила ему. Страшное горе поднялось в ее сердце. Она долго смотрела на лицо спящей внучки и строго сказала:

— Скажите, в чем виновато дитя?

Но Розенталь не слышал ее, он читал старые письма.

В эту ночь он перебрал огромный ворох своих воспоминаний. Ему вспомнились сотни людей, прошедших через его жизнь, его ученики и его учителя, вспомнились враги и друзья, вспомнились книги, споры времен студенчества, неудачная, жестокая любовь, пережитая шестьдесят лет тому назад и положившая холодную тень на всю его жизнь, вспомнились годы бродяжничества и годы труда, вспомнилось, сколько было душевных шатаний — от страстной, исступленной религиозности к ясному, холодному атеизму, вспомнились горячие, фанатические, непримиримые споры. Все это отшумело, осталось позади. Конечно, он прожил неудачную жизнь. Он много думал, но он мало сделал. Пятьдесят лет он был школьным учителем в маленьком, скучном городке. Когда-то он учил детей в еврейской профессиональной школе, потом, после революции, он преподавал алгебру и геометрию в десятилетке. Ему надо было жить в столице, писать книги, печататься в газетах, спорить со всем миром.

Но в эту ночь он не жалел, что жизнь не удалась ему. В эту ночь впервые ему были безразличны давно ушедшие из жизни люди, страстно ему хотелось одного лишь — чуда, которого он не мог понять,

любви. Он не знал ее. В раннем детстве воспитывался после смерти матери в семье дядьки, в юности познал горечь женской измены. Всю жизнь свою он прожил в мире благородных мыслей и разумных поступков.

Ему хотелось, чтобы к нему подошел кто-нибудь и сказал: "Закройте ноги платком, ведь с пола дует, у вас ревматизм". Ему хотелось, чтобы ему сказали: "Зачем вы носили сегодня воду из колодца, ведь у вас склероз". Он ждал, что одна из лежащих на полу женщин подойдет к нему и скажет: "Ложитесь спать, вредно так поздно ночью сидеть за столом". Ведь никогда никто не подходил к его постели и не поправил одеяла, не говорил: "Вот так будет теплее, вот и мое одеяло". Он знал это, ему предстояло умереть в ту пору, когда законы зла, грубой силы, во имя которой творились невиданные преступления, правили жизнью, определяли поступки не только победителей, но людей, попавших под их власть. Безразличие и равнодушие — великие враги жизни. В эти страшные дни судила ему судьба умереть.

Утром было объявлено, что евреям, живущим в городе, нужно явиться на следующий день в шесть часов утра на плац возле паровой мельницы. Всех их отправят в западные районы оккупированной Украины: там имперские власти устраивают специальное гетто. Вещей приказано было взять ровно пятнадцать килограммов. Пищу брать не полагалось, так как во всем пути следования военное командование обеспечивало сухим пайком и кипятком.

IV

Весь день к учителю ходили соседи советоваться, спрашивать его, что он думает об этом приказе. Пришел старик-сапожник Борух, остряк и сквернослов, великий мастер модельной обуви, пришел печник Мендель, молчальник и философ, пришел жестянщик Лейба, отец девяти детей, пришел широ-

копелчий седуусый рабочий-молотобоец Хаим Кулиш. Все они слышали о том, что немцы во многих городах уже объявляли об этих отправках, но нигде никогда никто не видел ни одного эшелона евреев, не встречал колонн на дальних дорогах, не получал известий о жизни в этих гетто. Все они слышали о том, что колонны евреев идут из городов не к железнодорожным станциям, не по широким шоссе-ным дорогам, а что ведут евреев в те места, где под городом яры и овраги, болота и старые каменоломни. Все они слышали, что через несколько дней после ухода евреев, немецкие солдаты выменивали на базаре мед, сметану, яйца на женские кофты, детские джемперы, туфли, что жители, приходя домой с базара, тихо передавали друг другу: "Немец менял шерстяной джемпер, который надела соседка Соня в то утро, когда их выводили из города", "Немец менял сандалии, которые носил мальчик, эвакуированный из Риги", "Немец хотел получить три кило меда за костюм нашего инженера Кугеля". Они знали, они догадывались, что ждет их. Но в душе они не верили этому, слишком страшным казалось убийство народа. Убить народ. Никто не мог душой поверить этому.

И старый Борух сказал:

— Разве можно убить человека, который делает такие туфли? Их не стыдно повезти в Париж на выставку.

— Можно, можно, — сказал печник Мендель.

— Ну, хорошо, — сказал жестяник Лейба, — скажем, им не нужны мои чайники, кастрюли, самоварные трубы. Но не убьют же они из-за этого девять человек моих детей.

И старый учитель Розенталь молчал, слушал их и думал: хорошо поступил он, не приняв яда. Всю свою жизнь прожил он с этими людьми, с ними должен прожить он свой горький последний час.

— Надо бы податься в лес, но некуда податься, — сказал молотобоец Кулиш. — Полицейские ходят за

нами следом, с утра уже три раза приходил уполномоченный по кварталу. Я послал мальчика к тестю, и хозяин дома шел за ним следом. Хозяин хороший человек — он мне прямо сказал: "Меня предупредили в полиции, если даже один мальчик не придет на плац, то ты ответишь головой, домовладелец".

— Ну что ж, — сказал Мендель-печник, — это судьба. Соседка сказала моему сыну: "Яшка, ты совсем не похож на еврея, беги в деревню". И мой Яшка сказал ей: "Я хочу быть похожим на еврея; куда поведут моего отца, туда пойду и я".

— Одно я могу сказать, — пробормотал молотобоец, — если придется, я не умру, как баран.

— Вы молодец, Кулиш, — проговорил старый учитель, — вы молодец, вы сказали настоящее слово.

Вечером майор Вернер принимал представителя гестапо Беккера.

— Лишь бы провести организованно завтрашнюю операцию — и мы бы вздохнули, — сказал Беккер. — Я замучился с этими евреями. Каждый день эксцессы: пятеро сбежали — есть сведения, что к партизанам; семья покончила самоубийством; трое задержаны за хождение без повязок; на базаре опознана еврейская женщина, она покупала яйца, несмотря на категорический запрет появляться на базаре; двое арестованы на Берлинерштрассе, хотя прекрасно знали, что по центральной улице им запрещено ходить; восемь человек разгуливали по городу после четырех часов дня; две девушки пытались скрыться в лес во время марша на работу и были застрелены. Все это мелочи. Я понимаю, что на фронте нашим войскам приходится иметь дело с более серьезными трудностями, но нервы есть нервы. Ведь это события одного дня, а каждый день одно и то же.

— Каков же порядок операции? — спросил Вернер.

Беккер протер замшей пенсне.

— Порядок разработан не нами. Конечно, в Польше мы имели более широкие возможности применять энергетические средства. Да без них, по существу,

невозможно обходиться, ведь речь идет о статистических цифрах с солидным количеством нулей. Здесь, конечно, нам приходится действовать в полевых условиях. Сказывается близость фронта. Последняя инструкция позволяет отклоняться от параграфов и применяться к местным условиям.

— Сколько же вам нужно солдат? — спросил Вернер.

Во время этого разговора Беккер держал себя необычайно солидно, куда солидней, чем в обычное время. И сам комендант Вернер чувствовал внутреннюю робость, разговаривая с ним.

— Мы строим дело таким образом, — сказал Беккер. — Две команды — расстреливающая и охраняющая. Расстреливающая — человек пятнадцать-двадцать, обязательно добровольцы. Охраняющая должна быть сравнительно невелика, из расчета один солдат на пятнадцать евреев.

— Почему так? — спросил комендант.

— Опыт показывает: в тот момент, когда колонна видит, что маршрут ее проходит мимо железной дороги и шоссе, начинается паника, истерики, многие пытаются бежать. Кроме того, в последнее время запрещено применять пулеметы — очень невелик процент смертельных попаданий, — предписывается стрелять личным оружием. Это сильно замедляет работу. Еще надо добавить, ведь рекомендуется расстреливающую команду собирать из минимального количества людей — на тысячу евреев команду в двадцать человек, не больше. Пока идет работа, немало дела и у охраняющей команды. Вы сами понимаете, что среди евреев довольно большой процент мужчин.

— Сколько же времени это займет? — спросил Вернер.

— Тысяча человек при опытном организаторе — не более двух с половиной часов. Самое главное — это суметь распределить функции, разбивку и подготовку группы, своевременно подвести ее, а сама операция

непродолжительна.

— Сколько же вам, однако, нужно солдат?

— Не меньше ста, — решительно сказал Беккер.

Он посмотрел в окно и добавил:

— Значение имеет и погода. Запрашивал метеоролога, назавтра в первой половине предполагается тихий солнечный день, к вечеру возможен дождь, но это не имеет для нас значения.

— Следовательно... — нерешительно произнес Вернер.

— Порядок таков. Вы выделяете офицера, конечно, члена нацистской партии. Расстреливающую команду он составляет так: "Ребята, мне нужны несколько человек с хорошими нервами". Это надо провести сегодня вечером в казарме. Записать надо по крайней мере тридцать, так как процентов десять, как показывает опыт, всегда отпадает. После этого с каждым индивидуально проводится беседа: боишься ли ты крови, способен ли ты выдержать большое нервное напряжение. Больше никаких объяснений с вечера не следует делать. Одновременно по списку составляется команда охранения, унтер-офицеры инструктируются с вечера. Производится проверка оружия. Команда выстраивается в касках к пяти часам утра перед канцелярией. Офицер подробно знакомит с задачей и обязательно еще раз опрашивает добровольцев. После этого каждому из них выдается триста патронов. К шести они приходят на плац, где назначен сбор евреев. Порядок следования: расстреливающая команда идет впереди колонны в тридцати метрах. За колонной следуют две повозки, так как всегда есть некоторый процент старух, беременных и истеричных женщин, теряющих в дороге сознание. — Он говорил медленно, чтобы майор не упустил некоторых деталей.

— Ну вот, собственно, и все; дальнейшее инструктирование на месте работы берут на себя мои сотрудники.

Майор Вернер посмотрел на Беккера и вдруг спросил:

— Ну, а как же дети?

Беккер недовольно покашлял. Вопрос выходит за рамки делового инструктирования.

— Видите ли, — сказал он строго и серьезно, прямо глядя в глаза коменданту, — хотя рекомендуется отделять их от матерей и работать с ними отдельно, я предпочитаю этого не делать. Ведь вы понимаете, как трудно оторвать ребенка от матери в такую печальную минуту.

Когда Беккер простился и ушел, комендант вызвал адъютанта, передал ему подробно инструкцию и сказал вполголоса:

— Я все же доволен, что этот старый доктор покончил с собой заранее: у меня были бы угрызения совести в отношении него; как-никак он ведь мне многим помог, не знаю, дожил ли бы я без его помощи до приезда нашего врача... А последние дни я себя отлично чувствую — и сон гораздо лучше, и желудок, и уже два человека мне говорили, что у меня лучше цвет лица. Возможно, что это связано с этими каждодневными прогулками по саду. Да и воздух в этом городке превосходный, говорят, тут до войны были санатории для легочных и сердечных больных.

[И небо было синим, и солнце светило, и птицы пели.]

* * *

Когда колонна евреев миновала железную дорогу и, свернув с шоссе, направилась к оврагу, молотобоец Хаим Кулиш набрал воздуха в грудь и громко, перекрывая гул сотен голосов, закричал по-еврейски:

— Ой, люди, я отжил!

Он ударил кулаком по виску шедшего рядом солдата, свалил его, вырвал у него из рук автомат и, не имея времени понять чужое, незнакомое оружие, размахнулся тяжелым автоматом наотмашь, как бил

когда-то молотом, ударил по лицу подбежавшего сбоку унтер-офицера. В начавшейся после этого сутолоке маленькая Катя Вайсман потеряла мать и бабушку и ухватила за полу пиджака старика Розенталя. Он с трудом поднял ее на руки, приблизив губы к ее уху, сказал:

— Не плачь, Катя, не плачь.

Держась рукой за его шею, она сказала:

— Я не плачу, учитель.

Ему было тяжело держать ее, голова его кружилась, в ушах шумело, ноги дрожали от непривычно долгого пути, от мучительного напряжения последних часов.

Толпа пятилась от оврага, упиралась, многие падали на землю, ползли. Розенталь вскоре оказался в первых рядах.

Пятнадцать евреев подвели к оврагу. Некоторых из них Розенталь знал. Молчаливый печник Мендель, зубной техник Меерович, старый добрый плут электромонтер Апельфельд. Его сын преподавал в Киевской консерватории и когда-то, мальчишкой, брал уроки математики у Розенталя. Тяжело дыша, старик держал на руках девочку. Мысль о ней отвлекала его.

”Как утешить ее, чем обмануть?” — думал старик, и бесконечно горестное чувство охватило его. Вот и в эту последнюю минуту никто не поддержит его, не скажет ему слова, которого хотел он и жаждал услышать всю жизнь, больше всей мудрости книг о великих мыслях и трудах человека.

Девочка повернулась к нему. Лицо ее было спокойно; то было бледное лицо взрослого человека, полное снисходительного сострадания. И во внезапно пришедшей тишине он услышал ее голос.

— Учитель, — сказала она, — не смотри в ту сторону, тебе будет страшно. — И она, как мать, закрыла ему глаза ладонями.

Начальник гестапо ошибся. Ему не пришлось вздохнуть свободно после расстрела евреев. Вечером ему доложили, что вблизи города появился большой вооруженный отряд. Во главе отряда стоял главный инженер сахарного завода Шевченко. Сто сорок рабочих завода, не успевшие выехать с эшеленом, ушли с инженером в партизаны. Этой ночью произошел взрыв на паровой мельнице, работавшей для немецкого интендантства. За станцией партизаны подожгли огромные запасы сена, собранные фуражирами венгерской кавалерийской дивизии. Всю ночь горожане не спали — ветер дул в сторону города, пожар мог переброситься на дома и сараи. Кирпичное тяжелое пламя колыхалось, ползло, черный дым застилал звезды и луну, и теплое безоблачное летнее небо было полно грозы и пламени.

Люди, стоя во дворах, молча наблюдали, как расползался огромный пожар. Ветер донес четкую пулеметную очередь, несколько ударов ручных гранат.

Яшка Михайлюк в этот вечер прибежал домой без фуражки, он не принес с собой ни сала, ни самогону. Проходя мимо женщин, молча стоявших во дворе, Яшка сказал Даше:

— Ну что, прав я? Просторно тебе жить теперь — одна хозяйка в комнате?

— Просторно, — сказала Даша, — просторно! В одну могилу уложили и Виктора моего, и девочку шестилетнюю, и учителя-старика. Всех их я своими слезами оплакала, — и вдруг закричала: — Уйди, не смотри на меня погаными глазами, я тебя тупым ножом зарежу, секачом зарублю!

Яшка побежал в комнату, сидел там тихо. А когда мать его хотела пойти записать ставни, он сказал ей:

— Ну их, не отпирайте дверь, они там все, как бешеные, еще кипятком вам глаза выжгут.

— Яшенька, — сказала она, — ты бы лучше опять

на чердак пошел, там и кровать твоя стоит, а я тебя на ключ закрою.

Словно тени, мелькали в свете пожара солдаты. Их подняли по тревоге, вызывали в комендатуру. Старуха Варвара Андреевна стояла среди двора, седые растрепавшиеся волосы ее в свете пожара казались розовыми.

— Что? — кричала она. — Справились, запугали? Во как полыхает! Не боюсь я фрицев! Вы против стариков и детей! Дашка, придет еще день, мы их всех, проклятых, в огне жечь будем.

А небо все багровело, накалялось, и людям, стоявшим во дворах, казалось, что в темном дымном пламени горит все недоброе, подлое, нечистое, чем заражали немцы человеческие души.

ТРЕБЛИНСКИЙ АД

I

На восток от Варшавы, вдоль Западного Буга, тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Места эти пустынные и унылые, деревни тут редки. И пешеход, и проезжий избегают песчаных узких проселков, где нога увязает, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок.

Здесь, на седлецкой железнодорожной ветке, расположена маленькая захолустная станция Треблинка, в шестидесяти с лишним километрах от Варшавы, недалеко от станции Малкинья, где пересекаются железные дороги, идущие из Варшавы, Белостока, Седлеца, Ломжи.

Должно быть, многим из тех, кого привезли в 1942 году в Треблинку, приходилось в мирное время проезжать здесь, рассеянным взором следить за скучным пейзажем — сосны, песок, песок, и снова сосны, вереск, сухой кустарник, унылые станционные постройки, пересечения железнодорожных путей... И может быть, скучающий взор пассажира мельком замечал идущую от станции однопутную ветку, уходящую среди плотно обступивших ее сосен в лес. Эта ветка ведет к карьеру, где добывался белый песок для промышленного и городского строительства.

Карьер отделен от станции расстоянием в четыре километра, он находится на пустыре, окруженном со всех сторон сосновым лесом. Почва здесь скупа и неплодородна, и крестьяне не обрабатывают ее.

Пустырь так и остался пустырем. Земля кое-где покрыта мхом, кое-где высятся худые сосенки. Изредка пролетит галка или пестрый, хохлатый угод. Этот убогий пустырь был выбран и одобрен германским рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером для постройки всемирной плахи; такой не знал род человеческий от времен первобытного варварства до наших жестоких дней. Да, вероятно, и вселенная не знала такой плахи. Здесь была устроена главная плаха СС, подобная Освенциму, превосходящая Собибор, Майданек, Бельжице.

В Треблинке было два лагеря: трудовой лагерь № 1, где работали заключенные разных национальностей, главным образом поляки, и еврейский лагерь, лагерь № 2.

Лагерь № 1 — трудовой, или штрафной — находился непосредственно возле песчаного карьера, неподалеку от лесной опушки. Это был обычный лагерь, каких гестаповцы построили сотни и тысячи на оккупированных восточных землях. Он возник в 1941 году. В нем, как в некоем единстве, существовали черты немецкого характера, искаженные в страшном зеркале гитлеровского режима. Так в бреду горячечного уродливо и искаженно отражаются мысли и чувства, пережитые больным до своей болезни. Так сумасшедший, действующий в состоянии умопомрачения, в своих поступках искажает логику поступков и замыслов нормального человека. Так преступник творит свои дела, соединяя в ударе молотом по переносице жертвы умелые навыки: глазомер и хватку рабочего-молотобойца — с хладнокровием нечеловека.

Бережливость, аккуратность, расчетливость, педантичная чистота — все это неплохие черты, присущие многим немцам. Приложенные к сельскому хозяйству, к промышленности, они дают свои плоды. Гитлеризм приложил эти черты к преступлению против человечества, и рейхс СС действовал в польском трудовом лагере так, словно речь шла о разведении цветной капусты или картофеля.

Площадь лагеря нарезана ровными прямоугольниками, бараки выстроились под линейчку, дорожки обсажены березками, посыпаны песочком. Были устроены бетонированные бассейны для домашней водоплавающей птицы, бассейны для стирки белья с удобными ступенями, службы для немецкого персонала — образцовая пекарня, парикмахерская, гараж, бензоколонка со стеклянным шаром, склады. Примерно по такому же принципу, с садиками, питьевыми колонками, бетонированными дорогами, был устроен и люблинский лагерь на Майданеке, по такому же принципу устраивались в Восточной Польше десятки других трудовых лагерей, где гестапо и СС полагали осесть всерьез и надолго. В устройстве этих лагерей отразились черты немецкой аккуратности, мелочной расчетливости, педантичной тяги к порядку, немецкая любовь к расписанию, к схеме, разработанной до малейших мелочей и деталей.

Люди поступали в трудовой лагерь на срок, иногда совсем небольшой: 4—5—6 месяцев. В него пригоняли поляков, нарушавших законы генерал-губернаторства, причем нарушения были, как правило, незначительными, ибо за значительные нарушения полагался не лагерь, полагалась немедленная смерть. Донос, оговор, случайное слово, оброненное на улице, невыполнение поставок, отказ дать немцу подводу либо лошадь, дерзость девушки, отклонившей любовные предложения эсэсовца, даже не саботаж в работе на фабрике, а одно лишь подозрение в возможности саботажа — все это привело сотни и тысячи поляков — рабочих, крестьян, интеллигентов, мужчин и девушек, стариков и подростков, матерей семейств — в штрафной лагерь. Всего через лагерь прошло около пятидесяти тысяч человек. Евреи попадали в лагерь лишь в том случае, если они были выдающимися, знаменитыми мастерами — пекарями, сапожниками, краснодеревщиками, каменщиками, портными. Здесь имелись всевозможные мастерские, и среди них солидная мастерская мебели, снабжавшая креслами, столами,

стульями штабы германской армии.

Лагерь №1 существовал с осени 1941 года по 23 июля 1944 года. Он был ликвидирован полностью, когда заключенные слышали уже глухой гул советской артиллерии...

23 июля ранним утром вахманы и эсесовцы, распив для бодрости шнапса, приступили к ликвидации лагеря. К вечеру были убиты и закопаны в землю все заключенные. Удалось спастись варшавскому столяру Максу Левиту, раненным пролежал он под трупами своих товарищей до темноты и уполз в лес. Он рассказал, как, лежа в яме, слушал пение тридцати мальчиков, перед расстрелом затянувших песню "Широка страна моя родная", слышал, как один из мальчиков крикнул: "Сталин отомстит!", слышал, как упавший на него в яму после залпа вожак мальчиков, любимец лагеря, Лейб, приподнявшись, попросил: "Пане вахман, не трафил, проше пана еще раз, еще раз".

Сейчас можно подробно рассказать о немецком порядке в этом трудовом лагере — имеется множество показаний десятков свидетелей, поляков и полек, бежавших и выпущенных в свое время из лагеря №1. Мы знаем о работе в песчаном карьере, о том, как не выполнявших норму бросали с обрыва в котлованы, знаем о норме питания: 170—200 граммов хлеба и литр бурды, именуемой супом, знаем о голодных смертях, об опухших, которых на тачках вывозили за проволоку и пристреливали, знаем о диких оргиях, которые устраивали немцы, о том, как они насиловали девушек и тут же пристреливали своих подневольных любовниц, о том, как сбрасывали с шестиметровой вышки людей, как пьяная компания ночью забирала из барака десять—пятнадцать заключенных и начинала неторопливо демонстрировать на них методы умерщвления, стреляя в сердце, затылок, глаза, рот, висок обреченным. Мы знаем имена лагерных эсэсовцев, их характеры, особенности, знаем начальника лагеря, голландского немца Ван-Эйпена, ненасытного убийцу

и ненасытного развратника, любителя хороших лошадей и быстрой верховой езды, знаем массивного молодого Штумпфе, которого охватывали произвольные приступы смеха каждый раз, когда он убивал кого-нибудь из заключенных или когда в его присутствии производилась казнь. Его прозвали "Смеющаяся смерть". Последним слышал его смех Макс Левит 23 июля этого года, когда по команде Штумпфе вахманы расстреливали мальчиков. Левит в это время лежал недостреленным на дне ямы. Знаем одноглазого немца из Одессы — Свидерского, названного "мастером молотка". Это он считался непревзойденным специалистом по "холодному" убийству, и это он в течение нескольких минут убил молотком пятнадцать детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, признанных не пригодными для работы. Знаем худого, похожего на цыгана, эсэсовца Прейфи, с кличкой "Старый", угрюмого и неразговорчивого. Он рассеивал свою меланхолию тем, что, сидя на лагерной помойке, подстерегал заключенных, приходивших тайком есть картофельные очистки, заставлял их открывать рот и затем стрелял им в открытые рты.

Знаем имена убийц-профессионалов Шварца и Ледеке. Это они развлекались стрельбой по возвращавшимся в сумерках с работы заключенным, убивая по двадцать, тридцать, сорок человек ежедневно.

Все эти существа не имели в себе ничего человеческого. Искривленные мозги, сердца и души, слова, поступки, привычки, словно страшная карикатура, напоминали о чертах, мыслях, чувствах, привычках, поступках. И порядок в лагере, и документация убийств, и любовь к чудовищной шутке, напоминавшей чем-то шутки пьяных драчунов, немецких студентов-буршей, и хоровое пение сентиментальных песен среди луж крови, и речи, которые они беспрерывно произносили перед обреченными, и поучения, и благочестивые изречения, аккуратно отпечатанные на специальных бумажках, — все это были чудовищные драконы и рептилии, развившиеся из зародыша

традиционного германского шовинизма, спеси, себялюбия, самовлюбленной самоуверенности, педантичной слюнявой заботы о собственном гнездышке и железного холодного равнодушия к судьбе всего живого, из яростной тупой веры, что немецкая наука, музыка, стихи, речь, газоны, унитазаы, небо, пиво, дома — выше и прекрасней всей вселенной.

Так жил этот лагерь, подобный уменьшенному Майданеку, и могло показаться, что нет ничего страшней в мире. Но жившие в лагере №1 хорошо знали, что есть нечто ужасней, во сто крат страшней, чем их лагерь. В трех километрах от трудового лагеря немцы в мае 1942 года приступили к строительству еврейского лагеря, лагеря плахи. Строительство шло быстрыми темпами, на нем работало больше тысячи рабочих. В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни, все было приспособлено для смерти. Существование этого лагеря должно было, по замыслу Гиммлера, находиться в глубочайшей тайне, ни один человек не должен был живым уйти из него. И ни одному человеку не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за один километр. Самолетам германской авиации запрещалось летать над этим районом. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана, сопровождавшая эшелоны, не допускалась даже во внешнюю ограду лагеря. При подходе вагонов охрану принимали лагерные эсэсовцы. Эшелон, состоявший обычно из шестидесяти вагонов, расчленился в лесу, перед лагерем, на три части, и паровоз последовательно подавал по двадцать вагонов к лагерьной платформе. Паровоз толкал вагоны сзади и останавливался у проволоки, таким образом, ни машинист, ни кочегар не переступали лагерьной черты. Когда вагоны разгружались, дежурный унтер-офицер войск СС свистком вызывал ожидавшие в двухстах метрах новые двадцать вагонов.

Когда полностью разгружались все шестьдесят вагонов, комендатура лагеря по телефону вызывала со станции новый эшелон, а разгруженный шел дальше по ветке, к карьере, где вагоны грузились песком и уходили на станции Треблинка и Малкиня уже с новым грузом.

Здесь сказалась выгода положения Треблинки: эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех сторон света, с запада и востока, с севера и юга. Эшелоны из польских городов Варшавы, Мендзыжеца, Ченстохова, Седлеца, Радома, из Ломжи, Белостока, Гродно и многих городов Белоруссии, из Германии, Чехословакии, Австрии, Болгарии, из Бессарабии.

Эшелоны шли к Треблинке в течение тринадцати месяцев, в каждом эшелоне было шестьдесят вагонов, и на каждом вагоне мелом были написаны цифры 150—180—200. Эта цифра показывала количество людей, находящихся в вагоне. Железнодорожные служащие и крестьяне тайно вели счет этим эшелонам. Крестьянин деревни Вулька (самый близкий к лагерю населенный пункт), шестидесятидвухлетний Казимир Скаржинский, говорил мне, что иногда бывали дни, когда мимо Вульки проходило по одной лишь седлецкой ветке шесть эшелонов, и почти не было дня в течение этих тринадцати месяцев, чтобы не прошел хотя бы один эшелон. А ведь седлецкая ветка была лишь одной из четырех железных дорог, снабжавших Треблинку. Железнодорожный ремонтный рабочий Люциан Цукова, мобилизованный немцами для работы на ветке, ведущей от Треблинки к лагерю №2, говорит, что за время его работы с 15 июня 1942 года по август 1943 года в лагерь по ветке от станции Треблинка ежедневно подходили от одного до трех железнодорожных составов в день. В каждом составе было по шестьдесят вагонов, а в каждом вагоне — не менее ста пятидесяти человек. Таких показаний мы собрали десятки.

Самый лагерь, с внешним обводом, складами для вещей казненных, платформой и прочими подсобными

помещениями, занимает очень небольшую площадь — семьсот восемьдесят на шестьсот метров. Если на миг усомниться в судьбе привезенных сюда миллионов и если на миг предположить, что немцы не убивали их тотчас по прибытии, то спрашивается, где же они, эти люди, могущие составить население маленького государства или большого столичного европейского города? Тринадцать месяцев, триста девяносто шесть дней, эшелоны уходили, груженные песком или пустые, ни один человек из прибывших в лагерь № 2 не уехал обратно. Пришло время задать грозный вопрос: "Каин, где же они, те, кого ты привез сюда?"

Фашизму не удалось сохранить в тайне свое величайшее преступление. Но вовсе не потому, что тысячи людей невольно были свидетелями этого преступления. Гитлер, уверенный в безнаказанности, принял решение об истреблении миллионов невинных в период наибольшего успеха фашистских войск. Убежденные в своей безнаказанности, фашисты показали, на что они способны. О, если бы Адольф Гитлер победил, он сумел бы скрыть все следы всех преступлений, он бы заставил замолчать всех свидетелей, пусть их были бы десятки тысяч, а не тысячи. Ни один из них не произнес бы ни слова. И невольно еще раз хочется преклониться перед теми, кто осенью 1942 года, при молчании всего ныне столь шумного и победоносного мира, вели бой в Сталинграде на волжском обрыве против немецкой армии, за спиной которой дымились и клочотали реки невинной крови. Красная Армия, вот кто помешал Гиммлеру сохранить тайну Треблинки.

Сегодня свидетели заговорили, возопили камни и земля. И сегодня перед общественной совестью мира, перед глазами человечества мы можем последовательно, шаг за шагом, пройти по кругам треблинского ада, по сравнению с которым Дантов ад безобидная и пустая игра сатаны.

Все, что написано ниже, составлено по рассказам живых свидетелей, по показаниям людей, работавших

в Треблинке с первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 года, когда восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показаниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтвердили и во многом дополнили рассказы свидетелей. Этих людей я видел лично, долго и подробно говорил с ними, их письменные показания лежат передо мной на столе. И все эти многочисленные, из различных источников идущие свидетельства сходятся между собой во всех деталях, начиная от описания повадок комендантской собаки Бари и кончая рассказом о технологии убийства жертв и устройстве конвейерной плахи.

Пойдем же по кругам треблинского ада.

Кто были люди, которых везли в эшелонах в Треблинку? Главным образом, евреи, затем поляки, цыгане. К весне 1942 года почти все еврейское население Польши, Германии, западных районов Белоруссии было согнано в гетто. В этих гетто — варшавском, радомском, ченстоховском, люблинском, белостокском, гродненском и многих десятках других, более мелких, были собраны миллионы еврейского населения — рабочих, ремесленников, врачей, профессоров, архитекторов, инженеров, учителей, работников искусств, людей нетрудовых профессий, все с семьями, женами, дочерьми, сыновьями, матерями и отцами. В одном варшавском гетто находилось около пятисот тысяч человек. По-видимому, это заключение в гетто явилось первой, предварительной частью гитлеровского плана истребления евреев. Лето 1942 года — пора военного успеха фашизма — было признано подходящим временем для проведения второй части плана — физического уничтожения. Известно, что Гиммлер приезжал в это время в Варшаву, отдавал соответствующие распоряжения. День и ночь шла подготовка треблинской плахи. В июле первые эшелоны уже шли из Варшавы и Ченстохова в Треблинку. Людей извещали, что их везут на Украину для работы в сельском хозяйстве.

Разрешалось брать с собой двадцать килограммов багажа и продукты питания. Во многих случаях немцы заставляли свои жертвы покупать железнодорожные билеты до станции "Обер-Майдан". Этим условным названием немцы именовали Треблинку. Дело в том, что слух об ужасном месте вскоре прошел по всей Польше, и слово "Треблинка" перестало фигурировать у эсэсовцев при погрузке людей в эшелоны. Однако обращение при погрузке в эшелоны было таким, что не вызывало уже сомнений в судьбе, ждущей пассажиров. В товарный вагон набивалось не менее ста пятидесяти человек, обычно сто восемьдесят — двести. Весь путь, который длился иногда два-три дня, заключенным не давали воды. Страдания от жажды были так велики, что люди пили собственную мочу. Охрана требовала за глоток воды сто злотых и, получив деньги, обычно воды не давала. Люди ехали, прижавшись друг к другу, иногда даже стоя, и в каждом вагоне, особенно в душные летние дни, умирало к концу путешествия несколько стариков и больных сердечными болезнями. Так как двери до конца путешествия ни разу не раскрывались, то трупы начинали разлагаться, отравляя воздух в вагонах. Едва кто-либо из едущих зажигал в ночное время спичку, охрана открывала стрельбу по стенам вагона. Парикмахер Абрам Кон рассказывает, что в его вагоне было много раненных и пятеро убитых в результате стрельбы охраны по стенкам вагона.

Совершенно иначе прибывали в Треблинку поезда из западноевропейских стран. Здесь люди ничего не слышали о Треблинке и до последней минуты верили, что их везут на работы, да притом еще немцы всячески расписывали удобства и прелесть новой жизни, ждущей переселенцев. Некоторые эшелоны прибывали с людьми, уверенными, что их вывозят за границу, в нейтральные страны: за большие деньги они приобрели у немецких властей визы на выезд и иностранные паспорта.

Однажды прибыл в Треблинку поезд с гражданами Англии, Канады, Америки, Австралии, застрявшими во время войны в Европе и Польше. После длительных хлопот, сопряженных с дачей больших взяток, они добились выезда в нейтральные страны. Все поезда из европейских стран приходили без охраны, с обычной обслуживающей прислужкой, в составе этих поездов были спальные вагоны и вагоны-рестораны. Пассажиры везли с собой объемистые кофры и чемоданы, большие запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных станциях и спрашивали, скоро ли будет Обер-Майдан.

Прибывали изредка эшелоны цыган из Бессарабии и из других районов. Несколько раз прибывали эшелоны молодых поляков — крестьян и рабочих, участвовавших в восстаниях и партизанских отрядах.

Трудно сказать, что страшней: ехать на смерть в ужасных мучениях, зная о ее приближении, либо, в полном неведении гибели, выглядывать из окна мягкого вагона в тот момент, когда со станции Треблинка уже звонят в лагерь и сообщают данные о прибывшем поезде и количестве людей, едущих в нем.

Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, самый железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные двадцать вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись стрелы-указатели: "Посадка на Белосток", "На Барановичи", "Посадка на Волковыск" и т. д. К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагруженных мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили на площадь. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливно огляды-

вая площадь. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами человеческих ног. Обостренный взор людей быстро ловил тревожащие мелочи — на торопливо подметенной, видимо за несколько минут до выхода партии, земле видны были брошенные предметы — узелок с одеждой, раскрытые чемоданы, кисти для бритья, эмалированные кастрюли. Как попали они сюда? И почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь, растет желтая трава и тянется трехметровая проволока? Где же путь на Белосток, на Седлец, Варшаву, Волковыск? И почему так странно усмеваются новые охранники, оглядывая поправляющих галстуки мужчин, аккуратных старушек, мальчиков в матросских курточках, худеньких девушек, умудрившихся сохранить в этом путешествии опрятность одежды, молодых матерей, любовно поправляющих одеяльца на своих младенцах. Все эти вахманы в черных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры походили на погонщиков стада при входе в бойню. Для них вновь прибывшая партия не была живыми людьми, и они невольно улыбались, глядя на проявление стыдливости, любви, страха, заботы о близких, о вещах, их сместило, что матери выговаривали детям, отбежавшим на несколько шагов, и одергивали на них курточки, что мужчины вытирали лбы носовыми платками и закуривали сигареты, что девушки поправляли волосы и испуганно придерживали юбки, когда налетал порыв ветра. Их сместило, что старики старались присесть на чемоданчики, что некоторые держали под мышкой книги, а больные кутали шеи. До двадцати тысяч человек проходило ежедневно через Треблинку. Дни, когда из вокзала выходило шесть-семь тысяч, считались пустыми днями. Четыре, пять раз в день наполнялась площадь людьми. И все эти тысячи, десятки, сотни тысяч людей, спрашивающих испуганных глаз, все эти юные и старые лица, чернокудрые и золотоволосые красавицы, горбатенькие и сутулые, лысые старики, робкие

подростки — все это сливалось в едином потоке, поглощающем и разум, и прекрасную человеческую науку, и девичью любовь, и детское недоумение, и кашель стариков, и сердце человека.

И вновь прибывшие с дрожью ощущали странность этого сдержанного, сытого, насмешливого взгляда, взгляда превосходства живого скота над мертвым человеком.

И снова в эти короткие мгновения вышедшие на площадь ловили мелочи, непонятные и вселяющие тревогу.

Что это там, за этой огромной шестиметровой стеной, плотно закрытой одеялами и начавшими желтеть сосновыми ветвями? Одеяла тоже внушали тревогу: стеганые, разноцветные, шелковые и крытые ситцами, они напоминали те одеяла, что лежали в постельных принадлежностях приехавших. Как попали они сюда? Кто их привез? И где они, владельцы этих одеял? Почему им не нужны больше одеяла? И кто эти люди с голубыми повязками? Вспоминается все передуманное за последнее время, тревоги, слухи, передаваемые шепотом. Нет, нет, не может быть! И человек отгоняет страшную мысль. Тревога на площади продолжается несколько мгновений, может быть, две-три минуты, пока все прибывшие успеют сойти с перрона. Этот выход всегда сопряжен с задержкой: в каждой партии имеются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигающие ноги. Но вот все на площади. Унтер-шарфюрер (младший унтер-офицер войск СС) громко и отдельно предлагает приехавшим оставить вещи на площади и отправиться в "баню", имея при себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакетики с умывальными принадлежностями. У стоящих возникают десятки вопросов: брать ли белье, можно ли развязать узлы, не перепутаются ли вещи, сложенные на площади, не пропадут ли? Но какая-то странная сила заставляет их молча, поспешно шагать, не задавая вопросов, не оглядываясь, к проходу в шестиметровой проволочной

стене, замаскированной ветками. Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трехметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой, клубками разбросанной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапы мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены колючей проволоки. И страшное чувство, чувство обреченности, чувство беспомощности охватывает их — ни бежать, ни повернуть обратно, ни драться: с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулеметов. Звать на помощь? Но ведь кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами, ручными гранатами, пистолетами. Они власть. В их руках танки и авиация, земли, города, небо, железные дороги, закон, газеты, радио. Весь мир молчит, подавленный, поработанный коричневой шайкой захвативших власть бандитов. И только где-то, за много тысяч километров, ревет советская артиллерия на далеком волжском берегу, упрямо возвещая великую волю русского народа к смертной борьбе за свободу, будоража, сзывая на борьбу народы мира.

А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно-голубыми повязками ("группа небесковых") молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемперы, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики. Нужно обладать квалификацией, чтобы в считанные минуты рассортировать все эти тысячи предметов, оценить их — одни отобрать для отправки

в Германию, другие, второстепенные, старые, штопанные — для сожжения. Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу старых штопанных носков пару парижских чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не надо было ошибаться. Сорок эсэсовцев и шестьдесят вахманов работали "на транспорте", так называлась в Треблинке первая, только что описанная нами, стадия: прием эшелона, вывод партии на "вокзал" и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими и оценивающими вещи. Во время этой работы рабочие часто незаметно от охраны совали в рот куски хлеба, сахара, конфеты, найденные в продуктовых пакетах. Это не разрешалось. Разрешалось после окончания работы мыть руки и лицо одеколоном и духами, воды в Треблинке не хватало, и для умывания ею пользовались только немцы и вахманы. И пока люди, все еще живые, готовились к "бане", работа над их вещами подходила к концу — ценные вещи уносились на склад, а письма, фотографии новорожденных, братьев, невест, пожелтевшие извещения о свадьбе, все эти тысячи драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уносились к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приему новой партии обреченных. Не всегда прием партии проходил, как только что описано. В тех случаях, когда заключенные знали, куда их везут, вспыхивали бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как из двух поездов, выломив двери, вырвались люди и, опрокинув охрану, кинулись к лесу. Все до единого в обоих случаях были убиты из автоматов. Мужчины несли с собой четырех детей

в возрасте четырех—шести лет. И дети эти также были убиты. О таких же случаях борьбы с охраной рассказывает крестьянка Марьяна Кобус. Однажды на ее глазах, когда она работала в поле, были убиты шестьдесят человек, прорвавшихся из поезда к лесу.

Но вот партия переходит на новую площадку, уже внутри второй лагерной ограды. На площади огромный барак, вправо еще три барака, два из них отведены под склады одежды, третий под обувь. Дальше, в западной части, расположены бараки эссовцев, бараки вахманов, склады продовольствия, скотный двор, стоят легковые и грузовые автомобили, броневик. Впечатление обычного лагеря, такого же, как лагерь № 1.

В юго-восточном углу лагерного двора огороженное ветвями пространство, впереди него будка с надписью "Лазарет". Всех дряхлых, тяжелобольных отделяют от толпы, ожидающей "бани", и несут на носилках в "лазарет". Из будки навстречу больным выходит "доктор" в белом фартуке с повязкой Красного Креста на левом рукаве. О том, что происходило в "лазарете" мы расскажем ниже.

Вторая фаза обработки прибывшей партии характеризуется подавлением воли людей непрерывными короткими и быстрыми приказами. Эти приказы произносятся тем знаменитым тембром голоса, которым так гордится немецкая армия, тембром, являющимся одним из доказательств принадлежности немцев к расе господ. Буква "р", одновременно картавая и твердая, звучит, как кнут.

"Achtung!"¹ проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день, много месяцев подряд, слова:

"Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево".

¹Внимание!

Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения, слезы, короткие, кратко произнесенные слова, в которые люди вкладывают всю любовь, всю боль, всю нежность, все отчаяние свое... Эсэсовские психиатры смерти знают, что эти чувства нужно мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти знают те простые законы, которые действуют на всех скотобойнях мира, законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от внуков, мужей от жен.

И снова над площадью: "Achtung! Achtung!" Именно в этот момент нужно снова смутить разум людей надеждой, правилами смерти, выдаваемыми за правила жизни. Тот же голос рубит слово за словом:

— Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны.

И тотчас же снова:

— Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, документы, деньги, полотенце и мыло... Повторяю...

Внутри женского барака находится парикмахерская; голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Станный психологический момент: эта смертная стрижка, по свидетельству парикмахеров, более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: "Вот тут неровно, подстригите, пожалуйста!" Обычно после стрижки женщины успокаивались, почти каждая выходила из барака, имея при себе кусочек мыла и сложенное полотенце. Некоторые молодые плакали, жалея свои красивые косы. Для чего стригли женщин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нужны были на

потребу Германии. Это было сырье... Я спрашивал многих людей, что делали немцы с этим ворохом волос, снятых с голов живых покойниц. Все свидетели рассказывают, что огромные груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей и кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели подтверждали, что волосы отправляют в мешках в германские адреса. Как использовались они? На этот вопрос никто не мог ответить. Лишь в письменных показаниях Кона утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство: волосы шли для набивки матрацев, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок.

Мне думается, что это показание нуждается в дополнительном подтверждении, его даст человечеству гросс-адмирал Редер, стоявший в 1942 году во главе германского военного флота.

Мужчины раздевались во дворе. Из первой утренней партии отбиралось полтора-триста человек, обладающих большой физической силой, их использовали для захоронения трупов и убивали обычно на второй день. Раздеваться мужчины должны были очень быстро, но аккуратно, складывая в порядке обувь, носки, белье, пиджаки и брюки. Сортировкой носильных вещей занималась вторая рабочая команда, "Красная", отличавшаяся от работающих "на транспорте" красной нарукавной повязкой. Вещи, признанные достойными быть отправленными в Германию, поступали тут же на склад. С них тщательно спарывались все металлические и матерчатые знаки. Остальные вещи сжигались или закапывались в ямы.

Чувство тревоги росло все время. Обоняние тревожил страшный запах, то и дело перебиваемый запахом хлорной извести. Казалось непонятным огромное количество жирных, назойливых мух. Откуда они здесь, среди сосен и вытоптанной земли? Люди дышали тревожно и шумно, вздрагивая, вглядывались в каждую ничтожную мелочь, могущую объяснить,

подсказать, приподнять завесу тайны над судьбой, ждущей обреченных. И почему там, в южном направлении, так грохочут гигантские экскаваторы?

Начиналась новая процедура. Голых людей подводили к кассе и предлагали сдавать документы и ценности. И вновь страшный гипнотизирующий голос кричал: “Achtung! Achtung! За сокрытие ценностей смерть! Achtung!”

В маленькой, сколоченной из досок будке сидел шарфюрер. Возле него стояли эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли деревянные ящики, в которые бросались ценности, — один для бумажных денег, другой для монет, третий для ручных часов, для колец, для серег и для брошек с драгоценными камнями, для браслетов. А документы летели на землю, уже никому не нужные на свете, документы живых мертвецов, которые через час уже будут затрамбованными лежать в яме. Но золото и ценности подвергались тщательной сортировке, десятки ювелиров определяли чистоту металла, ценность камня, чистоту воды бриллиантов.

И удивительная вещь: скоты использовали все — кожу, бумагу, ткани, все служившее человеку, все нужно и полезно было скотам, лишь высшая драгоценность мира — жизнь человека растаптывалась ими. И какие большие, сильные умы, какие честные души, какие славные детские глаза, какие милые старушечьи лица, какие гордые красотой девичьи головы, над созданием которых природа трудилась великую тьму веков, огромным молчаливым потоком низвергались в бездну небытия. Секунды нужны были для того, чтобы уничтожить то, что мир и природа создавали в огромном и мучительном творчестве жизни.

Здесь, у “кассы”, наступал перелом — здесь кончалась пытка ложью, державшей людей в гипнозе неведения, в лихорадке, бросавшей их на протяжении нескольких минут от надежды к отчаянию, от видений жизни к видениям смерти. Эта пытка ложью являлась одним из атрибутов конвейерной плахи, она помогала

эсэсовцам работать. И когда наступал последний акт ограбления живых мертвецов, немцы резко меняли стиль отношения к своим жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы женщинам, вырывали серьги, раздирая мочки ушей.

На последнем этапе конвейерная плаха требовала для быстрого своего функционирования нового принципа. И поэтому слово "Achtung" сменялось другим, хлопающим, шипящим: "Schneller! Schneller! Schneller!" Скорей, скорей, скорей, бегом, в небытие!

Из жестокой практики последних лет известно, что голый человек теряет сразу силу сопротивления, перестает бороться против судьбы, сразу вместе с одеждой теряет и силу жизненного инстинкта, приемлет судьбу, как рок. Непримиимо жаждущий жить становится пассивным и безразличным. Но для того, чтобы застраховать себя, эсэсовцы дополнительно применяли на последнем этапе работы конвейерной плахи метод чудовищного оглушения, ввергали людей в состояние психического, душевного шока.

Как это делалось?

Внезапным и резким применением бессмысленной, алогичной жестокости. Голые люди, у которых было отнято все, но которые упрямо продолжали оставаться людьми в тысячу крат больше, чем окружавшие их твари в мундирах германской армии, все еще дышали, смотрели, мыслили, их сердца еще бились. Из рук их вышибали куски мыла и полотенца. Их строили рядами по пять человек в ряд.

— Hände hoch! Marsch! Schneller! Schneller!¹

Они вступали на прямую аллею, обсаженную цветами и елками, длиной в сто двадцать метров, шириной в два метра, ведущую к месту казни. По обе стороны этой аллеи была протянута проволока, и плечом к плечу стояли вахманы в черных мундирах и эсэсовцы в серых. Дорога была покрыта белым песком, и те, что шли впереди с поднятыми руками, видели на

¹Руки вверх! Марш! Быстрее! Быстрее!

этом взрыхленном песке свежие отпечатки босых ног: маленьких женских, совсем маленьких — детских, тяжелых старческих ступней. Этот зыбкий след на песке — все, что осталось от тысяч людей, которые недавно прошли по этой дороге, прошли так же, как шли сейчас по ней новые четыре тысячи, как пройдут после этих четырех тысяч, через два часа, еще тысячи, ожидавшие очереди на лесной железнодорожной ветке. Прошли так же, как шли вчера и десять дней назад, как пройдут завтра и через пятьдесят дней, как шли люди все тринадцать месяцев существования тревлинского ада.

Эту аллею немцы называли "дорога без возвращения".

Кривляющееся человекообразное существо, фамилия которого Сухомиль, с ужимками кричало, коверкая нарочно немецкие слова:

— Детки, детки, шнеллер, шнеллер, вода в бане уже остывает! Шнеллер, детки, шнеллер! — и хохотало, приседало, приплясывало. Люди с поднятыми руками шли молча между двумя шеренгами стражи, под ударами прикладов и резиновых палок. Дети, едва поспевая за взрослыми, бежали. В этом последнем скорбном проходе все свидетели отмечают зверство одного человекообразного существа, эсэсовца Цэпфа. Он специализировался по убийству детей. Обладая огромной силой, это существо внезапно выхватывало из толпы ребенка, и либо взмахнув им, как палицей, било его головой оземь, либо раздирало его пополам.

Когда я слышал об этом существе, по-видимому, рожденном от женщины, мне казались невыносимыми и невероятными вещи, рассказанные о нем. Но когда я лично услышал от непосредственных свидетелей повторение этих рассказов, я увидел, что рассказывают они об этом, как об одной из деталей, не выделяющейся и не противоречащей общему строю тревлинского ада. Я поверил в возможность этого существа.

Действия Цэпфа были нужны, они именно способствовали психическому шоку обреченных, они были

выражением алогичной жестокости, подавляющей волю и сознание. Он был полезным, нужным винтиком в огромной машине фашистского государства.

Нам следует ужасаться не тому, что природа рождает таких дегенератов: мало ли какие уродства бывают в органическом мире — и циклопы, и существа о двух головах, и соответствующие им страшные духовные уродства и извращения. Ужасно другое: существа эти, подлежащие изоляции, изучению как феномены психиатрической науки, в некоем государстве существуют как граждане, активные и действующие. Их бредовая идеология, их патологическая психика, их феноменальные преступления являются необходимым элементом фашистского государства. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч таких существ являются столпами германского фашизма, поддержкой, основой гитлеровской Германии. В мундирах, при оружии, при орденах империи эти существа были целые годы полноправными хозяевами жизни народов Европы. Ужасаться нужно не существам этим, а государству, вызвавшему их из щелей, из мрака и подполья и сделавших их нужными, полезными, незаменимыми в Треблинке под Варшавой, на люблинском Майданеке, в Бельжице, в Собиборе, в Освенциме, в Бабьем Яру, в Доманевке и Богдановке под Одессой, в Тростянце под Минском, на Понарах в Литве, в десятках и сотнях тюрем, трудовых, штрафных лагерей, лагерей уничтожения жизни.

Тот или иной тип государства не сваливается на людей с неба, материальные и идейные отношения народов рождают государственный строй. И вот тут-то следует по-настоящему задуматься и по-настоящему ужаснуться...

Путь от "кассы" до места казни занимал несколько минут. Подхлестываемые ударами, оглушенные криками, люди выходили на третью площадь и на мгновенье, пораженные, останавливались.

Перед ними стояло красивое каменное здание, отделанное деревом, построенное, как древний храм.

Пять широких бетонированных ступеней вели к низким, но очень широким, массивным, красиво отделанным дверям. У входа росли цветы, стояли вазоны. Кругом же царил хаос: всюду видны были горы свежевскопанной земли, огромный экскаватор, скрежеща, выбрасывал своими стальными клешнями тонны желтой песчаной почвы, и пыль, поднятая его работой, стояла между землей и солнцем. Грохот колоссальной машины, рывшей с утра до ночи огромные рвы-могилы, смешивался с отчаянным лаем десятков немецких овчарок.

С обеих сторон здания смерти шли узкоколейные линии, по которым люди в широких комбинезонах подкатывали самопрокидывающиеся вагонетки.

Широкие двери здания смерти медленно распахивались, и два подручных Шмидта, шефа комбината, появлялись у входа. Это были садисты и маньяки — один высокий, лет тридцати, с массивными плечами, со смуглым, смеющимся, радостно возбужденным лицом и черными волосами; другой, помоложе, небольшого роста, шатен, с бледно-желтыми щеками, точно после усиленного приема акрихина. Имена и фамилии этих предателей человечества, родины и присяги известны.

Высокий держал в руках метровую массивную газовую трубу и нагайку, второй был вооружен саблей.

В это время эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались в толпу и рвали зубами голые тела обреченных. Эсэсовцы с криками били прикладами, подгоняя замерших, словно в столбняке, женщин.

Внутри самого здания действовали подручные Шмидта, сгоняя людей в распахнутые двери газовых камер.

К этой минуте у здания появлялся один из комендантов Треблинки, Курт Франц, ведя на поводу свою собаку Бари. Хозяин специально натренировал ее — бросаясь на обреченных, вырывать им половые

органы. Курт Франц сделал в лагере хорошую карьеру, начав с младшего унтер-офицера войск СС и дойдя до довольно высокого чина унтер-штурмфюрера. Этот тридцатипятилетний высокий и худой эсэсовец не только обладал организаторским даром, он не только обожал свою службу и не мыслил себя вне Треблинки, где все происходило под его неутомимым наблюдением, — он был до некоторой степени теоретиком и любил объяснять смысл и значение своей работы. Надо бы, чтобы в эти ужасные минуты у здания "газовни" появились гуманнейшие заступники гитлеризма, появились бы, конечно, в качестве зрителей. Они бы смогли обогатить свои человеколюбивые проповеди, книги и статьи новыми аргументами.

Велика сила человечности! Человечность не умирает, пока не умирает человек. И когда приходит короткая, но страшная пора истории, пора торжества скота над человеком, человек, убиваемый скотом, сохраняет до последнего дыхания и силу души своей, и ясность мысли, и жар любви. И торжествующий скот, убивший человека, по-прежнему остается скотом. В этой бессмертности душевной силы людей есть мрачное мученичество, торжество гибнущего человека над живущим скотом. В этом, в самые тяжелые дни 1942 года, была заря победы разума над звериным безумием, добра над злом, света над мраком, силы прогресса над силой реакции. Страшная заря над полем крови и слез, бездной страданий, заря, всходившая в воплях гибнущих матерей и младенцев, в предсмертных хрипах стариков.

Скоты и философия скотов предрекали закат миру, Европе, но та красная кровь не была краской заката, то была кровь гибнущей и побеждающей своей смертью человечности. Люди остались людьми, они не приняли морали и законов фашизма, борясь с ними всеми способами, борясь человеческой смертью своей.

Потрясают до глубины души, лишают сна и покоя рассказы о том, как живые треблинские мертвецы до

последней минуты сохраняли не образ и подобие человека, а душу человеческую! Рассказы о женщинах, пытавшихся спасти своих сыновей и шедших ради этого на великие безнадежные подвиги, о молодых матерях, прятавших, закапывавших своих грудных детей в кучи одеял и прикрывавших их своим телом. Никто не знает и уже никогда не узнает имен этих матерей. Рассказывали о десятилетних девочках, с божеской мудростью утешавших своих рыдающих родителей, о мальчике, кричавшем у входа в газовню: "Русские отомстят, мама, не плачь!" Никто не знает и уж никогда не узнает, как звали этих детей. Рассказывали нам о десятках обреченных людей, вступавших в борьбу — один против огромной своры вооруженных автоматическим оружием и гранатами эсэсовцев — и гибнувших стоя, с грудью, простреленной десятками пуль. Рассказывали нам о молодом мужчине, вонзившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше, привезенном из восставшего варшавского гетто, сумевшем чудом скрыть от немцев гранату, — он ее бросил, уже будучи голым, в толпу палачей. Рассказывают о сражении, длившемся всю ночь между восставшей партией обреченных и отрядами вахманов СС. До утра гремели выстрелы, взрывы гранат, — и когда взошло солнце, вся площадь была покрыта телами мертвых бойцов, и возле каждого лежало его оружие — палица, вырванная из ограды, нож, бритва. Сколько простоит земля, уже никогда никто не узнает имен погибших. Рассказывают о высокой девушке, на "дороге без возвращения" вырвавшей карабин из рук вахмана и дравшейся против десятков стрелявших в нее эсэсовцев. Два скота были убиты в этой борьбе, у третьего раздроблена рука. Он вернулся в Треблинку одноруким. Страшны были издевательства и казнь, которым подвергли девушку. Имени ее не знают, и никто не чтит его.

Но так ли это? Гитлеризм отнял у этих людей дом, жизнь, хотел стереть их имена в памяти мира. Но все они, и матери, прикрывавшие телом своих детей, и

дети, утиравшие слезы на глазах отцов, и те, кто дрались ножами и бросали гранаты, и павшие в ночной бойне, и нагая девушка, как богиня из древнегреческого мифа, сражавшаяся одна против десятков, — все они, эти ушедшие в небытие, сохранили навечно самое лучшее имя, которое не могла втоптать в землю свора гитлеров-гиммлеров, — имя человека. В их эпитафиях история напишет: "Здесь спит человек!"

Жители ближайшей к Треблинке деревни Вулька рассказывают, что иногда крик убиваемых женщин был так ужасен, что вся деревня, теряя голову, бежала в дальний лес, чтобы не слышать этого пронзительного, просверливающего бревна, небо и землю крика. Потом крик внезапно стихал и вновь столь же внезапно рождался, такой же ужасный, пронзительный, сверлящий кости, череп, душу... Так повторялось по три-четыре раза на день.

Я расспрашивал одного из пойманных палачей, Ш., об этих криках. Он объяснил, что женщины кричали в ту минуту, когда спускали собак и всю партию обреченных вгоняли в здание смерти. "Они видели смерть. Кроме того, там было очень тесно, их страшно били вахманы и рвали собаки".

Внезапная тишина наступала, когда закрывались двери камер. Крик женщин возникал вновь, когда к газовне приводили новую партию. Так повторялось два, три, четыре, иногда пять раз на день. Ведь треблинская плаха была не простой плахой. Это была конвейерная плаха, организованная по методу потока, заимствованному из современного крупнопромышленного производства.

И как подлинный промышленный комбинат, Треблинка не возникла сразу в том виде, как мы ее описываем. Она росла постепенно, развивалась, строила новые цеха. Сперва были построены три газовые камеры небольшого размера. В период строительства этих камер прибыло несколько эшелонов, и так как камеры еще не были готовы, все прибывшие были

убиты холодным оружием — топорами, молотками, дубинами. Эсэсовцы не хотели стрельбой расшифровывать перед окрестными жителями работу Треблинки. Первые три бетонированные камеры были небольшого размера, 5х5 метров, то есть площадью в двадцать пять квадратных метров каждая. Высота камеры сто девяносто сантиметров. В каждой камере имелись две двери — в одну впускались живые люди, вторая служила для вытаскивания загазированных трупов. Эта вторая дверь была очень широка, около двух с половиной метров. Камеры были смонтированы на одном фундаменте.

Эти три камеры не удовлетворяли заданной Берлином мощности конвейерной плахи.

Тотчас же приступили к строительству описанного выше здания. Руководители Треблинки гордились тем, что оставляют далеко позади по мощности, пропускной способности и производственной квадратуре камер многие гестаповские фабрики смерти: и Майданек, и Собибор, и Бельжице.

Семьсот заключенных в течение пяти недель работали над зданием нового комбината смерти. В разгар работы приехал из Германии мастер со своей бригадой и приступил к монтажу. Новые камеры, общим количеством десять, располагались симметрично по обе стороны широкого бетонированного коридора. В каждой камере, как и в трех предыдущих, имелись две двери — первая со стороны коридора, в нее вводились живые люди; вторая, расположенная параллельно, проделанная в противоположной стене, служила для вытаскивания загазированных трупов. Эти двери выходили на специальную платформу, их было две, симметрично расположенных по обе стороны здания. К платформе подходили линии узкоколейки. Таким образом, трупы вываливались на платформы и оттуда сразу же грузились в вагонетки, отвозились к огромным рвам-могилам, их день и ночь копали колоссы-экскаваторы. Пол в камерах был устроен с большим наклоном от коридора к платформам, и это

значительно убыстряло работу по разгрузке камер. В старых камерах трупы разгружались кустарно: их носили на носилках и волокли на ремнях. Площадь каждой камеры была 7 х 8 метров, то есть пятьдесят шесть квадратных метров. Общая площадь новых десяти камер составляла пятьсот шестьдесят квадратных метров, а считая и площадь трех старых камер, которые продолжали работать при поступлении небольших партий, — всего Треблинка располагала смертной промышленной площадью в шестьсот тридцать метров. В одну камеру загружалось одновременно четыреста — шестьсот человек. Таким образом, при полной загрузке десяти камер в один прием уничтожалось в среднем четыре — шесть тысяч человек. При самой средней нагрузке камеры треблинского ада загружались, по крайней мере, два-три раза в день (были дни, когда они загружались по шесть раз).

Умерщвление длилось в камере от десяти до двадцати пяти минут. В первое время, когда были пущены новые камеры и палачи не могли сразу наладить газовый режим и производили опыты по дозировкам различных отравляющих веществ, жертвы подвергались страшным мучениям, по два-три часа сохраняя жизнь. В самые первые дни скверно работали нагнетательные и отсасывающие устройства, и тогда муки несчастных затягивались на восемь и десять часов. Для умерщвления применялись различные способы: нагнетание отработанных газов от мотора тяжелого танка, служившего двигателем треблинской станции. Этот отработанный газ содержит в себе два-три процента окиси углерода, обладающей свойством связывать гемоглобин крови в стойкое соединение, так называемый карбоксигемоглобин. Этот карбоксигемоглобин во много раз устойчивей соединения (оксигемоглобин), образуемого при соприкосновении в альвеолах легких крови с кислородом воздуха. В течение пятнадцати минут гемоглобин человеческой крови плотно связывается с окисью

углерода, и человек дышит "впустую" — кислород перестает поступать в его организм, появляются признаки кислородного голодания: сердце работает с бешеной силой, гонит кровь в легкие, но отравленная окисью углерода кровь бессильна захватить кислород из воздуха. Дыхание становится хриплым, появляются явления мучительного удушья, сознание меркнет, и человек погибает так же, как гибнет удушенный.

Вторым принятым в Треблинке способом, получившим наибольшее распространение, было откачивание с помощью специальных насосов воздуха из камер. Смерть при этом наступала примерно от таких же причин, как и при отравлении окисью углерода: у человека отнимали кислород. И, наконец, третий способ, менее принятый, но все же применявшийся, — убийство паром; и этот способ основывался на лишении организма кислорода: пар вытеснял из камер воздух. Применялись различные отравляющие вещества, но это было экспериментирование; промышленными способами массового убийства были те два, о которых сказано выше.

Так весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно все, чем пользовался он от века по святому закону жизни.

Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безымянный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких, затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребенка. Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костер: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком — у него отняты небо, звезды, ветер, солнце.

И вот наступает последний акт человеческой трагедии — человек переступил последний круг треблинского ада.

Захлопнулись двери бетонной камеры. Усовершенствованные комбинированные затворы, массивная

задвижка, зажим и крюки, держат эту дверь. Ее не выломать.

Найдем ли мы в себе смелу задуматься над тем, что чувствовали, что испытывали в последние минуты люди, находившиеся в этих камерах? Известно, что они молчали... В страшной тесноте, от которой ломались кости и сдавленная грудная клетка не могла дышать, стояли они один к одному, облитые последним, липким смертельным потом, стояли, как один человек. Кто-то, может быть, мудрый старик, с усилием произносит: "Утешьтесь, это конец". Кто-то кричит страшное слово проклятия... И неужели не сбудется это святое проклятие... Мать со сверхчеловеческим усилием пытается расширить место для своего дитяти — пусть его смертное дыхание будет хоть на одну миллионную облегчено последней материнской заботой. Девушка костенеющим языком спрашивает: "Но почему меня душат, почему я не могу любить и иметь детей?" А голова кружится, удушье сжимает горло. Какие картины мелькают в стеклянных умирающих глазах? Детства, счастливых мирных дней, последнего тяжкого путешествия? Перед кем-то мелькнуло насмешливое лицо эсэсовца на первой площади перед вокзалом. "Так вот почему он смеялся". Сознание меркнет, и приходит минута страшной, последней муки... Нет, нельзя представить себе того, что происходило в камере... Мертвые тела стоят, постепенно холодея. Долше всех, показывают свидетели, сохраняли дыхание дети. Через двадцать — двадцать пять минут подручные Шмидта заглядывали в глазки. Наступала пора открывать двери камер, ведущие на платформы. Заключенные, в комбинезонах, под шумное понукание эсэсовцев, приступали к разгрузке. Так как пол был покатым в сторону платформ, многие тела вываливались сами. Люди, работавшие на разгрузке камер, рассказывали мне, что лица покойников были очень желты и что примерно у семидесяти процентов убитых из носа и изо рта вытекало немного крови. Физиологи могут

объяснить это. Эсэсовцы, переговариваясь, осматривали трупы. Если кто-нибудь оказывался жив, стонал или шевелился, его достреливали из пистолета. Затем команды, вооруженные зубоврачебными щипцами вырывали у лежавших в ожидании погрузки убитых платиновые и золотые зубы. Зубы эти сортировались согласно их ценности, упаковывались в ящики и отправлялись в Германию. Если бы хоть чем-нибудь для эсэсовцев было выгодно или удобно вырывать зубы у живых людей, они бы, конечно, не задумываясь, делали бы это так же, как они снимали волосы с живых женщин. Но, по-видимому, вырывать зубы у мертвых было удобнее и легче.

Трупы грузились на вагонетки и подвозились к огромным рвам-могилам. Там их укладывали рядами, плотно, один к одному. Ров оставался незасыпанным, ждал. А в это время, когда лишь приступали к разгрузке газовой, шарфюрер, работавший на транспорте, получал по телефону короткий приказ. Шарфюрер подавал свисток, сигнал машинисту, и новые двадцать вагонов медленно подкатывали к платформе, на которой стоял макет вокзала станции Обер-Майдан. Новые три-четыре тысячи человек, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на вокзальную площадь.

Матери несли детей на руках, дети постарше жались к родителям, внимательно оглядывались. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног. И почему сразу же за вокзальной платформой кончается железнодорожный путь, растет желтая трава и тянется трехметровая проволока...

Прием новой партии происходил по строгому расчету, таким образом, чтобы обреченные вступали на "дорогу без возвращения" как раз в тот момент, когда последние трупы из газовен вывозились ко рвам. Ров стоял незасыпанным, ждал.

И вот спустя некоторое время снова раздавался свисток шарфюрера, и снова двадцать вагонов выез-

жали из леса и медленно подкатывали к платформе. Новые тысячи людей, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на площадь, оглядывались. Что-то тревожное, страшное было в этой площади, вытопанной миллионами ног...

А комендант лагеря, сидя в диспетчерской, обложенный бумагами и схемами, звонил по телефону на станцию Треблинка, и с запасных путей, скрежеща, громыхая, двигался шестидесятивagonный эшелон, окруженный эсэсовской охраной, вооруженной ручными пулеметами и автоматами, и уползал по узкой, меж двумя рядами сосен идущей колее.

Огромные экскаваторы работали, урчали, рыли день и ночь новые, огромные, на сотни метров длины и темной многометровой глубины, рвы. И рвы стояли незасыпанные. Ждали. Недолго ждали.

II

В конце зимы 1943 года в Треблинку приехал Гиммлер, сопровождаемый группой крупных чиновников гестапо. Группа Гиммлера прилетела в район лагеря на самолете, а затем на двух легковых машинах въехала в главные ворота. Большинство приехавших носило военную форму, но некоторые, возможно, эксперты, были гражданскими лицами — в шубах и шляпах. Гиммлер лично осмотрел лагерь, и один из видевших его рассказывал нам, как министр смерти подошел к огромному рву и долго молча смотрел. Сопровождавшие его лица стояли в некотором отдалении и ожидали, пока Генрих Гиммлер созерцал колоссальную могилу, уже наполовину заполненную трупами. Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне Гиммлера. В тот же день самолет рейхсфюрера СС улетел. Покидая Треблинку, Гиммлер отдал приказ командованию лагеря, смутивший всех — и гауптштурмфюрера барона фон Пфейна, и заместителя его Короля, и капитана Франца:

немедленно приступить к сожжению захороненных трупов и сжечь их все до единого, пепел и шлак вывозить из лагеря, рассеивать по полям и дорогам. В земле находились уже сотни тысяч трупов, задача эта казалась не необычайно сложной и тяжелой. Кроме того, было приказано вновь загазированных не закапывать, а тут же сжигать. Чем был вызван инспекторский приезд Гиммлера и личный категорический приказ, которому придавалось большое значение? Причина была лишь одна — сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате, если сам Гиммлер прилетел самолетом в Треблинку и приказал срочно заматывать следы преступлений, совершаемых в шестидесяти километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесенный немцам на Волге.

Вначале дело с сожжением трупов совершенно не ладилось — трупы не хотели гореть; правда, было замечено, что женские тела горят лучше... Тратилось большое количество бензина и масла для разжигания трупов, но это стоило дорого, и эффект получался ничтожный. Казалось, дело это находится в тупике. Но нашелся выход. Из Германии приехал эсэсовец, плотный мужчина под пятьдесят лет, специалист и мастер. Каких только мастеров ни родил гитлеровский режим — и по убийству малых детей, и по удавливанию, и по строительству газовых камер, и по научно организованному разрушению в течение дня больших городов. Нашелся и специалист по откапыванию и сожжению миллионов человеческих трупов.

Под его руководством приступили к постройке печей. Это были особого типа печи-костры, ибо ни люблинский, ни любой крупнейший крематорий мира не был бы в состоянии сжечь за короткий срок такое гигантское количество тел. Экскаватор выкопал ров — котлован длиной в двести пятьдесят — триста метров, шириной в двадцать — двадцать пять метров, глубиной

в шесть метров. На дне рва по всему его протяжению были установлены в три ряда на равных расстояниях друг от друга железобетонные столбы, высотой каждый над уровнем дна в сто — сто двадцать сантиметров. Столбы эти служили основанием для стальных балок, проложенных вдоль всего рва. На эти балки поперек были положены рельсы, на расстоянии пяти — семи сантиметров одна за другой. Таким образом были устроены гигантские колосники циклопической печи. Была проложена новая узкоколейная дорога, ведущая от рвов-могил ко рву-печи. Вскоре построили еще вторую, а затем и третью печь таких же размеров. На каждую печь-решетку нагружалось одновременно три тысячи пятьсот — четыре тысячи трупов.

Был доставлен второй "багер" — колесо-экскаватор, а за ним вскоре и третий. Работа шла день и ночь. Люди, участвовавшие в работе по сожжению трупов, рассказывают, что печи эти напоминали гигантские вулканы, страшный жар жег лица работающих, пламя извергалось на высоту восьми — десяти метров, столбы черного, густого и жирного дыма достигали неба и тяжелым, неподвижным покрывалом стояли в воздухе. Жители окрестных деревень видели это пламя по ночам за тридцать — сорок километров, оно поднималось выше сосновых лесов, окружавших лагерь. Запах горелого человеческого мяса заполнял всю округу. Когда ветер дул в сторону польского лагеря, расположенного в трех километрах, люди задыхались там от страшного зловония. На этой работе по сожжению трупов было занято восемьсот заключенных — численный состав, превышающий количество рабочих, занятых в доменном или мартеновском цеху любого металлургического гиганта. Этот чудовищный цех работал день и ночь в течение восьми месяцев непрерывно и не мог справиться с сотнями тысяч человеческих тел. Правда, все время прибывали новые партии для газирования, и это тоже загружало печи.

Прибывали эшелоны из Болгарии; СС и вахманы радовались их прибытию: обманутые немцами и тогдашним фашистским болгарским правительством, люди, не ведавшие своей судьбы, привозили большое количество ценных вещей, много вкусных продуктов, белый хлеб. Затем стали прибывать эшелоны из Гродно и Белостока, потом эшелоны из восставшего варшавского гетто, прибыл эшелон польских повстанцев — крестьян, рабочих, солдат. Прибыла партия цыган из Бессарабии, человек двести мужчин и восемьсот женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражников, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. Рассказывают, что цыганки всплескивали руками от восхищения, увидя красивое здание газовой, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. Это особенно потешало немцев. Жестоко издевались эсэсовцы над прибывшими из восставшего варшавского гетто. Из партии выделяли женщин с детьми и вели их не к газовым камерам, а к местам сожжения трупов. Обезумевших от ужаса матерей заставляли водить своих детей среди раскаленных колосников, на которых в пламени и дыму коржились тысячи мертвых тел, где трупы, словно ожив, метались и корчились, где у беременных покойниц лопались от жара животы, и умерщвленные до рождения дети горели на раскрытом чреве матери. Зрелище это могло помрачить рассудок любого, самого закаленного человека, но немцы правильно рассчитали, что стократ сильнее это будет действовать на матерей, пытавшихся закрыть ладонями глаза своих детей. Дети кидались к матерям с безумными криками: "Мама, что с нами будет, нас сожгут?" Данте не видел в своем аду таких картин.

Поразвлекшись этим зрелищем, немцы действительно сжигали детей.

Даже читать об этом бесконечно тяжело. Пусть читатель поверит мне, не менее тяжело и писать об

этом. Может быть, кто-нибудь спросит: "Зачем же писать, зачем вспоминать все это?"

Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших. Всякий, кто не узнает всей правды, так никогда и не поймет, с каким врагом, с каким чудовищем вступила в смертную борьбу наша великая, наша святая Красная Армия.

"Лазарет" тоже переоборудовали по-новому. Раньше больных уводили за огороженное ветвями пространство, где их встречал мнимый "врач", и убивали. Тела убитых стариков и больных на носилках транспортировали к общим могилам. Теперь же был вырыт круглый котлован. Вокруг котлована, как вокруг спортивного стадиона, стояли низенькие скамеечки, так близко к краю, что садившийся на скамеечку находился над самой ямой. На дне котлована были устроены колосники, на которых горели трупы. Больных и дряхлых стариков приносили в "лазарет", и затем "санитары" усаживали их на скамеечку, лицом к костру из человеческих тел. Потешившись зрелищем, каннибалы стреляли в седые затылки и в согбенные спины сидевших: убитые и раненые падали в костер.

Мы знали о тяжеловесном немецком юморе и всегда невысоко ценили его. Но мог ли кто-нибудь из живущих на земле людей представить себе, что такое эсэсовский юмор в Треблинке, эсэсовские развлечения, эсэсовские шутки?

Они устраивали футбольные состязания смертников, заставляли их играть в "ловитки", организовывали хор обреченных. Вблизи общежития немцев был устроен зверинец, в клетках сидели лесные безобиднейшие звери — волки, лисы, а самые страшные свиноподобные хищники, которых носила земля, ходили на свободе, сидели на березовых скамеечках и слушали музыку. Для обреченных был даже написан специальный гимн "Треблинка", и там имелись такие

слова:

Für uns giebt heute nur Treblinka,
Das unser Schieksal ist...¹

Окровавленных людей за несколько минут до смерти заставляли хором разучивать идиотские немецкие сентиментальные песни:

...Ich brach das Blumlein
Und schenkte es dem Schönsten
Geliebten Mädlein...²

Главный комендант лагеря отобрал в одной партии несколько детей, убил их родителей, одел детей в лучшее платье, закармливал их сладостями, играл с ними, а затем, спустя несколько дней, когда эта забава надоела ему, приказал детей убить.

Одним из главных развлечений были насилия и издевательства над молодыми красивыми женщинами и девушками, которых отбирали из каждой партии обреченных. Наутро сами насильники отводили их в газовню. Так развлекались в Треблинке эсэсовцы, оплот гитлеровского режима и гордость фашистской Германии.

Здесь следует отметить, что существа эти вовсе не были механическими исполнителями чужой воли. Все свидетели подмечают общие им всем черты: любовь к теоретическим рассуждениям, философствованию. Все они имели слабость произносить перед обреченными речи, хвастать перед ними, объяснять великий смысл и значение для будущего того, что происходит в Треблинке. Все они были глубоко и искренне убеждены, что делают правильное и нужное дело. Они подробно объясняли преимущество своей расы над всеми другими, они произносили тирады о немецкой крови, немецком характере, о миссии немцев. Их вера была изложена в книгах Гитлера, Розенберга, в

¹Для нас осталась только Треблинка, это наша судьба...

²Я сорвал цветочек и подарил его любимой красотке...

брошюрах и статьях Геббельса.

Поработав и поразвлекшись, как только что описано, они спали сном праведников, не тревожимые сновидениями и кошмарами. Совесть их никогда не мучила, хотя бы потому, что никто из них не имел совести. Они занимались гимнастикой, ревниво следили за своим здоровьем, пили по утрам молоко, очень заботились о своих бытовых удобствах, устраивали вокруг своих жилищ палисадники, пышные клумбы, беседки. Они часто, по несколько раз в год, ездили в отпуск в Германию, так как начальство считало их "цех" весьма вредным и заботливо оберегало их здоровье. Дома ходили они с гордо поднятой головой и помалкивали о своей работе, не потому, что стыдились ее, а просто, будучи дисциплинированными, не смели нарушить данной подписки и торжественной клятвы. И когда они под руку с женами ходили по вечерам в кино и громко хохотали, стучали подкованными сапогами, их трудно было отличить от самых рядовых обывателей. Но это были скоты в величайшем смысле этого слова — эсэсовские скоты.

Лето 1943 года выдалось необычайно жарким в этих местах. Ни дождя, ни облаков, ни ветра в течение многих недель. Работа по сожжению трупов находилась в разгаре. Уже около шести месяцев день и ночь пылали печи, а сожжено было немногим больше половины убитых.

Заклученные, работавшие на сожжении трупов, не выдерживали ужасных нравственных и телесных мучений, ежедневно кончали самоубийством пятнадцать — двадцать человек. Многие искали смерти, нарочно нарушая дисциплинарные правила.

"Получить пулю — это был "люксус" (роскошь), — говорил мне коссувский пекарь, бежавший из лагеря. Люди говорили, что быть обреченным в Треблинке на жизнь во много раз страшней, чем быть обреченным на смерть.

Шлак и пепел вывозились за лагерную ограду. Мобилизованные немцами крестьяне деревни Вулька

нагружали пепел и шлак на подводы и высыпали его вдоль дороги, ведущей мимо лагеря смерти к штрафному польскому лагерю. Заключение-дети лопатами равномерно разбрасывали этот пепел по дороге. Иногда они находили в пепле сплавленные золотые монеты, сплавленные золотые коронки. Детей звали "дети с черной дороги". Дорога эта от пепла стала черной, как траурная лента. Колеса машин как-то по-особенному шуршали по этой дороге, и когда я ехал по ней, все время слышался из-под колес печальный шелест, негромкий, словно робкая жалоба.

Эта черная траурная лента пепла, идущая среди лесов и полей от лагеря смерти к польскому лагерю, была словно трагический символ страшной судьбы, объединившей народы, попавшие под топор гитлеровской Германии.

Крестьяне возили пепел и шлак с весны 1943 года до лета 1944 года. Ежедневно на работу выезжало двадцать подвод, и каждая из них нагружала по шесть — восемь раз на день семь — восемь пудов пепла.

В песне "Треблинка", которую немцы заставляли петь восемьсот человек, работавших на сожжении трупов, есть слова, где заключенных призывают к покорности и послушанию; за это им обещается "маленькое-маленькое счастье, которое мелькает на одну-одну минутку". И, удивительное дело, в жизни треблинского ада был действительно один счастливый день. Немцы, однако, ошиблись: не покорность и послушание подарили этот день смертникам Треблинки. Безумство смелых родило этот день. Терять им было нечего. Все они были смертниками, каждый день их жизни был днем страданий и мук. Ни одного из них, свидетелей страшных преступлений, немцы не пощадили бы — всех их ждала газовня; да их и отправляли туда после нескольких дней работы, заменяя новыми из очередных партий. Лишь несколько десятков человек жили не дни и часы, а недели и месяцы — квалифицированные мастера, плотники,

каменщики, обслуживавшие немцев, пекари, портные, парикмахеры. Они-то и создали комитет восстания. Конечно, только смертники и только люди, охваченные чувством лютой мести и всепожирающей ненависти, могли составить такой безумный план восстания. Они не хотели бежать до того, пока не уничтожат Треблинку. И они уничтожили ее. В рабочих бараках стало появляться оружие: топоры, ножи, дубины. Какой ценой, с каким безумным риском было сопряжено добывание каждого топора и ножа! Сколько изумительного терпения, хитрости и ловкости понадобилось, чтобы укрыть это все от обыска и спрятать в бараке. Были созданы запасы бензина, чтобы облить и поджечь лагерные постройки. Как накапливался этот бензин и как бесследно исчезал он, точно растворился? Для этого понадобились сверхчеловеческие усилия, напряжение ума, воли, страшная дерзость. Наконец был произведен большой подкоп под немецкий барак-арсенал. И здесь дерзость помогла людям, бог смелости стоял за них. Из арсенала были вынесены двадцать ручных гранат, пулемет, карабины, пистолеты. Все это исчезло в тайниках, вырытых заговорщиками. Участники заговора разбились на пятерки. Огромный сложный план восстания был разработан до последних мелочей. Каждая пятерка имела точное задание. И каждое математически точное задание было безумством. Одним поручался штурм башен, на которых сидели вахманы с пулеметами. Вторые должны были внезапно атаковать часовых, ходивших у проходов между лагерными площадками. Третьи должны были атаковать бронемашину. Четвертые резали телефонную связь. Пятые нападали на здание казармы. Шестые делали проходы в колючей проволоке. Седьмые устраивали мосты через противотанковые рвы. Восьмые обливали бензином лагерные постройки и жгли. Девятые разрушали все, что легко поддавалось разрушению.

Было предусмотрено даже снабжение деньгами бежавших. Варшавский врач, который собирал деньги,

едва не погубил всего дела. Однажды шарфюрер заметил, что из кармана его брюк видна толстая пачка кредиток — это была очередная порция денег, похищенных из "кассы", которые доктор собирался укрыть в тайнике. Шарфюрер сделал вид, что ничего не заметил, и тотчас доложил об этом самому Курту Францу. Это было, конечно, событием чрезвычайным. Франц лично отправился допрашивать врача. Он сразу заподозрил что-то недоброе — в самом деле, для чего смертнику деньги? Франц приступил к допросу уверенно и не спеша, вряд ли на земле был человек, умевший так пытаться, как он. И он был уверен, что нет на земле человека, который мог бы устоять против пыток, известных гауптману Курту Францу. Но варшавский врач перехитрил эсэсовского гауптмана. Он принял яд. Один из участников восстания рассказывал мне, что никогда в Треблинке не старались с таким рвением спасти человеку жизнь. Видно, Франц чутьем понимал, что умирающий врач уносит важную тайну. Но немецкий яд действует верно, и тайна осталась тайной.

В конце июля наступила удушающая жара. Когда вскрывали могилы, из них, как из гигантских котлов, валил пар. Чудовищное зловоние и жар печей убивали людей. Изнуренные люди, тащившие мертвцов, сами мертвыми падали на колосники печей. Миллиарды тяжелых обожравшихся мух ползали по земле, гудели в воздухе. Дожигалась последняя сотня тысяч трупов.

Восстание было назначено на 2 августа. Сигналом ему послужил револьверный выстрел. Знамя успеха осенило святое дело. В небо поднялось новое пламя, не тяжелое, полное жирного дыма пламя горящих трупов, а яркий, знойный и буйный огонь пожара. Запылали лагерные постройки, и восставшим казалось, что само солнце, разорвав свое тело, горит над Треблинкой, правит праздник свободы и чести.

Загремели выстрелы, захлебываясь, затараторили пулеметы на захваченных восставшими башнях. Тор-

жественно, как колокола правды, загудели взрывы ручных гранат. Воздух всколыхнулся от грохота и треска, рушились постройки, свист пуль заглушил гудение трупных мух. В ясном и чистом воздухе мелькали красные от крови топоры. В день 2 августа на землю треблинского ада полилась злая кровь эсэсовцев, и пышущее светом голубое небо торжествовало и праздновало миг возмездия. И здесь повторилась древняя, как мир, история: существа, ведущие себя, как представители высшей расы, существа громоподобно возглашавшие: “Achtung! Mützen ab!”¹, существа, вызывавшие варшавян из их домов на казнь потрясающими рокочущими голосами властелинов: “Alle r-r-r-raus! unter-r-r-r!”² — эти существа, столь уверенные в своем могуществе, когда речь шла о казни миллионов женщин и детей, оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки. Они растерялись, они метались, как крысы, они забыли о дьявольски продуманной системе обороны Треблинки, о заранее организованном всеубивающем огне, забыли о своем оружии. Но стоит ли говорить об этом, и нужно ли хоть кому-нибудь дивиться этому?

Спустя два с половиной месяца, 14 октября 1943 года, произошло восстание на собиборской фабрике смерти, организованное советским военнопленным, политруком-ростовчанином Александром Печерским. И там повторилось то же, что в Треблинке, — полумертвые от голода люди сумели справиться с сотнями отяжелевших от невинной крови мерзавцев-эсэсовцев. Восставшие справились с палачами с помощью самодельных топоров, откованных в лагерных кузнях, оружием многих был мелкий песок, которым Печерский велел заранее наполнить карманы и ослеплять глаза караульных... Но нужно ли дивиться

¹Внимание! Шапки снять!

²Выходите все!

этому?

Когда запылала Треблинка и восставшие, молчаливо прощаясь с теплом народа, уходили за проволоку, по их следу со всех концов ринулись эсэсовские и полицейские части. Сотни полицейских собак были пущены по следам. Немцы мобилизовали авиацию. Бои шли в лесах, на болотах — и мало кто, считанные люди из восставших, дожил до наших дней.

После дня 2 августа Треблинка перестала существовать. Немцы дожигали оставшиеся трупы, разбирали каменные постройки, снимали проволоку, сжигали недожженные восставшими деревянные бараки. Было взорвано, погружено и увезено оборудование здания смерти, уничтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные, бесчисленные рвы засыпаны землей, снесено до последнего камня здание вокзала, наконец, разобраны рельсовые пути, увезены шпалы. На территории лагеря был посеян люпин, построил свой домик колонист Стребень. Сейчас и этого домика нет, он сожжен. Чего хотели достичь всем этим немцы? Скрыть следы убийства миллионов людей в треблинском аду? Но разве это мыслимо сделать? Разве мыслимо заставить замолчать тысячи людей, свидетельствующих о том, как эшелоны смертников шли со всей Европы к месту конвейерной казни? Разве мыслимо скрыть то мертвое, тяжелое пламя и тот дым, которые восемь месяцев стояли в небе, видимые днем и ночью жителями десятков деревень и местечек? Разве мыслимо вырвать из сердца, заставить забыть длившийся тринадцать месяцев ужасный вопль женщин и детей, который по сей день стоит в ушах крестьян деревни Вулька? Разве мыслимо заставить замолчать крестьян, год возивших человеческий пепел из лагеря на окрестные дороги.

Разве мыслимо заставить замолчать оставшихся в живых свидетелей работы треблинской плахи, от первых дней ее возникновения до дня 2 августа 1943 года — последнего дня ее существования, свидетелей, согласно и точно рассказывающих о каждом эсэсовце

и вахмане, свидетелей, шаг за шагом, час за часом восстанавливающих треблинский дневник? Им уже не крикнешь: "Mützen ab", их уже не сведешь в газовню. И уж не властен Гиммлер над своими подручными, которые, низко опустив головы, теребя дрожащими пальцами край пиджаков, глухим, мерным голосом рассказывают кажущуюся безумием и бредом историю своих преступлений. Советский офицер, с зеленой ленточкой сталинградской медали, записывает лист за листом показания убийц. И в дверях стоит со сжатыми губами часовой, и на груди его та же сталинградская медаль, и худое, темное от ветров лицо его сурово. Это лицо народного правосудия. И разве не удивительный символ, что в Треблинку, под Варшаву, пришла одна из победоносных сталинградских армий? Недаром заметался в феврале 1943 года Генрих Гиммлер, недаром прилетел он в Треблинку, недаром приказал строить печи, жечь, уничтожать следы. Нет, зря метался он! Сталинградцы пришли в Треблинку, коротким оказался путь от Волги до Вислы. И теперь сама треблинская земля не хочет быть соучастницей преступлений, совершенных злодеями, она исторгает из себя кости, вещи убитых, которые пытались упрятать в нее гитлеровцы.

Мы приехали в треблинский лагерь в начале сентября, то есть через тринадцать месяцев после дня восстания. Тринадцать месяцев работала плаха. Тринадцать месяцев пытались немцы скрыть следы ее работы. Тихо. Едва шевелятся вершины сосен, стоящих вдоль железной дороги. Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пенёк смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов. Тихо шуршал пепел и дробленый шлак по черной дороге, по-немецки аккуратно обложенной окрашенными в белый цвет камнями. Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном, миллионы горошинок сыплют-

ся на землю. Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливаются в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный. А земля колеблется под ногами, пухлая, жирная, словно обильно политая льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыбкая, как морская пучина. Этот пустырь, огороженный проволокой, поглотил в себя больше человеческих жизней, чем все океаны и моря земного шара за все время существования людского рода.

Земля извергает из себя дробленые косточки, зубы, вещи, бумаги — она не хочет хранить тайны.

И вещи лезут из лопнувшей земли, из незаживающих ран ее. Вот они — полуистлевшие сорочки убитых, ботинки, туфли, позеленевшие портсигары, колесики ручных часов, перочинные ножики, бритвенные кисти, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, полотенца с украинской вышивкой, кружевное белье, ножницы, наперстки, корсеты, бандаж. А дальше из трещин земли лезут на поверхность груды посуды: сковородки, алюминиевые кружки, чашки, кастрюли, кастрюльки, горшочки, бидоны, судки, детские чашечки из пластмассы. А дальше из бездонной вспученной земли, точно чья-то рука выталкивает на свет захороненное немцами, выходят на поверхность полуистлевшие советские паспорта, записные книжки на болгарском языке, фотографии детей из Варшавы и Вены, детские, писанные каракулями письма, книжечка стихов, написанная на желтом листочке молитва, продуктовые карточки из Германии... И всюду сотни флаконов и крошечных граненых бутылочек из-под духов — зеленых, розовых, синих... Над всем этим стоит ужасный запах тления, его не могли победить ни огонь, ни солнце, ни дожди, ни снег, ни ветер. И сотни маленьких лесных мух ползают по полуистлевшим вещам, бумагам, фотографиям.

Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью волнистые густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще. Это, видимо, содержимое одного, только одного лишь, не вывезенного, забытого мешка волос! Все это правда! Дикая, последняя надежда, что все это сон, рушится. А стручки люпина звенят, звенят, стучат горошины, точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколен. И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...

Ученые, социологи, криминалисты, психиатры, философы размышляют: что же это? Что же — органические черты, наследственность, воспитание, среда, внешние условия, историческое предопределение, преступная воля руководителей? Что это? Как случилось это? Эмбриональные черты расизма, казавшиеся комичными в высказываниях второсортных профессоров-шарлатанов и убогих провинциальных теоретиков Германии прошлого века, презрение немецкого обывателя к "русской свинье", к "польской скотине", к "прочесноченному еврею", к "развратному французу", к "торгашу англичанину", к "кривляке греку", к "болвану чеху" — весь этот грошовый букет напыщенного дешевого превосходства немца над остальными народами земли, добродушно осмеянный публицистами и юмористическими писателями, — все это внезапно, в течение нескольких лет из "детских" черт превратилось в смертельную угрозу человечеству, его жизни и свободе, стало источником невероятных и невиданных страданий, крови, преступлений. Тут есть над чем задуматься!

Ужасны такие войны, как нынешняя. Огромна пролитая немцами невинная кровь. Но сегодня мало говорить об ответственности Германии за то, что

произошло. Сегодня нужно говорить об ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее.

Каждый человек сегодня обязан перед своей совестью, перед своим сыном и своей матерью, перед родиной и перед человечеством во всю силу своей души и своего ума ответить на вопрос: что родило расизм, что нужно, чтобы нацизм, гитлеризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту сторону океана, никогда, во веки веков!

Империалистическая идея национальной, расовой и всякой иной исключительности логически привела гитлеровцев к строительству Майданека, Собибора, Бельжице, Освенцима, Треблинки.

Мы должны помнить, что расизм, фашизм вынесут из этой войны не только горечь поражения, но и сладостные воспоминания о легкости массового убийства.

И об этом сурово и каждодневно должны помнить все, кому дороги честь, свобода, жизнь всех народов, всего человечества.

Сентябрь 1944 г.

(Печатается с авторскими поправками 1958 г.)

ИЗ РОМАНА "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (1960)

Часть первая, главы 18 — 19

18

"Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях, с этой мыслью мне легче уйти из жизни.

Людей, Витя, трудно понять по-настоящему... Седьмого июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последние известия, я шла из поликлиники, после приема больных, и остановилась послушать, дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, потом через сад побежали люди, я пошла к дому и все удивлялась, как это пропустила сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк, и кто-то крикнул: "Немцы прорвались!"

Я сказала: "Не сейте панику"; накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде, он рассердился — "об этом рано говорить, мы даже списков не составляли". Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, спокойней всех были малые дети да я. Решила — что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале я ужаснулась, поняла, что никогда тебя не увижу, и мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя, поцеловать твой лоб, глаза, а потом я подумала — ведь счастье, что ты в безопасности.

Под утро я заснула, и когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате, в своей постели, но ощутила себя на чужбине, затерянная, одна.

Этим же утром мне напомнили забытое за годы

советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали: "Juden kaputt!"

А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: "Слава богу, жидам конец". Откуда это? Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.

Соседка моя, вдова, у нее девочка 6 лет, Аленушка, синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: "Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату". — "Хорошо, я тогда перееду в вашу". — "Нет, вы переберетесь в каморку за кухней".

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату взломали, мои вещи свалили в каморке. Соседка мне сказала: "Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнатку".

Удивительно, она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укопспилке. "Вы вне закона", — сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее Аленушка сидела у меня весь вечер, и я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках. А затем, Витенька, поликлинику нашу вновь открыли, а меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за проработанный месяц, но новый заведующий мне сказал: "Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при советской власти, напишите ему в Москву". Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала: "Господи, Боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет". И доктор Ткачев пожал мне руку. Я не знаю, что тяжелей — злорадство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подышающую шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить.

Многие люди поразили меня. И не только темные,

озлобленные, безграмотные. Вот старик-педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе — "он наша гордость". А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, он на собрании в комендатуре говорил: "Воздух очистился, не пахнет чесноком". Зачем ему это — ведь эти слова его пачкают. И на том же собрании, сколько клеветы на евреев было... Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И, знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из Союза Михаила Архангела. А здесь я увидела, — те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами, по-лакейски жалки, готовы продать Россию за тридцать немецких серебряников. А темные люди из пригорода захватывают квартиры, одеяла, платья; такие, вероятно, убивали врачей во время холерных бунтов. А есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

Ко мне беспрерывно прибегают знакомые с новостями, глаза у всех безумные, люди, как в бреду. Появилось странное выражение: "Перепрятывать вещи". Кажется, что у соседа надежней. Перепрятывание вещей напоминает мне игру.

Вскоре объявили о переселении евреев, разрешили взять с собой 15 килограммов вещей. На стенах домов висели желтенькие объявления: "Всем жильцам предлагается переселиться в район Старого города не позднее шести часов вечера 15 июля 1941 года". Не переселившимся — расстрел.

Ну вот, Витенька, собралась и я. Взяла с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне когда-то подарил, ложку, нож, две тарелки. Много ли человеку нужно? Взяла несколько медицинских инструментов. Взяла твои письма, фотографии покойной мамы и дяди Давида, и ту, где ты с папой снят, томик Пушкина, "Lettres de mon moulin", томик

Мопассана, где "Une vie", словарь, взяла Чехова, где "Скучная история" и "Архиерей", — вот и, оказалось, заполнила всю свою корзинку. Сколько я под этой крышей тебе писем написала, сколько часов ночью проплакала, теперь уж скажу тебе, о своем одиночестве.

Простилась с домом, с садиком, посидела несколько минут под деревом, простилась с соседями. Странно устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить о том, кто возьмет себе стулья, кто письменный столик, а стала с ними прощаться, обе заплакали. Попросила соседей Басанько, если после войны ты приедешь узнать обо мне, пусть расскажут поподробней — и мне обещали. Тронула меня собачонка, дворняжка Тобик, — последний вечер как-то особенно ласкалась ко мне.

Если приедешь, ты ее покорми за хорошее отношение к старой жидовке.

Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до старого города, неожиданно пришел мой пациент Щукин, угрюмый и, мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, я назвала бы десятки имен, но не его. Знаешь, Витенька, после его прихода я снова почувствовала себя человеком, значит, ко мне не только дворовая собака может относиться по-человечески.

Он рассказал мне — в городской типографии печатается приказ: евреям запрещено ходить по тротуарам, они должны носить на груди желтую лату в виде шестиконечной звезды, они не имеют права пользоваться транспортом, банями, посещать амбулатории, ходить в кино, запрещается покупать масло, яйца, молоко, ягоды, белый хлеб, мясо, все овощи, исключая картошку; покупки на базаре разрешается

делать только после шести вечера (когда крестьяне уезжают с базара). Старый город будет обнесен колючей проволокой, и выход за проволоку запрещен, можно только под конвоем на принудительные работы. При обнаружении еврея в русском доме хозяину — расстрел, как за укрытие партизана.

Тесть Щукина, старик-крестьянин, приехал из соседнего местечка Чуднова и видел своими глазами, что всех местных евреев с узлами и чемоданами погнали в лес, и оттуда в течение всего дня доносились выстрелы и дикие крики, ни один человек не вернулся. А немцы, стоявшие на квартире у тестя, приехали поздно вечером — пьяные и еще пили до утра, пели и при старике делили между собой брошки, кольца, браслеты. Не знаю, случайный ли это произвол или предвестие ждущей и нас судьбы?

Как печален был мой путь, сыночек, в средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Сперва мы шли по пустынной Свечной улице. Но когда мы вышли на Никольскую, я увидела сотни людей, шедших в это проклятое гетто. Улица стала белой от узлов, от подушек. Больных вели под руки. Парализованного отца доктора Маргулиса несли на одеяле. Один молодой человек нес на руках старуху, а за ним шли жена и дети, нагруженные узлами. Заведующий магазином бакалеи Гордон, толстый, с одышкой, шел в пальто с меховым воротником, а по лицу его тек пот. Поразил меня один молодой человек; он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу, с надменным и спокойным лицом. Но сколько рядом было безумных, полных ужаса.

Шли мы по мостовой, а на тротуаре стояли люди и смотрели.

Одно время я шла с Маргулисами и слышала сочувственные вздохи женщин. А над Гордоном в зимнем пальто смеялись, хотя, поверь, он был ужасен, не смешон. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачи-

вались. Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз не было; были любопытные, были безжалостные, но несколько раз я видела заплаканные глаза.

Я посмотрела — две толпы, евреи в пальто, шапках, женщины — в теплых платках, а вторая толпа на тротуаре одета по-летнему. Светлые кофточки, мужчины без пиджаков, некоторые в вышитых украинских рубахах. Мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи.

У входа в гетто я простилась с моим спутником, он мне показал место у проволочного ограждения, где мы будем встречаться.

Знаешь, Витенька, что я испытала, попав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не избегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче.

Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором-терапевтом Шперлингом, в мазаном домике из двух комнатушек. У Шперлингов две взрослые дочери и сын, мальчик лет двенадцати. Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза; его зовут Юра, а я раза два называла его Витей, и он меня поправлял: "Я Юра, а не Витя".

Как различны характеры людей! Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет полон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров. Ночью внесли в домик мешок муки и полмешка фасоли. Он радуется всякому своему успеху, как молодожен. Вчера он развешивал коврики. "Ничего, ничего, все переживем, — повторяет он. — Главное, запастись продуктами и

дровами”.

Он сказал мне, что в гетто следует устроить школу. Он даже предложил мне давать Юре уроки французского языка и платить за урок тарелкой супа. Я согласилась.

Жена Шперлинга, толстая Фанни Борисовна, вздыхает: ”Все погибло, мы погибли”, — но при этом следит, чтобы старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери, Аля — истинное исчадие ада: властная, подозрительная, скупая; она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла.

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорит о богатстве евреев и о том, что у нас всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш Старый город! Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники — старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки.

Витенька, здесь я вижу много плохих людей — жадных, хитрых, даже готовых на предательство. Есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка, — он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, участвует в допросах, пьянствует с украинскими полициями, и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я раза два видела его — рослый, красивый, в франтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит, как желтая хризантема.

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских

земских врачей, была "Дядя Ваня" со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: "Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь". И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок.

Я хожу к больным на дом. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей: полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих глазах искать симптомы болезней — глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям — в глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души, Витенька! Печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильной, Витя, души!

Если бы ты видел, с каким вниманием старики и старухи расспрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуюсь, люди, чье положение ужасней моего.

Мне иногда кажется, что не я хожу к больным, а, наоборот, народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение кусок хлеба, луковку, горсть фасоли.

Поверь, Витенька, это не плата за визиты! Когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофелины и говорит: "Ну, ну, доктор, я вас прошу", у меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе, не могу словами передать тебе это.

Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время, ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала, я за все это время ни разу не была голодна. И еще — я не чувствовала себя одинокой.

Что сказать тебе о людях? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все

переживают одну судьбу. Но, представь себе, если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему.

Доктор Шперлинг уверен, что преследования евреев временные, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней. Если во время обеда приходит кто-нибудь, Аля и Фанни Борисовна немедленно прячут еду.

Ко мне Шперлинги относятся хорошо, тем более, что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них, они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше.

Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрился запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудаки — старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотечарши, инженер Рейвич, который беспомощней ребенка и мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди.

Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт.

Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка и рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стариков. Приезжают на машинах немцы и полиция и берут несколько десятков мужчин на полевые работы, они копают рвы, а затем, через два-три дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы.

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто — в Варшаве, Лодзи, Радоме. И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской Пуще, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: "Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через 2—3 недели выздоровеете". Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту.

Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению.

А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день.

Вот так оно происходит — люди продолжают жить. У нас тут даже недавно была свадьба. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление и немцы бегут. То вдруг рождается слух, что советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум, и Гитлер приказал не убивать евреев. То сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных.

Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причина, всегда одни — спасение евреев. Какое богатство надежды!

А источник этих надежд один — жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю: неужели все мы — приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, печники — все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее,

подобие такого дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед, дети ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят.

Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аля Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы на папильотки, ссорится с отцом, требуя себе какие-то два летних отреза.

И я с утра до ночи занята — хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев, — знакомую, жену юрисконсульта, избили до потери сознания за покупку утиного яйца для ребенка; мальчику, сыну провизора Сироты, прострелили плечо, когда он пробовал пролезть под проволокой и достать закатившийся мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи.

Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались — сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.

Ночь в гетто особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду, сын должен всегда говорить матери правду. Но ведь и мать должна говорить сыну правду. Не думай, Витенька, что твоя мама сильный человек. Я — слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старухой я боялась болезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу работать, сделаюсь обузой для тебя, и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ты ребенком прибежал ко мне, ища защиты. И теперь в минуты слабости мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл меня, защитил. Я не

только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость, или сила, или бессмысленная надежда удерживают меня.

Но хватит. Я засыпаю и вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная, и мне кажется, что я не проснулась, а, наоборот, заснула и вижу сон.

Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправиться к колодцу, слышу разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломил голову старику.

Ко мне пришла знакомая, студентка педтехникума, и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта, раненного в плечо, с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден не сильно, я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск, навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юношей, один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними! Я так радовалась, оказывая помощь этому парню, мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом.

Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки.

Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умершей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет. И сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома, по

дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название, там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать.

Даже Шперлинг понял все, весь день бледен, губы дрожат, растерянно спрашивает меня: "Есть ли надежда, что специалистов оставят в живых?" Действительно, рассказывают, в некоторых местечках лучших портных, сапожников и врачей не подвергли казни.

И все же вечером Шперлинг позвал старика-печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала "Lettres de mon moulin". Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ "Les vieux" и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я задала Юре уроки на послезавтра. Так нужно. Но какое щемящее чувство у меня было, когда я смотрела на печальное личико моего ученика, на его палыцы, записывающие в тетрадку номера заданных ему параграфов грамматики.

И сколько этих детей: чудные глаза, темные кудрявые волосы, среди них есть, наверное, будущие ученые, физики, медицинские профессора, музыканты, может быть, поэты.

Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся, хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает.

Говорят, что дети наше будущее, но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумит, а нас не будет, мы исчезнем, как исчезли ацтеки.

Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала,

причитала: "Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают... Что ж это будет, когда их всех поубивают?"

И так ясно я увидела, как проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет: "Помнишь, тут жили когда-то евреи, печник Борух; в субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети". А второй собеседник скажет: "А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию, я у нее когда-то лечил глаза, после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой". Так оно будет, Витя.

Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все почувствовали, что приближается срок.

Витенька, я хочу сказать тебе... нет, не то, не то.

Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно — мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно уйду от тебя, ты уже никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день, все, все вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось — ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня — пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее

ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, enfin... Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал тебе ближе матери. Прости меня.

С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.

Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Витенька... Вот и последняя строка последнего маминного письма к тебе. Живи, живи, живи вечно... Мама”.

19

Никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей, что мать его еврейка. Никогда мать не говорила с ним об этом — ни в детстве, ни в годы студенчества. Никогда за время учения в Московском университете ни один студент, профессор, руководитель семинара не заговорил с ним об этом.

Никогда до войны в Институте, в Академии Наук не пришлось ему слышать разговоры об этом.

Никогда, ни разу не возникало в нем желания говорить об этом с Надей — объяснять ей, что мать у нее русская, а отец еврей.

Век Эйнштейна и Планка оказался веком Гитлера.

Гестапо и научный Ренессанс рождены одним временем. Как человечен девятнадцатый век, век наивной физики, по сравнению с двадцатым веком — двадцатый век убил его мать. Есть ужасное сходство в принципах фашизма с принципами современной физики.

Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия "человек" и оперирует огромными совокупностями. Современная физика говорит о больших и меньших вероятностях явлений в тех или иных совокупностях физических индивидуумов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности?

Фашизм пришел к идее уничтожения целых слоев населения, национальных и расовых объединений на основе того, что вероятность скрытого и явного противодействия в этих слоях и прослойках выше, чем в других группах или слоях. Механика вероятностей и человеческих совокупностей.

Но нет, конечно! Фашизм потому и погибнет, что законы атомов и булыжников он вздумал применить к человеку!

Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преображенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный разумом и добротой, — фашизм погибает, и смирившиеся вновь становятся людьми.

Не признание ли это чепыжинских мыслей о квашне, против которых он спорил этим летом? Время разговора с Чепыжиным представлялось ему бесконечно далеким, казалось, десятилетия лежали между московским летним вечером и сегодняшним днем.

Казалось, что другой человек, не Штрум, шел по Трубной площади, волнуясь, слушал, горячо, самоуверенно спорил.

Мать... Маруся... Толя...

Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни.

Быть может, наука не случайно стала спутницей страшного века, она союзник его. Как одиноко чувствовал он себя. Не с кем было ему делиться своими мыслями. Чепыжин был далеко. Постоеву все это странно и неинтересно.

Соколов склонен к мистике, к какой-то странной религиозной покорности перед кесаревой жестокостью, несправедливостью.

В лаборатории у него работали двое превосходных ученых — физик-экспериментатор Марков и забулдыга, умница Савостьянов. Но заговори Штрум с ними обо всем этом, они бы сочли его психопатом.

Он вынимал из стола письмо матери и вновь читал его.

”Витя, я уверена, что письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто... где взять силы, сынок...”

И холодное лезвие вновь ударило его по горлу...

Часть первая, главы 42 — 51

42

В конце лета 1942 года войска кавказской группы Клейста захватили первый советский нефтяной промысел близ Майкопа. Немецкие войска были на Нордкапе и на Крите, в Северной Финляндии и на берегу Ламанша. Народный маршал, солдат на солнце, Эрвин Роммель, стоял в 80 километрах от Александрии. На вершине Эльбруса горные егеря водрузили знамя со свастикой. Манштейн получил приказ двинуть гигантские пушки и верферы — новую реактивную артиллерию — на цитадель большевизма — Ленинград. Скептик Муссолини разрабатывал план вступления в Каир, тренировался в езде на арабском жеребце. Солдат на снегу, Диттль, стоял в тех северных широтах, до которых не доходил ни один

европейский завоеватель. Париж, Вена, Прага, Брюссель стали провинциальными немецкими городами.

Пришла пора осуществить самые жестокие планы национал-социализма, направленные против человека, его жизни и свободы. Лидеры фашизма лгут, утверждая, что напряжение борьбы вынуждает их быть жестокими. Опасность, наоборот, отрезвляет их, неуверенность в своих силах заставляет их сдерживаться.

Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве. Если у фашизма не останется вооруженных врагов на земле, палачи не будут знать удержу. Ведь главный враг фашизма — человек.

Осенью 1942 года имперское правительство приняло ряд особо жестоких, бесчеловечных законов.

В частности, 12 сентября 1942 года, в пору апогея военного успеха национал-социализма, евреи, населяющие Европу, были полностью изъяты из юрисдикции судов и переданы Гестапо.

Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации.

43

Софья Осиповна Левинтон иногда думала о том, что было прежде, — пять курсов Цюрихского университета, летняя поездка в Париж и в Италию, концерты в консерватории и экспедиции в горные районы Центральной Азии, врачебная работа, которую она вела тридцать два года, любимые кушанья, друзья, чья жизнь, с тяжелыми и веселыми днями, сплелась с ее жизнью, привычные телефонные звонки, привычные словечки: "хош", "покедова", карточные игры, вещи, оставшиеся в ее московской комнате.

Вспоминались ей люди, Александра Владимировна, Женя, Сережа, Вера, Маруся. Чем ближе были ей, тем дальше ушли они от нее.

Как-то перед вечером, в запертом товарном вагоне

эшелона, стоявшего на запасных путях какой-то узловой станции недалеко от Киева, она искала вшей в вороте своей гимнастерки, а рядом две пожилые женщины быстро, негромко говорили по-еврейски. В этот момент она с необычайной ясностью осознала, что это именно с ней, с Сонечкой, Сонькой, Софой, Софьей Осиповной Левинтон, майором медицинской службы, — все это произошло.

Главное изменение в людях состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой натуры, личности и силилось, росло чувство судьбы.

— Кто же действительно, по-настоящему — я, я, я? — думала Софья Осиповна, — та куцая, сопливая, которая боялась папы и бабушки, или та толстая, вспылчивая, со шпалами на вороте, или вот эта пархатая, вшивая?

Желание счастья ушло, но появилось множество мечтаний: убить вшей... добраться до щелки и подышать воздухом... помочиться... помыться хотя бы одну ногу... и желание, жившее во всем теле, — пить.

Ее втокнули в вагон, и она, оглянувшись в полутьме, казавшейся ей поначалу тьмой, услышала негромкий смех.

— Здесь смеются сумасшедшие? — спросила она.

— Нет, — ответил мужской голос. — Здесь рассказывают анекдот.

Кто-то меланхолически произнес:

— Еще одна еврейка попала в наш несчастный эшелон.

Софья Осиповна, стоя у дверей, хмурясь, чтобы выкинуть к темноте, отвечала на вопросы. Сразу же, вместе с плачем, стонами, зловонием, Софью Осиповну вдруг поглотила атмосфера с детства забытых слов, интонаций... Софья Осиповна хотела шагнуть внутрь вагона, но не смогла. Она нащупала в темноте худенькую ногу в коротенькой штанине и сказала:

— Прости мальчик, я тебя ушибла?

Но мальчик ничего не ответил ей. Софья Осиповна сказала в темноту:

— Мамаша, может быть, вы подвинете своего немого молодого человека? Я ведь не могу стоять все время на ногах.

Из угла истерический актерский мужской голос проговорил:

— Надо было дать заранее телеграмму, тогда бы подготовили номер с ванной.

Софья Осиповна раздельно сказала:

— Дурак.

Женщина, чье лицо уже можно было различить в полумраке, сказала:

— Садитесь возле меня, тут масса места.

Софья Осиповна ощутила, что пальцы ее быстро, мелко дрожат.

Это был мир, знакомый ей с детства, мир еврейского местечка, и она ощутила, как все изменилось в этом мире.

В вагоне ехали рабочие из артелей, радиомонтер, студентки педтехникума, преподаватели профшкол, инженер с консервного завода, зоотехник, девушка — ветеринарный врач. Раньше местечко не знало таких профессий. Но ведь Софья Осиповна не изменилась, та же, что когда-то боялась папы и бабушки. И может быть, этот новый мир такой же неизменный? А в общем, не все ли равно, еврейское местечко, новое ли, старое ли, катится под откос, в бездну.

Она услышала, как молодой женский голос сказал:

— Современные немцы — дикари, это они даже не слышали о Генрихе Гейне.

Из другого угла мужской голос насмешливо произнес:

— А в итоге дикари нас везут, как скотину. Чем уж нам помог этот Гейне?

Софью Осиповну выпрашивали о положении на фронтах, и так как она ничего хорошего не рассказала, ей объяснили, что ее сведения неверные, и она поняла, что в телячем вагоне есть своя стратегия, основанная на страстной жажде существовать на земле.

— Неужели вы не знаете, что Гитлеру послан ультиматум немедленно выпустить всех евреев?

Да, да, конечно, это так. Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум, оптимизм.

Вскоре интерес к Софье Осиповне прошел, и она сделалась путницей, не знающей, куда и зачем везут ее, такой же, как и все остальные. Имя и отчество ее никто не спрашивал, фамилию ее никто не запомнил.

Софья Осиповна даже удивилась, — всего несколько дней понадобилось, чтобы пройти обратную дорогу от человека до грязной и несчастной, лишенной имени и свободы скотины, а ведь путь до человека длился миллионы лет.

Ее поражало, что в огромном постигшем людей бедствии их продолжают волновать житейские мелочи, что люди раздражаются друг против друга по пустякам.

Пожилая женщина шепотом говорила ей:

— Посмотри, докторша, на ту гранд-даму, она сидит у щелки, как будто только ее ребенку нужно дышать кислородом. Пани едет на лиман.

Ночью поезд останавливался два раза, и все вслушивались в скрипящие шаги охраны, ловили невнятные русские и немецкие слова.

Ужасно звучал язык Гете на ночных русских полустанках, но еще более зловещей казалась родная русская речь людей, служивших в немецкой охране.

К утру Софья Осиповна страдала вместе со всеми от голода и мечтала о глотке воды. И мечта ее была куцая, робкая, ей представлялась мятая консервная банка, на дне которой немного теплой жижи. Она почесывалась быстрым, коротким движением, каким собака вычесывает блох.

Теперь, казалось Софье Осиповне, она поняла различие между жизнью и существованием. Жизнь — кончилась, оборвалась, а существование длилось, продолжалось. И хоть было оно жалким, ничтожным,

мысль о насильственной смерти наполняла душу ужасом.

Пошел дождь, несколько капель залетели в решетчатое окошечко. Софья Осиповна оторвала от подола своей рубахи тонкую полосу и придвинулась к стенке вагона, и в том месте, где имелась небольшая щель, просунула материю, ждала, пока лоскут напитается дождевой влагой. Потом она втянула лоскут в щель и стала жевать прохладную мокрую тряпку. А у стен и по углам вагона люди тоже стали рвать лоскуты, и Софья Осиповна ощутила гордость — это она изобрела способ ловить, выуживать дождь.

Мальчик, которого Софья Осиповна толкнула ночью, сидел недалеко от нее и следил, как люди запускают тряпки в щели между дверью и полом. В неясном свете она увидела его худое, остроносое лицо. Ему, видимо, было лет шесть. Софья Осиповна подумала, что за все время ее пребывания в вагоне с мальчиком этим никто не заговаривал и он сидел неподвижно, не сказал ни с кем ни слова. Она протянула ему мокрую тряпку и сказала:

— Возьми-ка, паренек.

Он молчал.

— Бери, бери, — говорила она, и он нерешительно протянул руку.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Он тихо ответил:

— Давид.

Соседка, Муся Борисовна, рассказала, что Давид приехал погостить к бабушке из Москвы и война отрезала его от матери. Бабушка погибла в гетто, а родственница Давида, Ревекка Бухман, которая едет с больным мужем, даже не позволяет мальчику сидеть возле себя.

К вечеру Софья Осиповна много наслушалась разговоров, рассказов, споров, сама говорила и спорила. Обращаясь к своим собеседникам, она говорила:

— Бридер иден*, вот что я вам скажу.

Многие с надеждой ждали конца дороги, считали, что везут их в лагерь, где каждый будет работать по специальности, а больные попадут в инвалидные бараки. Все почти непрерывно говорили об этом. А тайный ужас, немой, молчаливый вой не проходил, жил в душе.

Софья Осиповна узнала из рассказов, что не только человеческое живет в человеке. Ей рассказали о женщине, которая посадила парализованную сестру в корыто и вытащила ее зимней ночью на улицу, заморозила ее. Ей рассказали, что были матери, которые убивали своих детей, и что в вагоне едет такая женщина. Ей рассказали о людях, подобно крысам, тайно жившим месяцами в канализационных трубах и питавшихся нечистотами, готовых на любое страдание, лишь бы существовать.

Жизнь евреев при фашизме была ужасна, а евреи не были ни святыми, ни злодеями, они были людьми.

Чувство жалости, которое испытывала Софья Осиповна к людям, возникало у нее особенно сильно, когда она смотрела на маленького Давида.

Он обычно молчал и сидел неподвижно. Изредка мальчик доставал из кармана мятую спичечную коробку и заглядывал в нее, потом снова прятал коробку в карман.

Несколько суток Софья Осиповна совершенно не спала, ей не хотелось. И в эту ночь она без сна сидела в зловонной темноте. "А где сейчас Женя Шапошникова?" — вдруг подумала она. Она слушала бормотания, вскрикивания и думала, что в спящих, воспаленных головах сейчас с ужасной живой силой стоят картины, которые словами уж не передать. Как сохранить, как запечатлеть их, если человек останется жить на земле и захочет узнать о том, что было.

"Злата! Злата!" — закричал рыдающий мужской голос.

*Братья евреи (*идиш*).

...В сорокалетнем мозгу Наума Розенберга совершалась привычная ему бухгалтерская работа. Он шел по дороге и считал: на позавчерашних сто десять — вчерашних шестьдесят один, на них шестьсот двенадцать за пятидневку, итого семьсот восемьдесят три... Жаль, что он не вел учет мужчин, детей, женщин... Женщины горят легче. Опытный бреннер кладет тела так, чтобы костистые, богатые золой старики горели рядом с телами женщин. Сейчас дадут команду — свернуть с дороги, — вот так же командовали год назад тем, которых они сейчас откопают и начнут вытаскивать из ям крючьями, привязанными к веревкам. Опытный бреннер по неразрытому холму может определить, сколько тел лежит в яме — пятьдесят, сто, двести, шестьсот, тысяча... Шарфюрер Эльф требует, чтобы тела называли фигурами — сто фигур, двести фигур, но Розенберг зовет их: люди, убитый человек, казненный ребенок, казненный старик. Он зовет их так про себя, иначе шарфюрер впустит в него девять граммов металла, но он упорно бормочет: вот ты выходишь из ямы, казненный человек... не держись руками за маму, дитя, вы будете вместе, далеко ты не уйдешь от нее... "Что ты там бормочешь?" — "Я ничего, это вам кажется". И он бормочет — борется, в этом его маленькая борьба... Позавчера была яма, где лежало восемь человек. Шарфюрер кричит: "Это издевательство, команда в двадцать бреннеров сжигает восемь фигур". Он прав, но что делать, если в деревушке было две еврейских семьи. Приказ есть приказ — раскопать все могилы и сжечь все тела... Вот они свернули с дороги, идут по траве, и вот в сто пятнадцатый раз посреди зеленой поляны серый холм — могила. Восемь копают, четверо валят дубовые стволы и распиливают их на поленья длиной в человеческое тело, двое разбивают их топорами и клиньями, двое подносят с дороги сухие старые доски, растопку, банки с бензином,

четверо готовят место для костра, роют канаву для поддувала — надо сообразить откуда ветер.

Сразу исчезает запах лесной прели, и охрана смеется, ругается, зажимает носы, шарфюрер плюет, отходит на опушку. Бреннеры бросают лопаты, берутся за крючья, завязывают тряпками рты и носы... Здравствуйте, дедушка, опять вам пришлось посмотреть на солнце; какой вы тяжелый... Убитая мама и трое детей — два мальчика, один уже школьник, а девочка тридцать девятого года рождения, был рахит, — ничего, теперь его нет... Не держись руками за маму, дитя, она никуда не уйдет... "Сколько фигур?" — кричит с опушки шарфюрер. "Девятнадцать" — и тихо про себя: "убитых людей". Все ругаются — полдня прошло. Зато на прошлой неделе раскопали могилу — двести женщин, все молодые. Когда сняли верхний слой земли, над могилой встал серый пар и охрана смеялась: "Горячие бабы!" Поверх канавок, по которым тянет воздух, кладут сухие дрова, потом дубовые поленья, они дают богатый жаркий уголь, потом убитые женщины, потом дрова, потом убитые мужчины, снова дрова, потом бесхозные куски тел, потом банку бензина, потом в серединку авиационную зажигательную бомбу, потом шарфюрер командует, и охрана заранее улыбается — бреннеры поют хором. Костер горит! Потом золу кидают в яму. Снова тихо. Было тихо и стало тихо. А потом их привели в лес, и они не увидели холма среди зелени, шарфюрер приказал копать яму — четыре на два; все поняли; они выполнили задание: восемьдесят девять деревень, на них восемнадцать местечек, на них четыре поселка, на них два районных городка, на них три совхоза — два зерновых, один молочный, — итого сто шестнадцать населенных пунктов, сто шестнадцать холмов раскопали бреннеры... Пока бухгалтер Розенберг копает яму для себя и других бреннеров, он подсчитывает: последняя неделя семьсот восемьдесят три, перед этим три декады в сумме дали четыре тысячи

восемьсот двадцать шесть сожженных тел, общий итог пять тысяч шестьсот девять сожженных тел. Он считает, считает, и от этого незаметно идет время, он выводит среднее число фигур, нет не фигур, число человеческих тел, — пять тысяч шестьсот девять делится на число могил — сто шестнадцать, получается сорок восемь и тридцать пять сотых человеческих тел в братской могиле, округляя, это будет сорок восемь человеческих тел в могиле. Если учесть, что работало двадцать бреннеров в течение тридцати семи дней, то на одного бреннера приходится... "Стройся", — кричит старший охранник, и шарфюрер Эльф зычно командует: "Ин ди грубе марш!" Но он не хочет в могилу. Он бежит, падает, снова бежит, он бежит лениво, бухгалтер не умеет бегать, но его не смогли убить, и он лежит в лесу на траве, в тишине и не думает о небе над головой, ни о Златочке, которую убили беременной на шестом месяце, он лежит и считает то, что не успел досчитать в яме: двадцать бреннеров, тридцать семь дней, итого бреннеродней... — это раз; два — надо учесть сколько кубов дров на человека; три — надо учесть сколько часов горения в среднем на одну фигуру, сколько...

Через неделю его поймали полицейские и отвели в гетто.

И вот здесь, в вагоне, он все время бормочет, считает, делит, множит. Годовой отчет! Он должен его сдать Бухману, главному бухгалтеру Госбанка. И вдруг ночью, во сне, взрывая коросту, покрывшую его мозг и сердце, хлынули обжигающие слезы.

"Злата! Злата!" — зовет он.

45

Окно ее комнаты выходило на проволочную ограду гетто. Ночью библиотекаря Муся Борисовна проснулась, приподняла край занавески и увидела, как двое солдат тащили пулемет, на его полированном теле

поблескивали синие пятна лунного света, очки шедшего впереди офицера поблескивали. Она слышала негромкий гул моторов. Машины приближались к гетто с потушенными фарами, и тяжелая ночная пыль серебрилась, клубясь вокруг их колес, — они, словно божества, плыли в облаках.

В эти лунные минуты, когда подразделения СС и СД, отряды украинских полицейских, подсобные части, автомобильная колонна резерва Управления имперской безопасности подошли к воротам спящего гетто, женщина измерила рок двадцатого века.

Лунный свет, мерное величавое движение вооруженных подразделений, черные могучие грузовики, заячье постукивание ходиков на стене, замершие на стуле кофточка, лифчик, чулки, теплый запах жилья — все несоединимое соединилось.

46

Дочь арестованного и погибшего в 1937 году старого доктора Карасика, Наташа, в вагоне время от времени пробовала петь. Иногда она напевала и ночью, но люди не сердились на нее.

Она была застенчива, всегда говорила едва слышным голосом, опустив глаза, ходила в гости только к близким родственникам и удивлялась смелости девушек, танцевавших на вечерах.

В час отбора людей, подлежащих уничтожению, ее не зачислили в кучку ремесленников и врачей, которым сохранили их полезную жизнь, — существование вянущей, поседевшей девушки было не нужно.

Полицейский подтолкнул ее к базарному пыльному холмику, на котором стояли три пьяных человека, одного из них, ныне начальника полиции, она знала до войны, — он был комендантом какого-то железнодорожного склада. Она даже не поняла, что эти трое творят приговор жизни и смерти народу; полицейский пихнул ее в гудящую тысячную толпу признанных

бесполезными детей, женщин, мужчин.

Потом они шли к аэродрому под последним для них августовским зноем, мимо пыльных, придорожных яблонь, в последний раз пронзительно кричали, рвали на себе одежду, молились. Наташа шла молча.

Никогда она не думала, что кровь бывает такой поразительно красной под солнцем. Когда на миг смолкали крики, выстрелы, хрипы, — из ямы слышалось журчание крови, — она бежала по белым телам, как по белым камням.

Потом было самое нестрашное — негромкий треск автомата и палач с простым, незлобным, утомленным работой лицом, терпеливо ожидающий, пока она робко подойдет к нему поближе, станет на край журчащей ямы.

Ночью она, выжав намокшую рубашку, вернулась в город, — мертвые не выходят из могилы, значит она была жива.

И вот когда Наташа пробиралась дворами в гетто, она увидела народное гулянье на площади — смешанный духовой и струнный оркестр играл печальную и мечтательную мелодию всегда нравившегося ей вальса, и при тусклой луне и тусклых фонарях по пыльной площади крутились пары — девушки, солдаты, шарканье ног смешивалось с музыкой. Увядавшей девушке в этот миг стало на душе радостно, уверенно — и она все пела и пела потихоньку в предчувствии ждущего ее счастья, а иногда, если никто не видел, даже пробовала танцевать вальс.

47

Все, что было после начала войны, Давид помнил плохо. Но как-то ночью, в вагоне, в мозгу мальчика возникло недавно пережитое.

В темноте бабушка ведет его к Бухманам. Небо в мелких звездах, а край неба светлый, зеленовато-лимонный. Листья лопуха касаются щеки, словно

чьи-то холодные влажные ладони.

На чердаке, в убежище, за фальшивой кирпичной стеной, сидят люди. Черные листы кровельного железа днем раскаляются. Иногда чердачное убежище заполняется гарным духом. Гетто горит. Днем в убежище все лежат неподвижно. Монотонно плачет Светланочка, дочь Бухманов. У Бухмана больное сердце, днем его все считают мертвым. А ночью он ест и ссорится с женой.

И вдруг лай собаки. Непрусские голоса: "Asta! Asta! Wo sind die Juden?" — и над головой нарастает гроыхание, немцы вылезли через слуховое окно на крышу.

Потом гремевший в черном жестяном небе немецкий кованный гром затих. Под стеной слышны лукавые, несильные удары — кто-то выстукивал стены.

В убежище наступила тишина, страстная тишина, с напружившимися мышцами плеч и шеи, с выпученными от напряжения глазами, с оскаленными ртами.

Маленькая Светлана под вкрадчивое постукивание по стене затаила свою жалобу без слов. Плач девочки вдруг, внезапно, оборвался, Давид оглянулся в ее сторону и встретил бешеные глаза матери Светланы, Ревекки Бухман.

После этого раз или два на короткий миг ему представились эти глаза и откинутая, словно у матерчатой куклы, голова девочки.

А вот то, что было до войны, помнилось подробно, вспоминалось часто. В вагоне он, словно старик, жил прошлым, лелеял и любил его.

Двенадцатого декабря, в день рождения Давида, мама купила ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял серенький козлик, рядом тьма леса казалась особо зловещей. Среди черно-коричневых стволов, мухомо-

ров и поганок видна была красная, оскаленная пасть и зеленые глаза волка.

О неминуемом убийстве знал один лишь Давид. Он ударял кулаком по столу, прикрывал ладонью от волка полянку, но он понимал, что не может оградить козленка.

Ночью он кричал:

— Мама, мама, мама!

Мать, проснувшись, подходила к нему, как облако в ночном мраке, — и он блаженно зевал, чувствуя, что самая большая сила в мире защищает его от тьмы ночного леса.

Когда он стал старше, его пугали красные собаки из "Книги Джунглей". Как-то ночью комната наполнилась красными хищниками, и Давид пробрался босыми ногами по выступавшему ящику комода в постель к матери.

Когда у Давида бывала высокая температура, у него появлялся один и тот же бред: он лежал на песчаном морском берегу, и крошечные, величиной с самый маленький мизинчик, волны щекотали его тело. Вдруг на горизонте поднималась синяя бесшумная гора воды, она все нарастала, стремительно приближалась. Давид лежал на теплом песочке, черносиняя гора воды надвигалась на него. Это было страшней волка и красных собак.

Утром мама уходила на работу. Он шел на черную лестницу и выливал в банку из-под крабовых консервов чашку молока, об этом знала худая побирушка-кошка с тонким, длинным хвостом, с бледным носом и заплаканными глазами. Однажды соседка сказала, что на рассвете приезжали люди с ящиком и отвратительную кошку-нищенку, слава Богу, наконец увезли в институт.

— Куда я пойду, где этот институт? Ведь это совершенно немыслимо, забудь ты об этой несчастной кошке, — говорила мама и смотрела в его умоляющие глаза. — Как ты будешь жить на свете? Нельзя быть таким ранимым.

Мать хотела его отдать в детский летний лагерь, он плакал, умолял ее, всплескивал в отчаянии руками и кричал:

— Обещаю тебе поехать к бабушке, только не в этот лагерь!

Когда мать везла его к бабушке на Украину, он в поезде почти ничего не ел — ему казалось стыдно кушать крутое яйцо или взять из засаленной бумажки котлету.

У бабушки мама пожила с Давидом пять дней и собралась обратно на работу. Он простился с ней без слез, только так сильно обнял руками за шею, что мама сказала:

— Задушишь, глупенький. Здесь столько клубники дешевой, а через два месяца я приеду за тобой.

Возле дома бабушки была остановка автобуса, ходившего из города на кожевенный завод. По-украински остановка называлась — зупинка.

Покойный дедушка был бундовцем, знаменитым человеком, он когда-то жил в Париже. Бабушку за это уважали и часто выгоняли со службы.

Из открытых окон слышалось радио: "Увага, увага, говорить Кыив..."

Днем улица была пустынна, она оживлялась, когда шли по ней студенты и студентки кожевенного техникума, кричали друг другу через улицу: "Белла, ты сдала? Яшка, приходи готовить марксизм!"

К вечеру возвращались домой рабочие кожзавода, продавцы, монтер из городского радиоцентра Сорока. Бабушка работала в местном поликлиники.

Давид в отсутствие бабушки не скучал.

Возле дома, в старом, никому не принадлежавшем фруктовом саду, среди дряхлых бесплодных яблонь, паслась пожилая коза, бродили меченые краской куры, всплывали по травинкам немые муравьи. Шумно, уверенно вели себя в саду горожане — вороны, воробьи, и как робкие деревенские дивчины чувствовали себя залетевшие в сад полевые птицы, чьих имен Давид не знал.

Он услышал много новых слов: глетчик... дикт... калюжа... ряженка... ряска... пужало... лядаче... кошенья... В этих словах он узнавал отзвуки и отражения родной ему русской речи. Он услышал еврейскую речь и был поражен, когда мама и бабушка заговорили при нем по-еврейски. Он никогда не слышал, чтобы мать говорила на языке, непонятном ему.

Бабушка привела Давида в гости к своей племяннице, толстой Ревекке Бухман. В комнату, поразившую Давида обилием плетеных белых занавесок, вошел бухгалтер Госбанка Эдуард Исаакович Бухман, одетый в гимнастерку и в сапоги.

— Хаим, — сказала Ревекка, — вот наш московский гость, сын Раи. — И тут же прибавила: — Ну, поздоровайся с дядей Эдуардом.

Давид спросил главного бухгалтера:

— Дядя Эдуард, почему тетя Ревекка вас называет Хаим?

— О, вот это вопрос, — сказал Эдуард Исаакович. — Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы — Эдуарды?

Потом заскреблась кошка, и когда, наконец, ей удалось когтями распахнуть дверь, все увидели посреди комнаты девочку с озабоченными глазами, сидевшую на горшке.

В воскресенье Давид пошел с бабушкой на базар. По дороге шли старухи в черных платках и заспанные, угрюмые железнодорожные проводницы, надменные жены районных руководителей с синими и красными сумками, шли деревенские женщины в сапогах-чоботах.

Еврейские нищие кричали сердитыми грубыми голосами — казалось, им подавали милостыню не из жалости, а от страха. А по булыжной мостовой ехали колхозные грузовики-полуторки с мешками картошки и отрубей, с плетеными клетками, в которых сидели куры, вскрикивавшие на ухабах, как старые болезненные еврейки.

Больше всего привлекал и приводил в отчаяние, ужасал мясной ряд. Давид увидел, как с подводы стаскивали тело убитого теленка с полуоткрытым бледным ртом, с курчавой белой шерсткой на шее, запачканной кровью.

Бабушка купила пестренькую, молодую курицу и понесла ее за ноги, связанные белой тряпочкой, и Давид шел рядом и хотел ладонью помочь курице поднять повыше бессильную голову, и поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость.

Давид вспомнил непонятные ему мамины слова о том, что родня со стороны дедушки — интеллигентные люди, а вся родня со стороны бабушки — мещане и торгаша. Наверное, потому бабушка не жалела курицу.

Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в ермолке, и бабушка заговорила с ним по-еврейски. Старичок взял курицу на руки, стал бормотать, курица доверчиво кудахтнула, потом старик сделал что-то очень быстрое, незаметное, но, видимо, ужасное, швырнул курицу через плечо — она вскрикнула и побежала, хлопая крыльями, и мальчик увидел, что у нее нет головы, — бежало одно безголовое туловище, — старичок убил ее. Пробежав несколько шагов, туловище упало, царапая сильными молодыми лапами землю, и перестало быть живым.

Ночью мальчику казалось, что в комнату проник сырой запах, идущий от убитых коров и их зарезанных детей.

Смерть, жившая в нарисованном лесу, где нарисованный волк подкрадывался к нарисованному козленку, ушла в этот день со страниц сказки. Он почувствовал впервые, что и он смертен, не по-сказочному, а в самом деле, с невероятной очевидностью.

Он понял, что когда-нибудь умрет его мама. Смерть придет к нему и к ней не из сказочного леса, где в полумраке стоят ели, — она придет из этого воздуха, из жизни, из родных стен, и от нее нельзя

спрятаться.

Он ощутил смерть с той ясностью и глубиной, которая доступна лишь маленьким детям да великим философам, чья сила мысли приближается к простоте и силе детского чувства.

От стульев с просиженными сиденьями, на которые были положены фанерные дощечки, от толстого платяного шкафа шел спокойный, добрый запах, такой же, как от бабушкиных волос, платья. Теплая, обманно спокойная ночь стояла вокруг.

49

В это лето жизнь сошла с граней кубиков, с картинок, нарисованных в букварях. Он увидел, какой синевой горит черное крыло селезня и сколько веселой насмешливости в его улыбке и побрякивании. Белые черешни светлели среди листвы, и он влез по шершавому стволу и дотянулся до ягоды, сорвал ее. Он подошел к теленку, привязанному на пустыре, и протянул ему кусочек сахара, — окаменев от счастья, увидел милые глаза огромного младенца.

Рыжий Пынчик подошел к Давиду и, ослепительно картавя, предложил:

— Давай деррруться!

Евреи и украинцы в бабушкином дворе походили друг на друга. Старуха Партыньская заходила к бабушке и протяжно говорила:

— Чи вы чули, Роза Нусиновна, Соня едет в Киев, опять помирилась с мужем.

Бабушка, всплескивая руками, смеясь, отвечала:

— Ну, вы бачили комедию.

Этот мир казался Давиду милей, лучше, чем улица Кирова, где в асфальтированном колодце гуляла с пуделем завитая, раскрашенная старуха по фамилии Драко-Дракон, где возле парадного по утрам стоял автомобиль ЗИС-101, где соседка в пенсне, с папиросой в крашенных губах, с бешенством шептала над

коммунальной газовой плитой: "Троцкистка, ты опять сдвинула с камфорки мое кофе".

Мама его вела ночью с вокзала. Они прошли по освещенной луной булыжной улице мимо белого костела, где в нише стоял худенький, ростом с двенадцатилетнего мальчика, склоненный в терновом венке Иисус Христос, мимо педтехникума, где когда-то училась мама.

Через несколько дней, в пятницу вечером, Давид увидел, как старики шли в синагогу в золотистой пыли, поднятой на пустыре босыми футболистами.

Пронзительная прелесть родилась из этого соединения украинских белых хат, скрипящих колодезных журавлей и ветхих узоров на бело-черных молитвенных одеждах, кружащих голову бездомной библейской стариной. И тут же рядом "Кобзарь", Пушкин и Толстой, учебники физики, "Детская болезнь левизны в коммунизме", приехавшие с гражданской войны сыновья сапожников и портных, тут же рядом инструктора райкомов, склочники и трибуны из райпрофсоветов, водители грузовиков, агенты уголовного розыска, лекторы по марксизму.

Приехав к бабушке, Давид узнал, что мама его несчастна. Первой ему сказала об этом толстая, с такими красными щеками, словно ей всегда стыдно, тетя Рахиль:

— Бросить такую чудную женщину, как твое мать, чтоб вин уже не дождал.

А через день Давид уже знал, что папа его ушел к русской женщине, которая старше его на восемь лет, что он зарабатывает в филармонии две с половиной тысячи в месяц, что мама отказалась от алиментов и живет только на то, что сама зарабатывает — триста десять рублей в месяц.

Давид однажды показал бабушке кокон, хранившийся в спичечной коробке.

Но бабушка сказала:

— Фе, зачем тебе эта гадость, выкинь ее скоренько.

Два раза Давид ходил на товарную станцию,

смотрел, как грузят в вагоны быков, баранов, свиней. Он слышал, как бык громко замычал, то ли он жаловался, то ли просил жалости. Душа мальчика наполнилась ужасом, а мимо вагона шли железнодорожные рабочие в оборванных замасленных куртках и не повернули утомленных, худых лиц в сторону кричащего быка.

Через неделю после приезда Давида бабушкина соседка, Дебора, жена рабочего-слесаря с завода сельскохозяйственных машин, Лазаря Янкелевича, родила первенца. В прошлом году Дебора поехала гостить к сестре в Колыму, и ее во время грозы ударило молнией; ее откачивали, засыпали землей, и она два часа лежала, как неживая, а этим летом родила ребенка. Пятнадцать лет она не имела детей. Об этом бабушка рассказала Давиду, добавила:

— Так говорят люди, но ей, кроме того, делали в прошлом году операцию.

И вот бабушка с Давидом зашли к соседям.

— Ну, Лузя, ну, Деба, — сказала бабушка, поглядев на двуногого зверька, лежавшего в бельевой корзине. Она произнесла эти слова каким-то грозным голосом, точно предупреждая, чтобы отец и мать никогда не относились легкомысленно к случившемуся чуду.

В маленьком доме у железной дороги жила старуха Соргина с двумя сыновьями, глухонемыми парикмахерами. Их боялись все соседи, и старая Партынская рассказывала Давиду:

— Воны тихи, тихи, докы не напьються. А як выпьють — кыдаються друг на друга, пидхватят ножи и крычать, верещать як кони!

Как-то бабушка послала с Давидом библиотекарьше Мусе Борисовне баночку сметаны... Комната у нее была крошечная. На столе стояла маленькая чашечка, к стене была прибита маленькая полочка, на ней стояли маленькие книжки, а над кроватью висела маленькая фотография. На фотографии была снята мама с Давидом, завернутым в пеленочку. Когда Давид посмотрел на фотографию, Муся Борисовна

покраснела и сказала:

— Мы с твоей мамой сидели на одной парте.

Он прочел ей вслух басню про стрекозу и муравья, а она прочитала ему тихим голосом начало стихотворения: "Плакала Саша, как лес вырубали..."

Утром двор гудел: у Соломона Слепого ночью украли шубу, зашитую на лето и пересыпанную нафталином.

Когда бабушка узнала о пропаже шубы у Слепого, она сказала:

— Слава Богу, хоть чем-нибудь этого разбойника наказать.

Давид узнал, что Слепой был доносчиком, и когда происходило изъятие валюты и золотых пятерок, он выдал много людей. А в тридцать седьмом году он снова выдавал людей. Из тех, кого он выдал, двое были расстреляны, а один умер в тюремной больнице.

Ужасные ночные шорохи, невинная кровь и пение птиц, все соединилось в кипящую, обжигающую кашу. Понять ее Давид смог бы через много десятков лет, но жгущую прелесть и ужас ее он день и ночь ощущал своим маленьким сердцем.

50

Для забоя зараженного скота проводятся подготовительные меры — транспортировка, концентрация в пунктах забоя, инструктаж квалифицированных рабочих, открытие траншей и ям.

Население, помогающее властям доставлять зараженный скот на пункты забоя либо помогающее ловить разбежавшуюся скотину, делает это не из ненависти к телятам и коровам, а из чувства самосохранения.

При массовом забое людей кровожадная ненависть к подлежащим уничтожению старикам, детям, женщинам также не охватывает население. Поэтому кампании по массовому забою людей необходимо подготовить по-особому. Здесь недостаточно чувства само-

сохранения, здесь необходимо возбудить в населении отвращение и ненависть.

Именно в такой атмосфере отвращения и ненависти готовилось и проводилось уничтожение украинских и белорусских евреев. В свое время на этой же земле, мобилизовав и раздув ярость масс, Сталин проводил кампанию по уничтожению кулачества как класса, кампанию по истреблению троцкистско-бухаринских выродков и диверсантов.

Опыт показал, что большая часть населения при таких кампаниях становится гипнотически послушна всем указаниям властей. В массе населения есть меньшая часть, создающая воздух кампании: кровожадные, радующиеся и злорадствующие идейные идиоты либо заинтересованные в сведении личных счетов, в грабеже вещей и квартир, в открывающихся вакансиях. Большинство людей, внутренне ужасаясь массовым убийствам, скрывает свое душевное состояние не только от своих близких, но и от самих себя. Эти люди заполняют залы, где происходят собрания, посвященные истребительным кампаниям, и, как бы ни были часты эти собрания, вместительны эти залы, — почти не бывало случаев, чтобы кто-либо нарушил молчаливое единогласие голосования. И, конечно, еще меньше бывало случаев, когда человек при виде подозреваемой в бешенстве собаки не отвел бы глаз от ее молящего взора, а приютил бы эту подозреваемую в бешенстве собаку в доме, где живет со своей женой и детьми. Но все же были такие случаи.

Первая половина двадцатого века будет отмечена как эпоха великих научных открытий, революций, грандиозных социальных преобразований и двух мировых войн.

Но первая половина двадцатого века войдет в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоев еврейского населения, основанного на социальных и расовых теориях. Современность с понятной скромностью молчит об этом.

Одной из самых удивительных особенностей чело-

веческой натуры, вскрытой в это время, оказалась покорность. Были случаи, когда к месту казни устанавливались огромные очереди и жертвы сами регулировали движение очередей. Были случаи, когда ожидать казни приходилось с утра до поздней ночи, в течение долгого жаркого дня, и матери, знавшие об этом, предусмотрительно захватывали бутылочки с водой и хлеб для детей. Миллионы невинных, чувствуя приближение ареста, заранее готовили сверточки с бельем, полотенчиком, заранее прощались с близкими. Миллионы жили в гигантских лагерях, не только построенных, но и охраняемых ими самими.

И уже не десятки тысяч, и даже не десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями: когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное.

Конечно, было сопротивление, было мужество и упорство обреченных, были восстания, была самопожертвенность, когда для спасения далекого, незнакомого человека другой человек рисковал своей жизнью и жизнью своей семьи. И все же неоспоримой оказалась массовая покорность!

О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет — эта покорность говорит о новой ужасной силе, действовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.

Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет злое, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности, соглашается делить людей на чистых, достойных и на нечистых, недостойных. Страсть к самосохранению выразилась в соглашательстве ин-

стинкта и совести.

В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса.

И с инстинктом жизни, наряду с гипнотической силой великих идей, работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневности.

Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного преклонения, восторга.

Чем иным можно объяснить рассуждения некоторых мыслящих, интеллигентных евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья человечества и что они, сознав это, готовы вести на убийные пункты своих собственных детей, — ради счастья родины они готовы принести жертву, которую когда-то совершил Авраам.

Чем иным можно объяснить то, что поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца.

Одним из средств воздействия фашизма на человека является его полное или почти полное ослепление. Человек не верит, что его ждет уничтожение. Удивительно, насколько велик был оптимизм стоявших на краю могилы. На почве безумной, порой нечистой, а порой подлой надежды возникала покорность, соответствующая этой надежде, — жалкая, а порой и подлая.

Варшавское восстание, восстание в Трехлинке, восстание в Собиборе, малые бунты и восстания бреннеров — возникали из суровой безнадежности.

Но, конечно, полная и ясная безнадежность порождала не одни восстания и сопротивления, она порож-

дала и неведомое нормальному человеку стремление быть подвергнутым казни.

Ведь люди спорили из-за очереди к кровавому рву, и в воздухе слышался возбужденный, безумный, почти ликующий голос:

— Евреи, не бойтесь, ничего страшного, пять минут и готово!

Все, все рождало покорность — и безнадежность, и надежда. Ведь люди одинаковой судьбы не одинаковы по характеру.

Нужно задуматься над тем, что должен пережить и испытать человек, чтобы дойти до счастливого сознания скорой казни. Об этом следует задуматься многим людям, особенно тем, кто склонен поучать, как следовало бороться в условиях, о которых, по счастливому случаю, этот пустой учитель не имеет представления.

Установив покорность человека перед беспредельным насилием, нужно сделать последний вывод, имеющий значение для понимания человека, его будущего.

Претерпевает ли природа человека изменение, становится ли она другой в котле тоталитарного насилия? Теряет ли человек присущее ему стремление быть свободным? В ответе этом — судьба человека и судьба тоталитарного государства. Изменение самой природы человека сулит всемирное и вечное торжество диктатуре государства, в неизменности человеческого стремления к свободе — приговор тоталитарному государству.

Вот великое восстание в Варшавском гетто, в Трешлинке и Собиборе и огромное партизанское движение, полыхавшее в десятках поработанных Гитлером стран, послесталинские — Берлинское восстание в 1953 году и Венгерское восстание 1956 года, восстания, охватившие сибирские и дальневосточные лагеря после смерти Сталина, возникшие в ту же пору польские волынки, студенческое движение протеста против подавления свободы мысли, прокатив-

шееся по многим городам, забастовки на многих заводах показали неистребимость присущего человеку стремления к свободе. Оно было подавлено, но оно существовало. Человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе своей.

Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, непрекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие есть основа тоталитаризма. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего.

51

Электрическая машина ведет математические расчеты, запоминает исторические события, играет в шахматы, переводит книги с одного языка на другой. Она превосходит человека в способности быстро решать математические задачи, память ее безупречна.

Есть ли предел прогресса, создающего машину по образу и подобию человека? Видимо, нет этого предела.

Можно представить себе машину будущих веков и тысячелетий. Она будет слушать музыку, оценивать живопись, сама рисовать картины, создавать мелодии, писать стихи.

Есть ли предел ее совершенству? Сравнится ли оно с человеком, превзойдет ли его?

Все новых и новых приростов электроники, веса и площадей будет требовать воспроизведение машиной человека.

Воспоминание детства... слезы счастья... горечь разлуки... любовь к свободе... жалость к больному щенку... мнительность... материнская нежность... мысли о смерти... печаль... дружба... любовь к слабым... внезапная надежда... счастливая догадка...

грусть... беспричинное веселье... внезапное смятение...

Все, все воссоздаст машина! Но ведь площади всей земли не хватит для того, чтобы разместить машину, все увеличивающуюся в размере и весе, по мере того как она будет воссоздавать особенности разума и души среднего, незаметного человека.

Фашизм уничтожил десятки миллионов людей.

Часть вторая, главы 29 — 32

29

У рейхсфюрера СС Гиммлера предполагалось совещание по специальным мероприятиям, проводимым Главным имперским управлением безопасности. Совещанию придавалось особое значение, оно связывалось с поездкой Гиммлера в полевую Ставку вождя.

Оберштурмбаннфюрер Лисс получил распоряжение из Берлина доложить о ходе строительства специального объекта, расположенного вблизи лагерного управления.

Прежде чем приступить к осмотру объекта, Лисс должен был поехать на механические заводы фирмы Фосс и на химическую фабрику, выполнявшую заказы Управления безопасности. Затем Лиссу предлагалось доложить в Берлине о положении дел оберштурмбаннфюреру СС Эйхману, ответственному за подготовку совещания.

Командировка обрадовала Лисса, его тяготила лагерная обстановка, постоянное общение с грубыми, примитивными людьми.

Садясь в машину, он вспомнил о Мостовском.

Вероятно, старик, сидя в изоляторе, день и ночь старается разгадать, с какой целью вызывал его Лисс, напряженно ждет.

Всего лишь потребность проверить кое-какие мыс-

ли, да вот желание написать работу: "Идеология врага и ее лидеры".

Какой интересный характер! Действительно, когда влезаешь в ядро атома, на тебя начинают действовать не только силы отталкивания, но и силы притяжения.

Автомобиль выехал за ворота лагеря, и Лисс забыл о Мостовском.

На следующий день рано утром Лисс приехал на заводы Фосса.

Позавтракав, Лисс разговаривал в кабинете Фосса с конструктором Прашке, затем он разговаривал с инженерами, руководившими производством; в конторе коммерческий директор ознакомил его с калькуляцией стоимости заказанных агрегатов.

Он провел несколько часов в заводских цехах, путешествовал среди грохота металла и к концу дня очень устал.

Завод Фосса выполнял важную часть заказа Управления безопасности, и Лисс остался доволен — руководители предприятия вдумчиво отнеслись к делу, технические условия выполнялись точно, инженеры-механики усовершенствовали конструкцию транспортеров, теплотехники разработали наиболее экономичную схему работы печей.

После тяжелого дня на заводе вечер в семье Фосса показался особенно приятным.

Посещение химической фабрики разочаровало Лисса: в производстве оказалось лишь немногим больше сорока процентов запланированного химиката.

Люди на фабрике раздражали Лисса своими многочисленными жалобами: производство сложно и капризно; во время воздушного налета испортилась вентиляция, и в цехе произошло массовое отравление рабочих; кизельгур, которым пропитывается стабилизированная продукция, поступает нерегулярно; герметическая тара задерживается на железной дороге...

Однако в дирекции химического общества ясно представляли себе значение заказа Управления безопасности. Главный химик акционерного общества, док-

тор Кирхгартен, сказал Лиссу, что заказ Управления безопасности будет выполнен в срок. Правление пошло на то, чтобы притормозить выполнение заданий Министерства боеприпасов — случай беспрецедентный начиная с сентября 1939 года.

Лисс отказался присутствовать на ответственном испытании в лаборатории химического объединения, но просмотрел протоколы, подписанные физиологами, химиками и биохимиками.

В этот же день Лисс встретился с научными работниками, проводившими испытания, — это были молодые ученые, две женщины — физиолог и биохимик, врач патологоанатом, химик — специалист по органическим соединениям с низкой температурой кипения, руководитель группы — токсиколог, профессор Фишер. Участники совещания произвели на Лисса прекрасное впечатление.

Хотя все они были заинтересованы в том, чтобы разработанная ими методика была одобрена, они не скрыли от Лисса слабые стороны своей работы и свои сомнения.

На третий день Лисс на самолете вместе с инженером монтажной фирмы Оберштайна вылетел на стройку. Он чувствовал себя хорошо, поездка развлекала его. Впереди предстояло самое приятное — после осмотра строительства он должен был вместе с техническими руководителями стройки выехать в Берлин — доложить в Главном управлении безопасности о положении дел.

Погода была скверная, лил холодный ноябрьский дождь. Самолет с трудом приземлился на центральном лагерном аэродроме — на небольшой высоте началось обледенение крыльев, над землей стлался туман. На рассвете шел снег, и кое-где на комьях глины лежали серые, не смытые дождем, осклизлые пятна снега.

Поля фетровых шляп у инженеров поникли, пропитавшись ртутно-тяжелым дождем.

К строительной площадке были проложены желез-

нодорожные пути — они связывались непосредственно с главной магистралью.

Вблизи железной дороги располагались складские помещения. С них начался инспекторский осмотр. Под навесом происходила сортировка грузов — детали различных механизмов, рештаки и разобранные части роликовых конвейерных устройств, трубы разного диаметра, воздухоудные и вентиляционные устройства, кстеизмельчающие шаровые мельницы, газоизмерительная и электроизмерительная контрольная аппаратура, еще не вмонтированная на пультах, мотки кабеля, цемент, самопрокидывающиеся вагонетки, горы рельсов, конторская мебель.

В особых, охраняемых чинами СС, помещениях с множеством вытяжных устройств и низко гудящими вентиляторами находился склад начавшей поступать продукции химического объединения — баллоны с красными вентилями и пятнадцаткилограммовые банки с красно-синими наклейками, издали похожие на банки с болгарским джемом.

Выходя из этого наполовину вдавленного в землю помещения, Лисс и его спутники встретились с только что прибывшим поездом из Берлина главным проектировщиком комбината профессором Штальгангом и с начальником работ инженером фон-Рейнеке, огромным мужчиной в желтой кожаной куртке.

Штальганг хрипло дышал, сырой воздух вызвал у него приступ астмы. Окружившие Штальганга инженеры стали укорять его, что он не бережется; все они знали, что альбом работ Штальганга находится в личной библиотеке Гитлера.

Площадка строительства ничем не отличалась от обычных для середины двадцатого века циклопическихстроек.

Вокруг котлованов слышались свистки часовых, скрежет экскаваторов, движение кранов, птичий крик паровозиков.

Лисс и его спутники подошли к прямоугольному, серому, без окон зданию. Весь ансамбль промышлен-

ных зданий, печей из красного кирпича, широкожерлых труб, диспетчерских башенок и башен охраны со стеклянными колпаками — все тянулось к этому серому, слепому и безлобому зданию.

Рабочие-дорожники заканчивали асфальтирование дорожки — из-под катков шел серый, горячий дым, смешивался с серым, холодным туманом.

Рейнеке сказал Лиссу, что при проверке объекта № 1 на герметичность результаты оказались неудовлетворительными. Штальганг возбужденным сиплым голосом, забывая о своей астме, разъяснял Лиссу архитектурную идею нового сооружения.

При кажущейся простоте и малых габаритах обычная промышленная гидротурбина является средоточием огромных сил, масс и скоростей, в ее витках геологическая мощь воды преобразуется в работу.

По принципу турбины построено и это сооружение. Оно превращает жизнь и все виды связанной с ней энергии в неорганическую материю. В турбине нового типа нужно преодолеть силу психической, нервной, дыхательной, сердечной, мышечной, кроветворной энергии. В новом сооружении соединены принципы турбины, скотобойни, мусоросжигательного агрегата. Все эти особенности надо было объединить в простом архитектурном решении.

— Наш дорогой Гитлер, — сказал Штальганг, — как известно, при осмотре самых прозаичных промышленных объектов не забывает об архитектурной форме.

Он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Лисс.

— Вы ведь знаете, что увлечение мистической стороной архитектурного оформления лагерей под Варшавой принесло большие неприятности рейхсфюреру. Все это необходимо было учесть.

Внутреннее устройство бетонной камеры соответствовало эпохе промышленности больших масс и скоростей.

Втекая в подводящие каналы, жизнь, подобно воде, уже не могла ни остановиться, ни потечь

обратно, скорость ее движения по бетонному коридору определялась формулами, подобными формуле Стокса о движении жидкости в трубе, зависящем от плотности, удельного веса, вязкости, трения, температуры. Электрические лампы были вделаны в потолок и защищены толстым, мутно-прозрачным стеклом.

Чем дальше, тем свет становился ярче, и у входа в камеру, прегражденного полированной стальной дверью, слепил своей сухой белизной.

У двери царило то особое возбуждение, которое всегда возникает у строителей и монтажников перед пуском нового агрегата. Чернорабочие мыли шлангами пол. Пожилой химик в белом халате производил у закрытой двери замеры давления. Рейнеке приказал открыть дверь камеры. Войдя в просторный зал с низко нависшим бетонным небом, некоторые инженеры сняли шляпы. Пол камеры был составлен из тяжелых раздвижных плит, оправленных в металлические рамы и плотно сходящихся одна с другой. При действии механизма, управляемого из диспетчерской, плиты, составлявшие пол, становились вертикально, и содержимое камеры уходило в подземные помещения. Там органическое вещество подвергалось обработке бригадами стоматологов, они извлекали ценные металлы, используемые для протезирования. После этого приводилась в действие лента транспортера, ведущего к кремационным печам, где потерявшее мышление и чувствительность органическое вещество под действием тепловой энергии терпело дальнейшее разрушение — превращалось в фосфорные туки, известь и золу, аммиак, углекислый и сернистый газы.

К Лиссу подошел офицер связи, протянул ему телеграмму. Все увидели, как стало угрюмо лицо оберштурмбаннфюрера, прочитавшего телеграмму.

Телеграмма извещала Лисса о том, что оберштурмбаннфюрер СС Эйхман встретится с ним на строительстве сегодня ночью, он выехал машиной по мюнхенской автостраде.

Рухнула поездка Лисса в Берлин. А он рассчитывал будущую ночь провести у себя на даче, где жила больная, тоскующая по нем жена. Перед сном он бы посидел в кресле, надев на ноги мягкие туфли, и на час-два, в тепле и уюте, забыл бы о суровом времени. Как приятно ночью в постели на загородной даче прислушиваться к далекому гулу зенитных орудий берлинской ПВО.

А вечером, в Берлине, после доклада на Принц-Альбертштрассе и перед отъездом за город, в тихий час, когда не бывает воздушных тревог и налетов, он собирался навестить молодую референтку Института философии, она одна знала, как тяжело ему живется, какая смута в его душе. У него были уложены в портфель для этой встречи бутылка коньяка и коробка шоколада. Теперь все это рухнуло.

Инженеры, химики, архитекторы смотрели на него — какие тревоги заставляют хмуриться инспектора Главного управления безопасности? Кто мог знать это?

Людям мгновениями казалось, что камера уже не подчиняется своим создателям, а ожила, живет своей бетонной волей, бетонной жадностью, начнет выделять токсины, жеванет стальной дверной челюстью, станет пищеварить.

Штальганг подмигнул Рейнеке и шепотом сказал:

— Вероятно, Лисс получил сообщение, что группен-фюрер примет его доклад здесь, я-то об этом знал еще утром. А у него лопнул отдых в семье и, вероятно, встреча с какой-нибудь милой дамой.

30

Лисс встретился с Эйхманом ночью.

Эйхману было лет тридцать пять. Перчатки, фуражка, сапоги, три предмета, воплотившие в себе поэзию, надменность и превосходство германского оружия, походили на те, что носил рейхсфюрер СС Гиммлер.

Лисс знал семью Эйхманов с довоенных лет, они были земляками. Лисс, учась в Берлинском университете, работая в газете, потом в философском журнале, изредка навещал родной город, узнавал о своих гимназических сверстниках. Одни поднимались на общественной волне, затем волна уходила, и успех исчезал, и тогда другим улыбались известность, материальные удачи. А молодой Эйхман неизменно жил тускло и однообразно. Орудия, бывшие под Верденом, и вот-вот, казалось, рождавшаяся победа, поражение и инфляция, политическая борьба в Рейхстаге, вихрь левых, сверхлевых направлений в живописи, театре, музыке, новые моды и крушения новых мод — ничто не меняло его однообразного бытия.

Он работал агентом провинциальной фирмы. В семье и в своих отношениях к людям он бывал в меру груб и в меру внимателен. Все большие дороги в жизни были забиты шумной, жестикулирующей, враждебной ему толпой. Всюду он видел отталкивающих его, быстрых, юрких людей с блестящими темными глазами, ловких и опытных, снисходительно усмехавшихся в его сторону...

В Берлине, после окончания гимназии, ему не удалось устроиться. Директора контор и владельцы столичных фирм говорили ему, что, к сожалению, вакансия закрыта, а Эйхман стороной узнавал, что вместо него принят какой-то гнилой человечек неясной национальности, не то поляк, не то итальянец. Он пробовал поступить в университет, но несправедливость, царившая там, помешала ему. Он видел, что экзаменаторы, глядя на его светлоглазое полное лицо, светлый ежик волос, на короткий прямой нос, становились скучными. Казалось, их тянуло к длинномордым, темноглазым, сутулым и узкоплечим, к дегенератам. Не он один был отброшен обратно в провинцию. Это была судьба многих. Порода людей, царившая в Берлине, встречалась на всех этажах общества. Но больше всего эта порода плодилась в потерявшей национальные черты космополитической

интеллигенции, не делавшей разницы между немцем и итальянцем, немцем и поляком.

Это была особая порода, странная раса, подавлявшая всех, кто пытался соревноваться с ней умом, образованностью, насмешливым безразличием. Ужасно было безысходное ощущение живой и не агрессивной умственной мощи, исходившей от этой породы, — эта мощь проявлялась в странных вкусах этих людей, в их быте, в котором соблюдение моды соединялось с неряшливостью и с безразличием к моде, в их любви к животным, соединенной с их совершенно городским образом жизни, в их способности к абстрактному мышлению, соединенной со страстью к грубому в искусстве и быту... Эти люди двигали германскую химию красок и синтеза азота, исследования жестких лучей, производство качественной стали. Ради них приезжали в Германию иностранные ученые и художники, философы и инженеры. Но именно эти люди меньше всего походили на немцев, они болтались по всему свету, их дружеские связи были совсем не немецкими, их немецкое происхождение неясно.

Где уж тут было служащему провинциальной фирмы пытаться пробиться к лучшей жизни, хорошо, что он не голодал.

И вот он выходит из своего кабинета, закрыв в сейфе бумаги, о которых знают в мире три человека — Гитлер, Гиммлер, Кальтенбруннер. Черный большой автомобиль ждет его у подъезда. Часовые приветствуют его, адъютант распахивает дверцу машины — оберштурмбаннфюрер СС Эйхман уезжает. Шофер дает с места полный газ, и мощный гестаповский "хорх", почтительно приветствуемый городской полицией, поспешно включающей зеленые светофоры, поколесив по берлинским улицам, вырывается на автостраду. Дождь, туман, сигнальные знаки, плавные виражи автострады.

В Смолевичах среди садов стоят тихие домики, и трава растет на тротуарах. На улицах бердичевских Яток в пыли бегают грязные куры с желтыми

кадмиевыми ногами, меченные фиолетовыми и красными чернилами. На Подоле и на Васильковской в Киеве, в многоэтажных домах с немытыми окнами ступени лестниц истерты миллионами детских ботинок, стариковскими шлепанцами.

В Одессе во дворе стоит пестротелый платан, сохнет цветное белье, рубашки и кальсоны, дымится на мангалах тазы с кизилковым вареньем, кричат в люльках новорожденные со смуглой кожей, еще ни разу не видевшей солнца.

В Варшаве в костлявом, узкоплечем шестиэтажном доме живут швеи, переплетчики, домашние учителя, певицы из ночных кабаре, студенты, часовщики.

В Сталиндорфе вечером зажигается огонь в избах, ветер тянет со стороны Перекопа, пахнет солью, теплой пылью, мычат, мотая тяжелыми головами, коровы...

В Будапеште, в Фастове, в Вене, в Мелитополе и в Амстердаме, в особняках с зеркальными окнами, в домах, стоящих в фабричном дыму, жили люди еврейской нации.

Лагерная проволока, стены газовни, глина противотанкового рва объединили миллионы людей разных возрастов и профессий, языков, житейских и духовных интересов, фанатически верующих и фанатиков-атеистов, рабочих, тунеядцев, врачей и торговцев, мудрецов и идиотов, воров, идеалистов, созерцателей, добросердечных, святых и хапуг. Всех их ждала казнь.

Гестаповский "хорх" бежал, кружил по осенним автострадам.

31

Они встретились ночью. Эйхман прошел прямо в кабинет, задавая на ходу быстрые вопросы, сел в кресло.

— У меня мало времени, не позже завтрашнего дня

я должен быть в Варшаве.

Он уже побывал у коменданта лагеря, беседовал с начальником строительства.

— Как работают заводы, какие у вас впечатления от личности Фосса, на высоте ли, по-вашему, химики? — быстро спрашивал он.

Большие белые пальцы с большими розовыми ногтями перекладывали бумаги на столе, время от времени оберштурмбаннфюрер делал пометки автоматической ручкой, и Лиссу казалось, что Эйхман не различает особенности дела, вызывающего тайный холодок ужаса даже в каменных сердцах.

Лисс много пил все эти дни. Усилилась одышка, и по ночам он чувствовал свое сердце. Но ему казалось, что для здоровья зло от алкоголя меньше, чем зло от нервного напряжения, в котором он все время находился.

Он мечтал вернуться к изучению выдающихся деятелей, враждебных национал-социализму, решать жестокие и сложные, но бескровные задачи. Тогда он перестанет пить, будет выкуривать за день не больше двух-трех сигарет. Вот недавно он вызвал к себе ночью старого русского большевика, разыграл с ним партию политических шахмат и, вернувшись домой, спал без снотворного, проснулся в десятом часу утра.

Оберштурмбаннфюреру и Лиссу при ночном осмотре газовой камеры был устроен маленький сюрприз. Посреди камеры строители установили столик с вином и закусками, и Рейнеке пригласил Эйхмана и Лисса выпить бокал вина.

Эйхман рассмеялся милой выдумке и сказал:

— Я с удовольствием закушу.

Он передал фуражку своему охраннику и сел к столу. Его большое лицо вдруг стало добродушно-озабоченным, таким, каким оно становится у всех миллионов любящих покушать мужчин, когда они садятся за накрытый стол.

Рейнеке стоя разлил вино, и все взялись за бокалы, ожидая тост Эйхмана.

В этой бетонной тишине, в этих налитых бокалах было такое напряжение, что Лиссу казалось — сердце не выдержит его. Хотелось, чтобы громкий тост за немецкий идеал разрядил напряжение. Но напряжение не проходило, а росло — оберштурмбаннфюрер жевал бутерброд.

— Что ж вы, господа? — спросил Эйхман. — Прекрасная ветчина.

— Мы ждем хозяйского тоста, — сказал Лисс.

Оберштурмбаннфюрер поднял бокал.

— За дальнейшие служебные успехи, которые, мне кажется, достойны быть отмечены.

Он один почти ничего не пил и много ел.

Утром Эйхман делал в трусиках гимнастику перед открытым настежь окном. В тумане вырисовывались ровные ряды лагерных бараков, доносились паровозные гудки.

Лисс не завидовал Эйхману. У Лисса было высокое положение без высоких должностей — он считался умным человеком в Имперском управлении безопасности. Гиммлер любил беседовать с ним.

Высокопоставленные люди в большинстве случаев старались не показывать ему своего служебного превосходства. Он привык к тому, что его уважали не только в полиции безопасности. Имперское управление безопасности дышало и жило всюду — и в университете, и в подписи директора детского санатория, и на приемных пробах молодых певцов в опере, и в решении жюри, отбиравшего картины для весенней выставки, и в списке кандидатов при выборах в Рейхстаг.

Здесь был стержень жизни. Основой вечной правоты партии, победы ее логики либо нелогичности над всякой логикой, ее философии над всякой другой философией была работа государственной тайной полиции. Это была волшебная палочка! Стоило уронить ее, и волшебство исчезало — великий оратор превращался в болтуна, корифей науки — в популяризатора чужих идей. Эту волшебную палочку нельзя

было выпускать из рук.

Поглядывая на Эйхмана, Лисс в это утро впервые в жизни почувствовал шевеление завистливой тревоги.

За несколько минут до отъезда Эйхман задумчиво сказал:

— А ведь мы с вами земляки, Лисс.

Они стали перечислять приятные им названия городских улиц, ресторанов, кино.

— Кое-где, конечно, я не бывал, — сказал Эйхман и назвал клуб, в который сына владельца мастерской не пускали.

Лисс спросил, меняя предмет разговора:

— Скажите, можно, примерно, иметь представление, о каком количестве евреев идет речь?

Он знал, что задал сверхвопрос, может быть, три человека в мире, кроме Гиммлера и вождя, могли ответить на него.

Но именно после воспоминания о тяжелых молодых годах Эйхмана в пору демократии и космополитизма следовало спросить его о том, чего Лисс не знал, признаться в своем незнании.

Эйхман ответил.

Лисс, пораженный, спросил:

— Миллионов?

Эйхман пожал плечами.

Некоторое время они молчали.

— Я очень жалею, что мы не встретились с вами в пору студенчества, — сказал Лисс, — в годы учения, как сказано у Гете.

— Я не был берлинским студентом, я учился в провинции, не жалеете, — сказал Эйхман и добавил: — Цифру эту, земляк, я впервые произношу вслух. Если считать Берхтесгаден, Рейхсканцеляй и ведомство нашего рейхсфюрера, она была названа семь или восемь раз.

— Я понимаю, завтра мы не прочтем ее в газете.

— Я имею в виду именно газету, — сказал Эйхман.

Он с усмешкой поглядел на Лисса, и тот почувствовал тревогу от ощущения, что собеседник

умней его.

А Эйхман проговорил:

— Помимо того, что тихий наш городок весь утопает в зелени, была еще одна причина, по которой я назвал вам эту цифру. Мне хочется, чтобы она связывала нас для дальнейшей совместной работы.

— Благодарю, — сказал Лисс, — надо подумать, дело очень серьезное.

— Конечно. Предложение исходит не только от меня, — Эйхман поднял палец вертикально вверх. — Если вы разделите со мной труд, а Гитлер проиграет, мы будем висеть вместе — вы и я.

— Перспектива прекрасная, стоит подумать, — проговорил Лисс.

— Представляете, через два года мы вновь сядем в этой камере за уютный столик и скажем: "За двадцать месяцев мы решили вопрос, который человечество не решило за двадцать веков!"

Они простились. Лисс глядел вслед машине.

У него имелся свой взгляд на человеческие отношения в государстве. Жизнь в национал-социалистическом государстве не могла развиваться свободно, каждым ее шагом нужно было управлять.

Для того чтобы руководить дыханием людей, материнским чувством, кругом чтения, заводами, пением, армией, летними экскурсиями, нужны были вожаки. Жизнь ведь потеряла право расти, как трава, волноваться, как море. Вожак, казалось Лиссу, тяготели к четырем типам характеров.

Первый характер — цельные натуры, обычно лишённые остроты ума и способности к анализу. Эти люди ловили лозунги, формулы из газет и журналов, цитаты из речей Гитлера и статей Геббельса, из книг Франка и Розенберга. Они терялись, не чувствуя подпорок. Они не задумывались о связи явлений, проявляли жестокость и нетерпимость по любому поводу. Они все принимали всерьез: и философию, и национал-социалистическую науку, и туманные открытия, и достижения нового театра, и новую музыку,

и кампанию по выборам в Рейхстаг. Они, как школяры, зубрили в кружках "Mein Kampf", конспектировали доклады и брошюры. Обычно они были скромны в личной жизни, иногда испытывали нужду, чаще остальных категорий попадали в партийные мобилизации, отрывавшие их от семей.

Именно к этой категории, казалось сперва Лиссу, принадлежал и Эйхман.

Второй тип характеров — умные циники. Эти знали о существовании волшебной палочки. В проверенном кругу друзей они посмеивались над многим — над невежеством новых докторов и магистров, над ошибками и нравами ляйтеров и гауляйтеров. Они не смеялись только над вождем и над высокими идеалами. Эти люди обычно жили широко, много пили. На высших ступенях партийной иерархии эти характеры встречались чаще, чем на низших. Внизу царствовали характеры первого типа.

На самом верху, казалось Лиссу, царил третий характер, — там умещалось восемь-девять человек, и бывали допускаемы еще пятнадцать-двадцать, там существовал мир, лишенный догм, там свободно судили обо всем. Там не было идеалов, одна лишь математика, веселье, не ведающие жалости высокие мастера.

Иногда Лиссу казалось, что все в Германии происходит ради них и их блага.

Лисс заметил, что появление на вершине ограниченных людей всегда знаменовало начало зловещих событий. Мастера социальной механики возвышали догматиков, чтобы поручить им особо кровавые дела. Простаки временно упивались высшей властью, но обычно, закончив дела, исчезали, а иногда разделяли судьбу своих жертв. Наверху вновь оставались веселые мастера.

В простаках, характерах первого типа, имелось чрезвычайно ценное свойство — они были народны. Они не только цитировали классиков национал-социализма, но и говорили языком народа. Их грубость

казалась народной, крестьянской. Их шутки вызывали смех на рабочих собраниях.

Четвертый тип характеров: исполнители, полностью равнодушные к догме, идеям, философии, но также чуждые и аналитических способностей. Национал-социализм платил им, и они служили ему. Их единственной, высшей страстью были сервизы, костюмы, дачи, драгоценности, мебель, легковые машины, холодильники. Деньги они не очень любили, не верили в их прочность.

Лисс тяготел к высшим руководителям, мечтал об их обществе и о близости с ними, там, в царстве насмешливого ума, щегольской логики, он чувствовал себя легко, естественно, хорошо.

Но Лисс видел, что в страшной высоте, над высшими руководителями, над стратосферой был мир туманный, непонятный, неясный, мучающий своей алогичностью, — в этом высшем мире существовал вождь Адольф Гитлер.

В Гитлере, и это страшило Лисса, непонятным образом соединялось несоединимое — он был главой мастеров, сверхмехаником, шеф-монтером, обер-мастером, обладавшим высшей математической жестокостью, даже по сравнению со всеми своими ближайшими помощниками вместе взятыми. И в то же время в нем была догматическая исступленность, фанатическая вера и слепота веры, бычья нелогичность, которые Лисс встречал лишь на самых низких, полуподвальных этажах партийного руководства. Он, создатель волшебной палочки, первосвященник, был одновременно и темным, исступленным верующим.

И вот сейчас, глядя вслед уходящей машине, Лисс ощутил, что Эйхман неожиданно вызвал в нем то пугающее и влекущее, неясное чувство, которое вызывал в нем лишь один человек в мире — вождь немецкого народа Адольф Гитлер.

Антисемитизм проявляется разнообразно — он в насмешливом, брезгливом недоброжелательстве и в истребительных погромах.

Разнообразны виды антисемитизма — идейный, внутренний, скрытый, исторический, бытовой, физиологический; разнообразны формы его — индивидуальный, общественный, государственный.

Антисемитизм встретишь и на базаре, и на заседании Президиума Академии Наук, в душе глубокого старика и в детских играх во дворе. Антисемитизм без ущерба для себя перекочевал из поры лучины, парусных кораблей и ручных прялок в эпоху реактивных двигателей, атомных реакторов и электронных машин.

Антисемитизм никогда не является целью, антисемитизм всегда лишь средство, он мерило противоречий, не имеющих выхода.

Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных устройств и государственных систем. Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу, в чем ты сам виноват.

Ненависть к отечественному крепостному праву, даже в сознании борца за свободу, шлиссельбургского арестанта, крестьянина Олейничука, выражалась как ненависть к ляхам и жидам. И даже гениальный Достоевский увидел жида ростовщика там, где должен был различить безжалостные глаза русского подрядчика, крепостника и заводчика.

Национал-социализм, одарив вымышленное им мировое еврейство чертами расизма, жадной власти над миром, космополитическим безразличием к немецкой родине, навязал евреям свои собственные черты. Но это лишь одна из сторон антисемитизма.

Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе, всюду — в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм — мера человеческой бездарности. Государст-

ва ищут объяснения своей неудачливости в происках мирового еврейства. Но это одна из сторон антисемитизма.

Антисемитизм есть выражение несознательности народных масс, неспособных разобраться в причинах своих бедствий и страданий. В евреях, а не в государственном и общественном устройстве видят невежественные люди причины своих бедствий. Но и это массовое проявление антисемитизма одна из сторон его.

Антисемитизм — мерило религиозных предрассудков, тлеющих в низах общества. Но и это лишь одна из сторон антисемитизма.

Отвращение к внешности еврея, его речи, к его пище не есть, конечно, истинная причина физиологического антисемитизма. Ведь человек, с отвращением говорящий о курчавых волосах еврея, о его жестикуляции, восхищается черными, курчавыми волосами детей на картинах Мурильо, безразличен к гортанному говору, жестикуляции армян, дружелюбно поглядывает на синегубого негра.

Антисемитизм — явление особое в ряду преследований, которым подвергаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что историческая судьба евреев складывалась своеобразно, особо.

Подобно тому как тень человека дает представление о его фигуре, так и антисемитизм дает представление об исторической судьбе и пути евреев. История еврейства сплелась и соединилась со многими вопросами мировой политической и религиозной жизни. Это первая особенность еврейского национального меньшинства. Евреи живут почти во всех странах мира. Такое необычайно широкое распространение национального меньшинства в обоих полушариях земли представляет вторую особенность евреев.

В пору расцвета торгового капитала появились евреи торговцы и ростовщики. В пору расцвета промышленности многие евреи проявили себя в технике и промышленности. В атомную эру немало талантливых евреев работает по атомной физике.

В пору революционной борьбы немало евреев проявили себя как выдающиеся деятели революции. Они — то национальное меньшинство, которое не отбрасывается на общественную, географическую периферию, а стремится проявить себя на направлении главного движения в развитии идеологических и производительных сил. В этом третья особенность еврейского национального меньшинства.

Часть еврейского меньшинства ассимилируется, растворяется в коренном населении страны, а народная, широкая основа еврейства сохраняет национальное в языке, религии, быте. Антисемитизм сделал своим правилом изобличать ассимилированную часть еврейства в тайных национальных и религиозных устремлениях, а органическую часть еврейства, занимающуюся ремеслами, физическим трудом, делать ответственной за тех, кто участвует в революции, управлении промышленностью, в создании атомных реакторов, акционерных обществ и банков.

Названные особенности бывают присущи порознь тому или другому национальному меньшинству, но, кажется, одни лишь евреи объединили в себе все эти особенности.

Антисемитизм тоже отразил на себе эти особенности, он тоже слился с главными вопросами мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни. В этом зловещая особенность антисемитизма. Пламя его костров освещает самые ужасные времена истории.

Когда Возрождение вторглось в пустыню католического средневековья, мир тьмы зажег костры инквизиции. Их огонь осветил не только силу зла, но и картину гибели его.

В двадцатом веке обреченный гибели старый национальный уклад физически отсталых и неудачливых государств зажег костры Освенцима, люблинских и троблинских крематориев. Их пламя осветило не только краткое фашистское торжество, это пламя предсказало миру, что фашизм обречен. К антисеми-

тизму прибегают перед неминуемым свершением судьбы и всемирно-исторические эпохи, и правительства реакционных неудачливых государств, и отдельные люди, стремящиеся выправить свою неудачную жизнь.

Были ли случаи на протяжении двух тысячелетий, когда свобода, человечность пользовались антисемитизмом как средством своей борьбы? Может быть, и были, но я не знаю таких.

Бытовой антисемитизм — бескровный антисемитизм. Он свидетельствует, что в мире существуют завистливые дураки и неудачники.

В демократических странах может возникнуть общественный антисемитизм; он проявляется в прессе, представляющей те или иные реакционные группы, в действиях этих реакционных групп, например в бойкоте еврейского труда либо еврейских товаров, в религии и в идеологии реакционеров.

В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь государственным.

Государственный антисемитизм свидетельство того, что государство пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации — государство ограничивает евреев в выборе местожительства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в учебные заведения и получать научные звания, степени и т.д.

Затем государственный антисемитизм становится истребительным.

В эпохи, когда всемирная реакция вступает в гибельный для себя бой с силами свободы, антисемитизм становится для нее государственной, партийной идеей; так случилось в двадцатом веке, в эпоху фашизма.

В общежитии зондеркоманды, обслуживавшей газовую камеру, склады отравляющих веществ и кремационные печи, было тепло и покойно. Для заключенных, постоянно работавших на объекте № 1, были также созданы хорошие условия. У каждой кровати стоял столик, имелись графины с кипяченой водой, в проходе между нарами лежала ковровая дорожка.

Рабочие, обслуживавшие газовую камеру, были расконвоированы, обедали в особом помещении. Немцев из зондеркоманды кормили по ресторанной системе, каждый мог составить себе меню. Немцы в зондеркоманде получали внекатегорные оклады, почти втрое больше, чем соответствующие по званию военнослужащие в действующих частях. Их семьи пользовались жилищными льготами, продовольственным снабжением по высшим нормам, правом первоочередной эвакуации из угрожаемых с воздуха районов.

Солдат Розе дежурил у смотрового окошечка, и когда процесс заканчивался, Розе давал команду к разгрузке камеры. Кроме того, ему полагалось наблюдать за тем, чтобы дантисты работали добросовестно и аккуратно. Он несколько раз докладывал начальнику объекта, штурмбаннфюреру Кальтлфуту, о трудности одновременно выполнять оба задания; случалось, что пока Розе следит наверху за газированием, внизу, где работали дантисты и шла погрузка на транспортер, рабочие оставались без присмотра, начиналась мухлевка и воровство.

Розе привык к своей работе, он уже не волновался, как в первые дни, глядя в смотровое стекло. Его предшественника однажды застукали за занятием, которое подходило двенадцатилетнему мальчику, а не солдату СС, выполняющему особое задание. Розе вначале не понял, почему товарищи намекали на какие-то неприличия, лишь потом он узнал в чем дело.

Розе новая работа не нравилась, хотя он и привык к ней. Розе волновал тот непривычный почет, которым его окружали. Официантки в столовой спрашивали, почему он бледен. Всегда, сколько Розе помнит себя, мать плакала. Отца почему-то всегда увольняли, казалось, его принимали на работу реже, чем увольняли. Розе перенял от старших вкрадчивую, мягкую походку, которая никого не должна тревожить, перенял тревожную, приветливую улыбку, обращенную к соседям, владельцу дома, к кошке владельца дома, к директору школы и шуцману, стоящему на углу. Казалось, мягкость и приветливость были основными чертами его характера, и он сам удивлялся, сколько в нем жило ненависти, как мог он годами не проявлять ее.

Он попал в зондеркоманду; знаток человеческих душ — начальник — понял его мягкий, женственный характер.

Ничего привлекательного не было в том, чтобы наблюдать, как корчатся в камере евреи. Розе испытывал неприязнь к солдатам, которым работа на объекте нравилась. Чрезвычайно неприятен был военнопленный Жученко, дежуривший в утреннюю смену у входа в камеру. На его лице была все время какая-то детская и потому особо неприятная улыбка. Розе не любил своей работы, но он знал все явные и тайные выгоды ее.

Ежедневно к концу рабочего дня солидный человек, зубной врач, передавал Розе бумажный пакетик с несколькими золотыми коронками. Маленькие пакетики составляли ничтожную долю драгметалла, поступавшего в управление лагеря, но Розе уже дважды передавал жене около килограмма золота. Это было их светлое будущее — осуществление мечты о спокойной старости. Ведь в молодости он был слаб и робок, не мог по-настоящему бороться за жизнь. Он никогда не сомневался в том, что партия имеет одну лишь цель — благо слабых и малых людей. Он уже чувствовал на самом себе благотворные последствия политики Гитлера, ведь и он был слабый, маленький

человек, а жить ему и его семье стало несравненно легче, лучше.

43

В душе Антон Хмельков иногда ужасался своей работе, и вечерами, лежа на нарах и прислушиваясь к смеху Трофима Жученко, чувствовал тяжелую, холодную оторопь.

Руки Жученко с длинными и толстыми пальцами, которые закрывали герметический затвор камеры, всегда казались невымытыми, и неприятно было брать хлеб из хлебницы, к которой тянулся Жученко.

Жученко переживал счастливое волнение, выходя на утреннюю смену и поджидая колонну людей со стороны железной дороги. Движение колонны казалось ему нестерпимо медленным, и он издавал горлом тонкий, жалобный звук, и челюсти его слегка подергивались, как у кошки, что через оконное стекло следит за воробьями.

Для Хмелькова этот человек стал причиной беспокойства. Конечно, Хмельков тоже мог выпить и пьяным побаловаться с женщиной, ожидавшей очереди. Имелась лазейка, через которую работники зондеркоманды проходили в предбанник выбирать бабу. Мужчина есть мужчина. Хмельков выбирал женщину либо девочку, заводил ее в пустой отсек барака и через полчаса приводил обратно в вагон, сдавал охраннику. Он молчал, и женщина молчала. Он оказался здесь не ради баб и вина, не ради габардинового галифе, не ради командирских хромовых сапог.

В июльский день 1941 года он попал в плен. Его били прикладом по шее и по голове, он болел кровавой дизентерией, его гнали в порванных сапогах по снегу, его поили желтой водой с пятнами мазута, он отрывал пальцами куски вонючего черного мяса от лошадиного трупа, он жрал гнилую брюкву и картофельные очистки. Он выбирал лишь одно —

жизнь, большего он не хотел, он отбивался от десяти смертей — от голодной и морозной, он не хотел смерти от кровавого поноса, он не хотел упасть с девятью граммами металла в башке, он не хотел опухнуть и дать своему сердцу захлебнуться в воде, поднявшейся от ног. Он не был преступником, он был парикмахером в городе Керчи, и никто никогда не думал о нем дурно — ни родные, ни соседи по двору, ни мастера на работе, ни приятели, с которыми он пил вино, ел копченую кефаль и играл в домино. И он думал, что ничего общего не было у него с Жученко. Но иногда ему казалось, что разница между ним и Жученко в какой-то незначущей ерунде; а уже там важно ли — Богу и людям, — с каким чувством выходят они на работу, один весело, другой не весело — работа одна.

Но он не понимал, что Жученко тревожил его не тем, что был виноват больше него. Тем и страшен был ему Жученко, что страшное, прирожденное уродство оправдывало его. А он, Хмельков, не был уродом, он был человеком.

Он смутно знал, что в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь, — смерть.

44

Начальник объекта, командир зондеркоманды штурмбаннфюрер Кальтлуфт, добился того, что центральная диспетчерская давала каждый вечер график прибытия эшелонов на день вперед. Кальтлуфт заранее инструктировал своих работников о предстоящей им работе — об общем числе вагонов, количестве прибывших людей; в зависимости от того, из какой страны прибывал эшелон, вызывались соответствующие подсобные команды заключенных — парикмахеров, провозжатых, грузчиков.

Кальтлуфт не любил разгильдяйства; он не пил и

сердился, если его подчиненные бывали в нетрезвом виде. Лишь однажды его видели веселым и оживленным; уезжая на пасхальные дни к семье и уже сидя в автомобиле, он позвал к себе штурмфюрера Гана и стал ему показывать фотографии дочери, большелицей и большеглазой, похожей на отца, девочки.

Кальтлуфт любил работать, жалел тратить зря время, он не заходил после ужина в клубные помещения, не играл в карты и не смотрел кинофильмов. На Рождество для зондеркоманды была устроена елка и выступал самодеятельный хор, а к ужину бесплатно выдавали бутылку французского коньяка на двоих. Кальтлуфт зашел в клуб на полчаса, и все увидели на его пальцах свежий след чернил — он работал в рождественский вечер.

Когда-то он жил в деревенском доме родителей, и казалось, что в этом доме пройдет его жизнь — ему нравилось спокойствие деревни, он не боялся работы. Он мечтал расширить отцовское хозяйство, но ему казалось, что как бы велики ни стали доходы от разведения свиней, от торговли брюквой и пшеницей, он всю жизнь проживет в уютном и тихом отцовском доме. Но жизнь сложилась по-иному. В конце Первой мировой войны он попал на фронт, пошел дорогой, которую судьба прокладывала для него. Казалось, судьба определила ему движение из деревенских в солдаты, от окопов к охране штаба, от канцелярии к адъютантству, от работы в центральном аппарате Имперской безопасности к работе в управлении лагерей и, наконец, переход к должности начальника зондеркоманды в лагере уничтожения.

Если б Кальтлуфту пришлось отвечать перед небесным судом, он бы, оправдывая свою душу, правдиво рассказал судье, как судьба толкала его на путь палача, убившего пятьсот девяносто тысяч человек. Что мог сделать он перед волей могучих сил: мировой войны, огромного национального движения, непреклонной партии, государственного принуждения? Кто в состоянии плыть по-своему? Он — человек, он

жил бы в доме отца. Не он шел, его толкали, не он хотел, его вели, он шел как мальчик-с-пальчик, судьба вела его за руку. И так же, или примерно так, оправдывали бы себя перед Богом те, кого посылал на работу Кальтлуфт, и те, кто посылал на работу Кальтлуфта.

Кальтлуфту не пришлось оправдывать свою душу перед небесным судом. И потому Богу не пришлось подтвердить Кальтлуфту, что нет в мире виноватых.

Есть суд небесный, и суд государства, и общества, но есть высший суд — это суд грешного над грешным. Грешный человек измерил мощь тоталитарного государства — она беспредельно велика: пропагандой, голодом, одиночеством, лагерем, угрозой смерти, неизвестностью и бесславием сковывает эта страшная сила волю человека. Но в каждом шаге человека, совершаемом под угрозой нищеты, голода, лагеря и смерти, всегда наряду с обусловленным проявляется и нескованная воля человека. В жизненной дороге начальника зондеркоманды — от деревни к окопам, от беспартийной обывательщины к сознательности члена национал-социалистической партии — всегда и всюду отпечатывалась его воля. Судьба ведет человека, но человек идет потому, что хочет, и он волен не хотеть. Судьба ведет человека, человек становится орудием истребительных сил, но сам он при этом выигрывает, а не проигрывает. Он знает об этом, и он идет к выигрышу; у страшной судьбы и у человека разные цели, но у них один путь.

Не безгрешный и милостивый небесный судья, не мудрый верховный государственный суд, руководствующийся благом государства и общества, не святой, не праведник, а жалкий, раздавленный фашизмом грязный и грешный человек, сам испытывший ужасную власть тоталитарного государства, сам падавший, склонявшийся, робевший, подчинявшийся, произнесет приговор.

Он скажет:

— Есть в страшном мире виноватые! Виновен!

Вот и пришел последний день дороги. Вагоны заскрипели, заскрежетали тормоза, и стало тихо, потом загрохотали заборы, послышалась команда:

— Alle heraus!

На мокрую после недавнего дождя платформу стали выходить люди.

Какими странными казались после тьмы вагона знакомые лица.

Пальто, платки изменились меньше, чем люди; кофты, платья напоминали о домах, где их надевали, о зеркалах, у которых их примеряли.

Выходившие из вагонов сбивались в кучи, в стадной скученности было что-то привычное, успокаивающее; в знакомом запахе, в знакомом тепле, в знакомых измученных лицах и глазах, в плотной огромности толпы, вышедшей из сорока двух товарных вагонов.

Звения по асфальту кованными каблуками, медленно шли два патрульных солдата-эсэсовца в длинных шинелях. Они шагали, надменные и задумчивые, не взглянули на молодых евреев, вынесших на руках мертвую старуху с белыми волосами, рассыпавшимися по белому лицу, на курчавого человечка-пуделя, ставшего на четвереньки и пьющего из лужи воду, на горбунью, поднявшую юбку, чтобы приладить вырванную из штанов тесемку.

Время от времени эсэсовцы переглядывались, проносили два-три слова. Они шли по асфальту так же, как солнце идет по небу. Солнце ведь не следит за ветром, облаками, морской бурей и шумом листвы, но в своем плавном движении оно знает, что все на земле совершается благодаря ему.

Люди в синих комбинезонах, в кепи с большими козырьками, с белыми повязками на рукавах кричали, поторапливали прибывших на странном языке — смеси русских, немецких, еврейских, польских и украинских слов.

Быстро, умело организуют ребята в синих комбинезонах толпу на платформе, отсеивают падающих с ног, более сильных заставляют грузить полуживых на автофургоны, лепят из хаоса противоречивых движений колонну, внушают ей идею движения, придают этому движению направление и смысл.

Колонна строится по шесть человек в ряд, и по рядам бежит известие:

— В баню, сперва в баню!

Казалось, милостивый Бог не придумал бы ничего добрей.

— Ну, евреи, сейчас пойдем, — кричит человек в кепи, старший над командой, проводившей разгрузку эшелона, и оглядывает толпу.

Мужчины и женщины подхватывают сумки, дети вцепляются в материнские юбки и борта отцовских пиджаков.

”В баню... в баню...” — эти слова чаруют, гипнотически заполняют сознание.

В рослом человеке в кепи есть что-то свойское, привлекающее, он кажется близким несчастному миру, а не тем в серых шинелях и касках.

Старуха с молитвенной осторожностью гладит кончиками пальцев рукав его комбинезона, спрашивает:

— Ир зынд а ид, а лытвек, майн кынд?

— Да, да, маменька, их бын а ид, прентко, прентко, панове! — И вдруг зычно, сипло, соединяя в одной команде слова, принятые в двух борющихся между собой армиях, он кричит:

— Die Kolonne marsch! Шагом марш!

Платформа опустела, люди в комбинезонах сметают с асфальта куски тряпья, обрывки бинтов, брошенную кем-то изорванную калошу, уроненный детский кубик, с грохотом закрывают двери товарных вагонов. Железная волна скрежещет по вагонам. Пустой эшелон трогается, идет на дезинфекцию.

Команда, кончив работу, возвращается через служебные ворота в лагерь. Эшелоны с востока — самые

скверные, в них больше всего мертвецов, больных, в вагонах наберешься вшей, надышишься зловонием. В этих эшелонах не найдешь, как в венгерских, либо голландских, либо бельгийских, флакон духов, паке-тик какао, банку сгущенного молока.

46

Великий город открылся перед путниками. Его западные окраины тонули в тумане. Темный дым далеких фабричных труб смешивался с туманом, и шахматная сеть барачных покрывалась дымкой, и удивительным казалось соединение тумана с геометрической прямизной барачных улиц.

На северо-востоке поднималось высокое чернокрасное зарево, казалось, что, раскалившись, рдеет сырое осеннее небо. Иногда из сырого зарева вырывался медленный огонь, грязный, пресмыкающийся.

Путники вышли на просторную площадь. Посреди площади на деревянном помосте, какие обычно устраиваются в местах народных гуляний, стояло несколько десятков людей. Это был оркестр; люди резко отличались друг от друга, так же, как их инструменты. Некоторые оглядывались на приближающуюся колонну. Но вот седой человек в светлом плаще сказал что-то, и люди на помосте взяли за свои инструменты. Вдруг показалось, робко и дерзко вскрикнула птица, и воздух, разодранный колючей проволокой и воем сирен, смердящий нечистотами, жирной гарью, весь наполнился музыкой. Словно теплая громада летнего цыганского дождя, зажженного солнцем, рухнула, сверкая, на землю.

Люди в лагерях, люди в тюрьмах, люди, вырвавшиеся из тюрем, люди, идущие на смерть, знают потрясающую силу музыки.

Никто так не чувствует музыку, как те, кто изведаль лагерь и тюрьму, кто идет на смерть.

Музыка, коснувшись гибнущего, вдруг возрождает

в душе его не мысли, не надежды, а лишь одно слепое, пронзительное чудо жизни. Рыдание прошло по колонне. Все, казалось, преобразилось, все соединилось в единстве, все рассыпанное, дом, мир, детство, дорога, стук колес, жажда, страх и этот вставший в тумане город, эта тусклая красная заря, все вдруг соединилось не в памяти, не в картине, а в слепом, горячем, томящем чувстве прожитой жизни. Здесь, в зареве печей, на лагерном плацу, люди чувствовали, что жизнь больше, чем счастье, — она ведь и горе. Свобода не только благо. Свобода трудна, иногда и горестна — она жизнь.

Музыка сумела выразить последнее потрясение души, объединившей в своей слепой глубине все пережитое в жизни, радость и горе ее с этим туманным утром, с заревом над головой. Но, может быть, и не так. Может быть, музыка была лишь ключом к чувствам человека, она распахнула нутро его в этот страшный миг, но не она наполнила человека.

Ведь бывает, что детская песенка заставляет плакать старика. Но не над песенкой плачет старик, она лишь ключ к тому, что находила душа.

Пока колонна медленно вычерчивала полукруг по площади, из лагерных ворот выехал кремово-белый автомобиль. Из него вышел офицер-эсэсовец в очках, в шинели с меховым воротником, сделал нетерпеливый жест, и дирижер, следивший за ним, сразу каким-то отчаянным движением опустил руки — музыка оборвалась.

Раздалось многократно повторенное "halt".

Офицер проходил мимо рядов. Он указывал пальцем, и колонновожатый вызывал людей из рядов. Офицер оглядывал вызванных безразличным взглядом, и колонновожатый негромко, чтобы не помешать его задумчивости, спрашивал:

— Сколько лет? Профессия?

Отобранных оказалось человек тридцать.

Вдоль рядов послышалось:

— Врачи, хирурги!

Никто не отозвался.

— Врачи, хирурги, выходи!

Снова тишина.

Офицер пошел к машине, потеряв интерес к тысяче людей, стоявших на площади.

Отобранных стали строить по пять в ряд, повернули лицом к транспаранту на лагерных воротах: "Arbeit macht frei!"

Из рядов закричал ребенок, дико и пронзительно закричали женщины. Отобранные люди стояли молча, опустив головы.

Но как передать чувство человека, разжимающего руку жены, и этот последний быстрый взгляд на милое лицо? Как жить, безжалостно вспоминая, что в миг молчаливого расставания глаза твои в какую-то долю секунды заморгали, чтобы прикрыть грубое радостное чувство сохраненного существования?

Как утопить память о том, что жена сунула мужу в руку узелок, где было обручальное кольцо, несколько кусков сахара, сухарь? Неужели можно существовать, видя, как с новой силой вспыхнуло зарево в небе — то горят руки, которые он целовал, глаза, радовавшиеся ему, волосы, чей запах он узнавал в темноте, то его дети, жена, мать? Разве можно в бараке просить себе место ближе к печке, подставлять миску под черпак, наливавший литр серой жижи, прилаживать оборвавшуюся подметку ботинка? Разве можно бить ломом, дышать, пить воду? А в ушах крик детей, вопль матери.

Продолжающих существовать погнали в сторону лагерных ворот. До них доносятся крики, они сами кричат, рвут на груди рубахи, а навстречу идет их новая жизнь: полные электричества провололочные струны, бетонированные вышки с пулеметами, бараки, девушки и женщины с бледными лицами глядят на них из-за проволоки, идут люди в рабочих колоннах с красными, желтыми, синими лоскутами, пришитыми к груди.

Снова заиграл оркестр. Отобранные для лагерной работы люди входят в построенный на болоте город. Темная вода в угрюмой немоте пробивает себе дорогу в осклизлых плитах бетона, среди тяжелых каменных глыб. Эта вода — черно-рыжая, пахнет гнилью; она в клочьях зеленой химической пены, с кусками загаженных тряпок, с кровавыми шматками, вышвырнутыми из лагерных операционных. Вода уйдет под лагерную землю, снова выйдет на поверхность, снова уйдет под землю. Но она пройдет свой путь, в ней ведь живет и морская волна и утренняя роса, в этой угрюмой лагерной воде.

А обреченные пошли на смерть.

47

Софья Осиповна шла ровным тяжелым шагом, мальчик держался за ее руку. Другой рукой мальчик ощупывал в кармане спичечную коробку, где в грязной ватке лежала темно-коричневая куколка, недавно, в вагоне, вышедшая из кокона. Рядом шагал, бормоча, слесарь Лазарь Янкелевич, его жена Дебора Самуиловна несла на руках ребенка. За спиной Ревекка Бухман бормотала: "Ой, Боже, ой, Боже, ой, Боже". Пятой в ряду шла библиотечарша Муся Борисовна. Волосы ее были причесаны, воротничок казался белым. Она в дороге несколько раз отдавала пайку хлеба за полкотелка теплой воды. Эта Муся Борисовна никому ничего не жалела, в вагоне ее считали святой, старухи, знавшие толк в людях, целовали ей платье. Впереди ряд состоял из четырех человек: при отборе офицер вызвал из этого ряда сразу двоих — отца и сына Слепых; на вопрос о профессии они выкрикнули "Zahnarzt!" И офицер кивнул: Слепые угадали, выиграли жизнь. Трое оставшихся в ряду шли, болтая руками, их руки оказались не нужны; четвертый шел, приподняв воротник пиджака, заложив руки в карманы, незави-

симой походкой, закинув голову. Впереди, может быть, на четыре-пять рядов выделялся огромный старик в зимней красноармейской шапке.

В затылок Софье Осиповне шла Муся Винокур, которой в теплушке исполнилось четырнадцать лет.

Смерть! Она стала своей, компанейской, запросто заходила к людям, во дворы, в мастерские, встречала хозяйку на базаре и уводила ее с кошелочкой картошки, вмешивалась в игру ребятишек, заглядывала в мастерскую, где дамские портные, напевая, спешили дошить мантию для жены гебитскомиссара, стояла в очереди за хлебом, подсаживалась к старухе, штопавшей чулок.

Смерть делала свое будничное дело, а люди свое. Иногда она давала докурить, дожевать, иногда настигала человека по-приятельски, грубо, с глупым гоголем, хлопнув ладонью по спине.

Казалось, люди, наконец, стали понимать ее, она открыла им свою будничность, детскую простоту. Уж очень легок был этот переход, словно через мелкую речушку, где переброшены деревянные кладки с берега, где дымят избы, на пустынную луговую сторону, — пять-шесть шагов. И все! Чего же, казалось, бояться? Вот по мостушке, стуча копытцами, прошел теленок, вот, ударяя голыми пятками, пробежали мальчишки.

Софья Осиповна слышала музыку. Эту музыку она впервые слышала ребенком, слушала студенткой, молодым врачом; эта музыка всегда волновала живым предчувствием будущего.

Музыка обманула ее. У Софьи Осиповны не было будущего, была лишь прожитая жизнь.

И чувство своей особой, отдельной, прожитой жизни на миг заслонило перед ней настоящее — край жизненного обрыва.

Самое странное из всех чувств! Оно непередаваемо, им нельзя поделиться с самым близким человеком, женой, матерью, братом, сыном, другом, отцом, оно тайна души, и душа, даже если она страстно этого

хочет, не может выдать своей тайны. Человек унесет чувство своей жизни, не разделит его ни с кем. Чудо отдельного, особого человека, того, в чьем сознании, в чьем подсознании собрано все хорошее и все плохое, смешное, милое, стыдное, жалкое, застенчивое, ласковое, робкое, удивленное, что было от детства до старости, — слитое, соединенное в немом и тайном одиноком чувстве одной своей жизни.

Когда заиграла музыка, Давиду захотелось вынуть из кармана коробочку, на мгновение приоткрыть ее, чтобы куколка не простудилась, и показать ей музыкантов. Но пройдя несколько шагов, он перестал замечать людей на помосте, лишь зарево в небе и музыка остались. Печальная, могучая мелодия, как чашечку, наполнила его душу до самых краев тоской по матери. Мать, не сильная и спокойная, а стыдящаяся того, что ее бросил муж. Она пошила Давиду рубашку, и соседи в коридоре смеялись, что Давидка носит рубашку из ситца с цветочками, с криво пришитыми рукавами. Единственной защитой, надеждой его была мать. Он все время непоколебимо и бессмысленно надеялся на нее. Но, может быть, музыка сделала так: он перестал надеяться на маму. Он любил ее, но она была беспомощной и слабой, как те, что шли сейчас рядом с ним. А музыка, сонная, тихая, казалась ему маленькими волнами, он видел их в бреду, когда у него поднималась температура и он сползал с горячей подушки на теплый и влажный песок.

Оркестр взвыл, заголосила огромная иссохшая глотка.

Темная стена, которая вставала из воды, когда он болел ангиной, теперь нависла над ним, занимала все небо.

Все, все, страшившее его сердечко, соединилось, слилось в одно. И страх перед картинкой, где козленок не замечает волчьей тени между стволами елей, и синеглазые головы убитых телят на базаре, и мертвая бабушка, и задущенная девочка Ревекки

Бухман, и первый безотчетный ночной страх, заставлявший его отчаянно кричать и звать мать. Смерть стояла во всю громадную величину неба и смотрела — маленький Давид шел к ней своими маленькими ногами. Вокруг была одна лишь музыка, за которую нельзя было схватиться, об которую нельзя было разбить себе голову.

А куколка — у ней ни крыльев, ни лапок, ни усиков, ни глаз, она лежит в коробочке, глупая, доверчивая, ждет.

Раз еврей — все!

Он икал, задыхался. Если б он мог, он бы сам себя задушил. Музыка смолкла. Его маленькие ноги и десятки других маленьких ног торопились, бежали. У него не было мыслей, он не мог ни кричать, ни плакать. Пальцы, мокрые от пота, сжимали в кармане коробочку, но он не помнил уже и о куколке. Одни лишь маленькие ноги шли, шли, спешили, бежали.

Если б охвативший его ужас длился еще несколько минут, он упал бы с разорвавшимся сердцем.

Когда музыка прекратилась, Софья Осиповна вытерла слезы и сердито произнесла:

— Так, сказал бедняк!

Потом она взглянула на лицо мальчика, оно было так ужасно, что даже здесь выделялось своим особым выражением.

— Что ты? Что с тобой? — вскрикнула Софья Осиповна и резко дернула его за руку. — Что ты, что с тобой, ведь мы идем мыться в баню.

Когда стали выкликать врачей-хирургов, она молчала, противясь ненавистной ей силе.

Рядом шла жена слесаря, и большеголовый жалкий младенец на ее руках всматривался в окружающее беззлобным и задумчивым взглядом. Эта жена слесаря ночью в вагоне украла для своего ребенка у одной женщины горсточку сахара. Пострадавшая оказалась совсем слабой. За нее вступился старик по фамилии Лапидус, возле которого никто не хотел сидеть, так как он много мочился под себя.

И вот теперь Дебора, жена слесаря, задумавшись, шла, держа ребенка на руках. И ребенок, день и ночь кричавший, молчал. Печальные темные глаза женщины делали незаметным уродство ее грязного лица, ее бледных, мятых губ.

— Мать Божья, — подумала Софья Осиповна.

Когда-то, года за два до войны, она глядела, как восходящее из-за тянь-шаньских сосен солнце освещает снеговые белки, а озеро лежит в сумерке, словно бы выточенное из одной сгущенной до каменной плотности синевы; тогда она подумала, что нет в мире человека, который не позавидовал бы ей, и тут же с обжегшей ее пятидесятилетнее сердце силой ощутила, что все бы отдала, если б где-нибудь в нищей, темной комнате с низким потолком ее обняли бы руки ребенка.

Маленький Давид вызвал в ней особую нежность, которую она никогда не испытывала к детям, хотя всегда любила детей. В вагоне она отдавала ему часть своего хлеба, он поворачивал к ней в полутьме лицо, и ей хотелось плакать, прижать его к себе, целовать частыми, быстрыми поцелуями, которыми обычно матери целуют маленьких детей; она шепотом, так, чтобы он не расслышал, повторяла:

— Кушай, сыночек, кушай.

Она мало разговаривала с мальчиком, странный стыд заставлял ее скрывать возникшее в ней материнское чувство. Но она заметила, что мальчик всегда тревожно следит за ней, если она перебиралась в другую сторону вагона, становился спокоен, когда она была вблизи него.

Ей не хотелось признаться себе, почему она не откликнулась, когда вызывали врачей-хирургов, осталась в колонне и почему чувство душевного подъема охватило ее в эти минуты.

Колонна шла вдоль проволочных заграждений, бетонированных башен с гурельными пулеметами, вдоль рвов, и людям, забывшим свободу, казалось — проволока и пулеметы не для того, чтобы помешать

лагерникам бежать, а для того, чтобы обреченные смерти не сумели укрыться в каторжный лагерь.

Дорога отделилась от лагерной проволоки, повела к невысоким приземистым постройкам с плоскими крышами; издали эти прямоугольники с серыми стенами без окон напоминали Давиду огромные кубики, от которых отклеились картинки.

Мальчик из-за образовавшегося в поворачивавшихся рядах просвета увидел постройки с распахнутыми дверьми и, не зная почему, вынул из кармана коробочку с куколкой, не простившись с ней, швырнул ее в сторону. Пусть живет!

— Капитальные люди немцы, — точно стража могла услышать и оценить его льстивость, сказал шедший впереди.

Человек с поднятым воротником как-то странно, по-особому, это видно было и со стороны, повел плечами, оглянулся направо, налево и стал большим, высоким, и вдруг, легко прыгнув, словно расправив крылья, ударил кулаком в лицо эсэсовского стражника, свалил его на землю. Софья Осиповна, злобно крикнув, кинулась следом, но споткнулась, упала. Сразу несколько рук схватили ее, помогли подняться. А шедшие сзади напирали, и Давид, оглядываясь, боясь, что его собьют с ног, мельком увидел, как стражники оттаскивают в сторону мужчину.

В миг, когда Софья Осиповна пыталась броситься на стражника, она забыла о мальчике. Теперь она снова держала его за руку. Давид увидел, какими ясными, злыми, прекрасными могут быть глаза человека, на долю секунды почувствовавшего свободу.

А в это время первые ряды уже вступили на асфальтированную площадку перед входом в баню, по-новому зазвучали шаги людей, идущих в просторно распахнутые двери.

В сыром теплом предбаннике, освещенном небольшими прямоугольными окошками, стояла спокойная полутьма.

Деревянные из некрашенных толстых досок скамьи, с написанными масляной краской номерами, терялись в полутьме. Посреди зала, до стены, противоположной входу, проходила невысокая перегородка, по одну сторону ее раздевались мужчины, по другую женщины с детьми.

Это разделение не вызывало в людях тревоги, так как они продолжали видеть друг друга, перекликались: "Маня, Маня, ты здесь?" — "Да, да, я вижу тебя". Кто-то крикнул: "Матильда, приходи с мочалкой, потрешь мне спину!" Чувство успокоения охватило почти всех.

Между рядов ходили серьезные люди в халатах, следили за порядком и говорили разумные слова о том, что носки, чулки, портянки следует вкладывать в ботинки, что нужно обязательно запомнить номер ряда и номер места.

Голоса звучали негромко, приглушенно.

Когда человек раздевается догола, он приближается к самому себе. Господи, еще жестче, гуще стали волосы на груди, и сколько седых. Какие некрасивые ногти на пальцах. Голый человек, глядя на себя, не делает выводов, кроме одного: "вот я". Он узнает себя, определяет свое "я" — оно всегда одно. Мальчишка, скрестив худые руки на ребристой груди, глядит на свое лягушачье тело — "вот я", и он же, спустя пятьдесят лет, рассматривая узловатые синие жилы на ногах, жирную, обвисшую грудь, узнает себя: "вот я".

Но Софью Осиповну поразило странное чувство. В обнажении молодых и старых тел — и носатенького худенького мальчика, о котором старуха, покачив головой, сказала: "Ой, несчастный хусид", и четырнадцатилетней девочки, на которую даже здесь, любуясь, смотрели сот-

ни глаз, в уродстве и немощи вызывавших молитвенную почтительность старух и стариков, в силе волосатых мужских спин, жилистых женских ног и больших грудей — обнажилось скрытое под тряпьем тело народа. Софье Осиповне показалось, что она ощутила это, относящееся не к ней одной, а к народу: "вот я". Это было голое тело народа, одновременно молодое и старое, живое, растущее, сильное и вянувшее, с кудрявой и седой головой, прекрасное и безобразное, сильное и немощее. Она смотрела на свои толстые, белые плечи, никто их не целовал, только мама когда-то в детстве, потом с кротким чувством перевела глаза на мальчика. Неужели несколько минут назад она, забыв о нем, бросилась с пьяным бешенством в сторону эсэсовца. "Молодой еврейский дурень, — подумала она, — и его старый русский ученик проповедовали непротивление злу насилием. При них не было фашизма". Уж не стыдясь проснувшегося в ней, девице, материнского чувства, Софья Осиповна, наклонившись, взяла в свои рабочие большие ладони узенькое лицо Давида, ей показалось, что она взяла в руки его теплые глаза, и поцеловала его.

— Да, да, детка, — сказала она, — вот мы и добрались до бани.

В полутьме бетонного предбанника, казалось, мелькнули глаза Александры Владимировны Шапошниковой. Жива ли она? Они простились, и Софья Осиповна пошла, вот и дошла, и Аня Штрум дошла.

Жене рабочего хотелось показать мужу маленького голого сына, но муж был за перегородкой, и она протянула Софье Осиповне наполовину прикрытого пеленкой ребенка, гордясь сказала:

— Только его раздели, и он уже не плачет.

А из-за перегородки мужчина, обросший черной бородой, носивший вместо кальсон рваные пижамные штаны, крикнул, блеснув глазами и золотом искусственных зубов:

— Манечка, тут продается купальный костюм, купить?

Муся Борисовна, прикрывая рукой грудь, высту-

павшую из широкого выреза рубахи, улыбнулась шутке.

Софья Осиповна уже знала, что в этом остро словии приговоренных не проявлялась сила духа, слабым и робким не так страшен был страх, когда они над ним смеялись.

Ревекка Бухман, с измученным, осунувшимся прекрасным лицом, отворачивая от людей горячие, огромные глаза, растрепала свои могучие косы, прятала в них кольца и серьги.

Слепая и жестокая сила жизни владела ею. Фашизм, хотя она была несчастна и беспомощна, пригнул ее до своего уровня, ее уже ничто не могло остановить в стремлении сохранить свою жизнь. И теперь, пряча кольца, она не вспоминала о том, что этими руками сжала горло своему ребенку из страха, что его плач может раскрыть убежище на чердаке.

Но когда Ревекка Бухман медленно вздохнула, словно животное, наконец добравшееся до безопасной чащи, она увидела женщину в халате, снимавшую ножницами косы с головы Муси Борисовны. А рядом жница волос стригла девочку, и шелковые черные струи бесшумно сбегали на бетонированный пол. Волосы лежали на полу, и казалось, что женщины моют ноги в темной и светлой воде.

Женщина в халате неторопливо отвела руку Ревекки, прикрывшую голову, захватила волосы у затылка, концы ножниц коснулись кольца, спрятанного в волосах, и женщина, не прекращая работы и ловко перебирая пальцами запутанные в волосах кольца, сказала, склонившись над ухом Ревекки: "Все будет вам обратно", и еще тише шепнула: "Немец тут, надо ganz ruhig". Лицо женщины в халате не запомнилось Ревекке, у нее не было глаз, губ, была одна лишь желтоватая рука с синими жилами.

По другую сторону перегородки появился седой мужчина в очках, криво сидящих на кривом носу, похожий на больного, печального дьявола, оглядел скамьи и раздельно, печатая буквы, голосом человека,

привыкшего разговаривать с глухими, спросил:

— Мама, мама, мама, как себя чувствуешь?

Морщинистая маленькая старуха, вдруг расслышав голос сына среди гула сотен голосов, нежно улыбнулась ему, ответила, угадывая привычный вопрос:

— Хороший, хороший пульс, никаких перебоев, не волнуйся.

Кто-то рядом с Софьей Осиповной сказал:

— Это Гельман, знаменитый терапевт.

А молодая голая женщина, держа за руку губастую девочку в белых трусиках, громко кричала:

— Нас убьют, нас убьют, нас убьют!

— Тише, тише, успокойте сумасшедшую, — говорили женщины. Они оглядывались, стражи не было видно. Уши и глаза отдыхали в полусумраке и в тишине. Какое огромное, уже много месяцев не испытанное блаженство снять с себя одеревеневшую от грязи и пота одежду, полусгнившие носки, чулки, портянки. Ушли женщины, окончившие стрижку, и люди еще свободнее вздохнули. Одни задремали, другие просматривали швы на одежде, третьи негромко разговаривали. Кто-то сказал:

— Жаль, нет колоды, можно бы сыграть в подкидного.

Но в эти минуты начальник зондеркоманды, дымя сигаркой, снимал телефонную трубку, кладовщик грузил на моторную тележку банки "Цейлона" с красными, как на фруктовом джеме, наклейками, и дежурный особого отряда, сидевший в служебном помещении, поглядывал на стену — вот-вот зажжется красная сигнальная лампочка.

Команда "Встать!" внезапно возникла с разных концов предбанника. Там, где кончались скамьи, стояли немцы в черной форме. Люди вошли в широкий коридор, освещенный вделанными в потолок неяркими лампами, покрытыми толстым овальным стеклом. Здесь видна была мускульная сила медленно, плавно изгибающегося бетона, втягивавшего в себя человеческий поток. Было тихо, лишь шелестели

шаги идущих босыми ногами людей.

Когда-то до войны Софья Осиповна сказала Евгении Николаевне Шапошниковой: "Если человеку суждено быть убитым другим человеком, интересно проследить, как постепенно сближаются их дороги: сперва они, может быть, страшно далеки, — вот я на Памире собираю альпийские розы, щелкаю своим "Контаксом", а он, моя смерть, в это время за восемь тысяч верст от меня — после школы ловит на речке ершей. Я собираюсь на концерт, а он в этот день покупает на вокзале билет, едет к теще, но все равно, уж мы встретимся, дело будет". И теперь этот странный разговор вспомнился Софье Осиповне. Она поглядела на потолок: через эту бетонную толщу над головой ей уже не услышать грозы, не увидеть опрокинутого ковша Большой Медведицы... Она шла босыми ногами навстречу завитку коридора, а коридор бесшумно, вкрадчиво плыл навстречу ей; движение шло без насилия, само собой, какое-то полусонное скольжение, как будто все кругом и все внутри было смазано глицерином и сонно скользило само собой.

Вход в камеру открылся и постепенно и вдруг. Медленно скользил народный поток. Старуха и старик, прожившие вместе пятьдесят лет, разделенные при раздевании, сейчас снова шли рядом, жена рабочего несла проснувшегося ребенка, мать и сын смотрели поверх голов идущих, разглядывая не пространство, а время. Мелькнуло лицо терапевта, а совсем рядом смотрели глаза доброй Муси Борисовны, налитый ужасом взор Ревекки Бухман. Вот Люся Штеренталь, нельзя заглушить, уменьшить красоту этих молодых глаз, легко дышащих ноздрей, шеи, полуоткрытых губ, и рядом шел старик Лапидус со смятым синегубым ртом. Софья Осиповна снова прижала к себе плечи мальчика. Такой нежности к людям никогда еще не было в ее сердце.

Шедшая рядом Ревекка закричала, крик ее был невыносимо страшен, крик человека, превращающегося в золу.

У входа в газовую камеру стоял человек с куском водопроводной трубы в руке. На нем была коричневая рубаха с застежкой-молнией, с короткими до локтей рукавами. Увидев его неясную, детскую и безумную, упоенную улыбку, так страшно закричала Ревекка Бухман.

Глаза скользнули по лицу Софьи Осиповны: вот это он и есть, наконец встретились!

Она почувствовала, что ее пальцы должны схватить эту шею, выползшую из раскрытого ворота. Но улыбающийся коротко, быстро взмахнул палкой. Сквозь звон колоколов и хруст стекла она услышала: "Не бодайся, пархата".

Она сумела устоять на ногах и тяжелым, медленным шагом вместе с Давидом переступила стальной порог.

49

Давид провел ладонью по стальной дверной раме, ощутил гладкий холод. Он увидел в стальном зеркале светло-серое расплывчатое пятно — отражение своего лица. Босые подошвы определили, что пол в камере холодней, чем в коридоре, его недавно мыли, поливали.

Он шел маленькими, небыстрыми шагами по бетонному ящику с низким потолком. Он не видел ламп, но в камере стоял серый свет, словно солнце проникало сквозь затянутое бетоном небо, каменный свет казался не для живых существ.

Люди, которые были все время вместе, рассыпались, теряя друг друга. Мелькнуло лицо Жени Штеренталь. Давид в вагоне смотрел на нее, испытывая сладкую и грустную влюбленность. Но через миг на месте Жени появилась низкорослая женщина без шеи. И сразу на этом же месте появился голубоглазый старик с белым пушком на голове. И тут же наплыл остановившийся расширенный взор молодого мужчины.

Это было не свойственное людям движение. Это было движение, не свойственное и низшим живым существам. В нем не было смысла и цели, в нем не проявлялась воля живущих. Людской поток втекал в камеру, вновь входившие подталкивали уже вошедших, те подталкивали своих соседей, и из этих бесчисленных маленьких толчков локтем, плечом, животом рождалось движение, ничем не отличающееся от молекулярного движения, открытого ботаником Броуном.

Давиду казалось, что его ведут, нужно было двигаться. Он дошел до стены, коснулся ее холодной простоты коленом, потом грудью, дороги больше не было. Софья Осиповна стояла, привалившись к стене.

Несколько мгновений они смотрели на движущихся от двери людей. Дверь оказалась далеко, и понять, где она, можно было по особо густой белизне человеческих тел, сжатых, уплотненных при входе, а затем уже рассыпающихся в пространстве газовой камеры.

Давид видел лица людей. С утра, как только был разгружен эшелон, он видел спины, а сейчас весь эшелон, казалось, двигался на него лицом. Необычной вдруг стала Софья Осиповна — ее голос в плоском бетонном пространстве звучал по-иному, вся она, войдя в камеру, стала измененной. Когда она сказала: "Крепко держись за меня, мой хлопчик", он почувствовал — она боялась его отпустить, чтобы не остаться одной. Но они не удержались у стены, отделились от нее и стали двигаться мелкими шажками. Давид почувствовал, что он двигается быстрее, чем Софья Осиповна. Ее рука сжала его руку, притягивая к себе. А какая-то мягкая, постепенная сила оттягивала Давида, пальцы Софьи Осиповны стали разжиматься.

Все плотнее становилась толпа в камере, все медленней стали движения, все короче шажки людей. Никто не руководил движением в бетонном ящике. Немцам стало безразлично, стоят ли люди в газовой

камере неподвижно или совершают бессмысленные зигзаги, полукружия. И голый мальчик делал крошечные бессмысленные шажки. Кривая движения его легкого маленького тела перестала совпадать с кривой движения большого и тяжелого тела Софьи Осиповны, и вот они разделились. Не за руку надо было держать его, а вот так, как эти две женщины — мать и девушка, — судорожно, с угрюмым упорством любви, прижаться щека к щеке, грудь к груди, стать одним, неразделимым телом.

Людей становилось все больше, и молекулярное движение по мере сгущения и уплотнения отступало от закономерности Авогадро. Потеряв руку Софьи Осиповны, мальчик закричал. Но тут же Софья Осиповна сдвинулась в прошлое. Существовало только сейчас, теперь. Губы людей дышали рядом, тела их касались, их мысли и чувства стали соединяться.

Давид попал в ту часть вращения, которая, отразившись от стены, двигалась обратно к двери. Давид увидел трех людей, соединившихся вместе: двух мужчин и старуху, она защищала детей, и они поддерживали мать. И вдруг новое, по-новому возникшее движение произошло рядом с Давидом. Шум тоже был новый, отличавшийся от шороха и бормотаний.

— Пустите с дороги! — и сквозь единую массу тел пробивался человек с могучими, напряженными руками, толстой шеей, наклоненной головой. Он хотел вырваться из гипнотического бетонного ритма, его тело бунтовало, как рыбе тело на кухонном столе, слепо, без мысли. Он вскоре затих, задохнулся и стал семенить ногами, совершать то, что совершали все.

От нарушения, которое произвел он, изменились кривые движения, и Давид оказался рядом с Софьей Осиповной. Она прижала к себе мальчика с той силой, которую открыли и измерили рабочие в лагерях уничтожения, — разгружая камеру, они никогда не пытались отделять тела обнявшихся близких людей.

Со стороны двери раздавались крики; люди, видя плотную человеческую массу, заполнявшую камеру, отказывались проходить в распахнутые двери.

Давид видел, как закрылась дверь: дверная сталь, словно притянутая магнитом, мягко, плавно приближалась к стали дверной рамы, и они слились, стали едины.

Давид заметил, что в верхней части стены, за квадратной металлической сеткой, шевельнулось что-то живое, ему показалось, серая крыса, но Давид понял — завертелся вентилятор. Почувствовался слабый сладковатый запах.

Затих шорох шагов, изредка слышались невнятные слова, стон, вскрикивание. Речь уже не служила людям, действие было бессмысленно — оно направлено к будущему, а в газовой камере будущего не было. Движение головы и шеи Давида не породило в Софье Осиповне желания посмотреть туда, куда смотрит другое живое существо.

Ее глаза, читавшие Гомера, газету "Известия", "Теккельбери Финна", Майн Рида, гегелевскую "Логiku", видевшие хороших и плохих людей, видевшие гусей на зеленых курских лужках, звезды в Пулковский рефрактор, блеск хирургической стали, Джо-конду в Лувре, помидоры и репу на базарных рундуках, синеву Иссык-Куля, теперь не были нужны ей. Слепи ее кто-либо в этот миг, она не почувствовала бы потери.

Она дышала, но дыхание стало тяжелой работой, и она выбивалась из сил, производя работу дыхания. Она хотела сосредоточиться на последней мысли, под оглушающий звон колоколов. Но мысль не рождалась. Софья Осиповна стояла, немая, не закрывая невидящих глаз.

Движение ребенка наполняло ее жалостью. Ее чувство к мальчику было так просто — слова и глаза не стали ей нужны. Полумертвый мальчик дышал, но воздух, данный ему, не продлевал жизнь, а угонял ее. Голова его поворачивалась, ему все еще хотелось

смотреть. Он видел тех, кто оседал на землю, видел открытые беззубые рты, рты с белыми и золотыми зубами, видел тоненькую струйку крови, бежавшую из ноздри. Он видел любопытствующие глаза, глядевшие в камеру через стекло; созерцающие глаза Розе на миг встретились с глазами Давида. Ему и голос был нужен, он спросил бы тетю Соню об этих волчьих глазах. И мысли его нужны были ему. Он сделал в мире лишь несколько шагов, он увидел следы босых детских пяток на горячей, пыльной земле, в Москве жила его мама, луна смотрела вниз, а снизу ее видели глаза, на газовой плите кипел чайник; мир, где бежала безголовая курица, мир, где лягушки, которых он заставлял танцевать, держа за передние лапки, и утреннее молоко, — продолжал тревожить его.

Все время сильные, горячие руки обнимали Давида, мальчик не понял, что стало темно в глазах, гулко, пустынно в сердце, скучно, слепо в мозгу. Его убили, и он перестал быть.

Софья Осиповна Левинтон ощутила, как осело в ее руках тело мальчика. Она опять отстала от него. В подземных выработках с отравленным воздухом и индикаторы газа — птицы и мыши погибают сразу, у них маленькие тела, и мальчик с маленьким птичьим телом ушел раньше, чем она.

”Я стала матерью”, — подумала она.

Это была ее последняя мысль.

А в ее сердце еще была жизнь: оно сжималось, болело, жалело вас, живых и мертвых людей; хлынула тошнота, Софья Осиповна прижимала к себе Давида, куклу, стала мертвой, куклой.

Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь — это свобода, и потому умирание есть постепенное уничтожение свободы; сперва ослабляется сознание, затем оно меркнет;

процессы жизни в организме с угасшим сознанием некоторое время еще продолжают, совершается кровообращение, дыхание, обмен веществ. Но это неотвратимое отступление в сторону рабства — сознание угасло, огонь свободы угас.

Потухли звезды на ночном небе, исчез Млечный путь, погасло солнце, погасли Венера, Марс, Юпитер, замерли океаны, замерли миллионы листьев, и замер ветер, цветы потеряли цвет и запах, исчез хлеб, исчезла вода, прохлада и духота воздуха. Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть. Эта Вселенная поразительно походила на ту, единственную, что существует помимо людей. Эта Вселенная поразительно походила на ту, что продолжает отражаться в миллионах живых голов. Но эта Вселенная особенно поразительна была тем, что имелось в ней нечто такое, что отличало шум ее океана, запах ее цветов, шорох листвы, оттенки ее гранитов, печаль ее осенних полей от каждой из тех, что существовали и существуют в людях, и от той, что вечно существует вне людей. В ее неповторимости, в ее единственности душа отдельной жизни — свобода. Отражение Вселенной в сознании человека составляет основу человеческой мощи, но счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе.

Часть первая, глава 37

37

Викторов, еще подходя к аэродрому, понял, что произошли какие-то важные события. Машины-бензозаправщики разъезжали по летному полю, техники, мотористы из батальона аэродромного обслуживания сутились около самолетов, стоявших под маскирующими их сетками. Обычно молчаливый движок радиации

стучал четко и сосредоточенно. "Ясно", — подумал Виктор, ускоряя шаги.

И тут же все подтвердилось, ему встретился лейтенант Соломатин с розовыми пятнами ожога на скуле и сказал:

— Выходим из резерва, есть приказ.

— К фронту? — спросил Виктор.

— А куда, к Ташкенту? — спросил Соломатин и пошел в сторону деревни.

Он, видимо, был расстроен, у него завязалось серьезное дело с хозяйкой квартиры, и сейчас он, должно быть, спешил к ней.

— Делиться будет Соломатин: избу бабе, корову себе, — проговорил рядом с Викторовым знакомый голос. Это шел по тропинке лейтенант Еремин, с которым Виктор ходил в паре.

— Куда нас, Ерема? — спросил Виктор.

— Может, Северо-Западный пойдет в наступление. Сейчас командир дивизии на Эр-пятом пришел. У меня пилот знакомый на "Дугласе" в штабе Воздушной, можно спросить. Он все знает.

— Чего спрашивать, скажут сами.

А тревога уже охватила не только штаб и летчиков на аэродроме, но и деревню. Черноглазый, пухлогубый младший сержант Король, самый молодой летчик в полку, нес по улице постиранное и поглаженное белье, поверх белья лежала коврижка и узелок сухих ягод.

Над Королем подшучивали, что хозяйки — две вдовы старухи — баловали его коврижками. Когда он уходил на задания, старухи шли к аэродрому, встречали его на полпути — одна высокая, прямая, другая с согнутой спиной; он шел между ними злой, смущенный, избалованный мальчик, и летчики говорили, что Король ходит в звене с восклицательным и вопросительным знаком.

Командир эскадрильи Ваня Мартынов вышел из дома в шинели, неся в одной руке чемоданчик, в другой парадную фуражку, которую, боясь помять,

не вкладывал в чемодан. Рыжая хозяйская дочь без платка, с самодельной завивкой, смотрела ему вслед таким взором, что уж лишним было бы рассказывать и о ней и о нем.

Хроменький мальчик отрапортовал Викторову, что политрук Голуб и лейтенант Вовка Скотной, с которыми он вместе квартировал, ушли с вещами.

Викторов перебрался на эту квартиру несколько дней назад, до этого он жил с Голубом у плохой хозяйки, женщины с высоким выпуклым лбом и с выпуклыми желтыми глазами. Посмотрев в эти глаза, человеку делалось не по себе.

Чтобы избавиться от постояльцев, она напускала в избу дыма, а однажды подсыпала им золы в чай. Голуб уговаривал Викторова написать рапорт об этой хозяйке комиссару полка, но Викторов не хотел писать рапорта.

— Хай ее холера задушит, — согласился Голуб и добавил слова, которые слышал от матери еще мальчиком: — До нашего берега що пристанет — як не гивно, то триска.

Они перебрались на новую квартиру, она показалась им раем. Но вот в раю побыть пришлось недолго.

Вскоре и Викторов с вещевым мешком и продавленным чемоданчиком шел мимо высоких, словно двухэтажных, серых изб, хромой мальчик прыгал рядом, нацеливаясь подаренной ему Викторовым трофеей кобурой в кур, в кружащие над лесом самолеты. Он прошел мимо избы, откуда Евдокия Михеевна выкуривала его дымом, и увидел за мутным стеклом ее неподвижное лицо. Никто не заговаривал с ней, когда она, неся от колодца два деревянных ведра, останавливалась передохнуть. Не было у нее ни коровы, ни овцы, ни стрижей под крышей. Голуб расспрашивал о ней, пытался выявить ее кулацкую родословную, но оказалось, что она из бедняцкой семьи. Женщины говорили, что после смерти мужа она словно помешалась: забралась в холодное осеннее время в озеро и просидела в нем

сутки. Мужики ее силой вытащили оттуда. Но, говорили женщины, она и до смерти мужа, и до замужества была неразговорчива.

Вот идет Викторов по улице лесной деревни и через несколько часов улетит навсегда отсюда, и все это — гудящий лес, деревня, где лоси заходят на огороды, папоротник, желтые натеки смолы, кукушки, — перестанет для него существовать. Исчезнут старики, девчонки, разговоры о том, как проводили коллективизацию, рассказы о медведях, отнимавших у баб лукошки с малиной, о мальчишках, наступавших голой пяткой на гадючьи головки... Исчезнет эта деревня, странная для него и необычная, вся обращенная к лесу, как был обращен к заводу рабочий поселок, где он родился и вырос.

А потом истребитель приземлится, и вмиг возникнет, станет новый аэродром, сельский или заводской поселок со своими старухами, девчонками, со своими слезами и шутками, котами с лысыми от шрамов носами, со своими рассказами о прошлом, о сплошной коллективизации, со своими плохими и хорошими квартирными хозяйками.

И красавец Соломатин, на новом положении, в свободную минутку, наденет фуражку, пройдет по улице, споет под гитару и сведет с ума девчонку.

Командир полка майор Закаблука с бронзовым лицом и бритым белым черепом, гремя пятью орденами Красного Знамени, переминаясь на кривых ногах, зачитал летчикам приказ о выходе из резерва, сказал, что ночевать приказывает в блиндажах и что порядок следования будет объявлен перед вылетом, на аэродроме.

Затем он сказал, что отлучаться из аэродромных блиндажей командование запрещает, и с нарушителями шуток не будет.

— Щоб мне не спали в воздухе, а хорошо выспались пэрэд полетом, — объяснил он.

Заговорил комиссар полка Берман, которого не любили за высокомерие, хотя он умел толково и

красиво говорить о тонкостях летного дела. Особенно плохо стали относиться к Берману после случая с летчиком Мухиным. У Мухина завязалась любовная история с красивой радисткой Лидой Войновой. Их роман всем нравился, — едва была свободная минута, они встречались, ходили гулять к реке и шли, всегда взявшись за руки. Над ними даже не смеялись, так уже все было ясно в их отношениях.

И вдруг пошел слух, и шел этот слух от самой Лиды, она рассказала подруге, а от подруги пошло по полку, — во время очередной прогулки Мухин изнасиловал Войнову, угрожал ей огнестрельным оружием.

Берман, узнав об этом деле, разъярился и проявил столько энергии, что в течение десяти дней Мухин был судим трибуналом и приговорен к расстрелу.

Перед исполнением приговора в полк прилетел член Военного Совета Воздушной армии, генерал-майор авиации Алексеев, и стал выяснять обстоятельства мухинского преступления. Лида вогнала генерала в полное смущение, стала перед ним на колени, умоляла поверить, что все дело против Мухина нелепая ложь.

Она рассказала ему всю историю — они лежали с Мухиным на лесной поляне, целовались, потом она задремала, и Мухин, желая пошутить над ней, незаметно просунул ей между колен револьвер, выстрелил в землю. Она проснулась, вскрикнула, и Мухин снова стал с ней целоваться. А уж в передаче, шедшей от подруги, которой Лида все это рассказала, дело выглядело совсем жутко. Правда во всей этой истории была лишь одна, необычайно простая, — ее любовь с Мухиным. Все разрешилось благополучно, приговор отменили, Мухина перевели в другой полк.

Вот с тех пор летчики не любили Бермана.

Как-то в столовой Соломатин сказал, что русский человек так бы не поступил.

Кто-то из летчиков, кажется, Молчанов, ответил, что есть плохие люди среди всех наций.

— Вот возьми Короля, еврей, а с ним в паре хорошо ходить. Идешь на задание и знаешь — в хвосте сидит такой друг, в котором уверен, — сказал Ваня Скотной.

— Ну какой же Король еврей, — сказал Соломатин. — Король это свой парень, я в нем в воздухе уверен больше, чем в себе. Он у меня над Ржевом мессера из-под самого хвоста вымел. И я два раза бросал несчастного, подбитого фрица из-за Борьки Короля. А знаешь сам, я забываю мать родную, когда в бой иду.

— Тогда как же получается, — сказал Виктор, — если еврей хороший, ты говоришь — он не еврей.

Все рассмеялись, а Соломатин сказал:

— Ладно, а вот Мухину смешно не было, когда ему Берман расстрел пришил.

В это время в столовую вошел Король и кто-то из летчиков его участливо спросил:

— Слушай, Боря, ты еврей?

Король смутился и ответил:

— Да, еврей.

— Это точно?

— Вполне точно.

— Обрезанный?

— Да ну тебя к черту, — ответил Король. Все стали снова смеяться.

А когда летчики шли с аэродрома в деревню, Соломатин пошел рядом с Викторовым.

— Знаешь, — сказал он, — ты напрасно речи произносил. Когда я работал на мыловаренном заводе, у нас аидов полно было — все начальство; посмотрелся я на этих Самуилов Абрамовичей — и уж один за другого, круговая порука, будь уверен.

— Да что ты пристал, — пожал плечами Виктор, — что ты меня к ним в коллегия записываешь?

Берман заговорил о том, что в жизни летного состава открывается новая эра, кончилась жизнь в резерве. Это все понимали и без него, но слушали со вниманием, не проскользнет ли в его речи намек,

останется ли полк на Северо-Западном фронте и лишь переведут его под Ржев, перебросят ли на запад, на юг.

Берман говорил:

— Итак, у боевого летчика качество первое — знать матчасть, знать так, чтобы играть ею; второе — любовь к своей машине, любить ее, как сестру, как мать; третье — смелость, а смелость — это холодный ум и горячее сердце. Четвертое — чувство товарищества, оно воспитывается всей нашей советской жизнью; пятое — беззаветность в бою! Успех — в слетанности пар! Следи за ведущим! Настоящий летчик и на земле всегда думает, разбирает прошлый бой, прикидывает: "Эх, так бы лучше, эх, не так бы надо!"

Летчики с фальшивым выражением интереса глядели на комиссара и тихонько переговаривались.

— Может, на эскорт "Дугласов", что везут продукты в Ленинград? — сказал Соломатин, у которого в Ленинграде была знакомая.

— На Московское направление? — сказал Молчанов, чьи родные жили в Кунцеве.

— А может, под Сталинград? — проговорил Виктор.

— Ну, это вряд ли, — сказал Скотной.

Ему было безразлично, куда бросят полк, — все близкие его находились на оккупированной Украине.

— А ты, Боря, куда летишь? — спросил Соломатин.
— В свою еврейскую столицу, Бердичев?

Вдруг темные глаза Короля совсем потемнели от бешенства, и он внятно матерно выругался.

— Младший лейтенант Король! — крикнул комиссар.

— Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар...

— Молчать...

Но Король уже и так молчал.

Майор Закаблука отличался, как знаменитый знаток и любитель матерного слова, и из-за того, что боевой летчик матюгнулся в присутствии начальства, не стал бы поднимать историю. Он сам каждое утро

кричал своему ординарцу:

— Мазюкин... твою в бога, веру... — и совершенно мирно заканчивал: — Дай-ка мне полотенце.

Однако, зная кляузный нрав комиссара, командир полка боялся тут же амнистировать Короля. Берман в рапорте описал бы, как Закаблука дискредитировал перед летным составом политическое руководство. Берман уже писал в политотдел, что Закаблука завел в резерве личное хозяйство, пил водку с начальством штаба и имел связь с зоотехником Женей Бондаревой из местного населения.

Поэтому командир полка начал издалека. Он грозно, хрипло закричал:

— Как стоите, младший лейтенант Король? Два шага вперед! Что за разгильдяйство?

Потом он повел дело дальше.

— Политрук Голуб, доложите комиссару, по какой причине Король нарушил дисциплину.

— Разрешите доложить, товарищ майор, он поругался с Соломатиным, а почему, я не слышал.

— Старший лейтенант Соломатин!

— Есть, товарищ майор!

— Доложите. Не мне! Батальонному комиссару!

— Разрешите доложить, товарищ батальонный комиссар?

— Докладывайте, — кивнул Берман, не глядя на Соломатина. Он ощутил, что командир полка гнет какую-то свою линию. Он знал, что Закаблука отличался необычайной хитростью и на земле, и в воздухе, — там, наверху, он лучше всех умел быстро разгадать цель, тактику противника, перехитрить его хитрости. А на земле он знал, что сила начальства в слабостях, а слабость подчиненных в их силе. И он умел, когда нужно, и прикинуться, и казаться простачком, и угодливо хохотать над глупой остротой, сказанной глупым человеком. И он умел держать в руках отчаянных воздушных лейтенантов.

В резерве Закаблука проявил склонность к сельскому хозяйству, главным образом к животноводству

и птицеводству. Он занимался и заготовками плодоягодных культур: устраивал наливки из малины, солил и сушил грибы. Его обеды славились, и командиры многих полков любили в свободные часы подскочить к нему на У-2, выпить и закусить. Но майор не признавал пустого хлебосольства.

Берман знал еще одно свойство майора, делающее отношения с ним особенно трудными: расчетливый, осторожный и хитрый, Закаблука был одновременно почти безумным человеком, идя напролом, уже не жалел своей жизни.

— С начальством спорить все равно что с... против ветра! — говорил он Берману и вдруг совершал безумный, идущий наперекор его же пользе поступок, комиссар только ахал.

Когда случалось им обоим находиться в хорошем настроении, они разговаривали, подмигивали друг другу, похлопывали один другого по спине или по животу.

— Ох и хитрый мужик у нас комиссар, — говорил Закаблука.

— Ох и силен наш героический майор, — говорил Берман.

Закаблука не любил комиссара за елейность, за трудолюбие, с которым он вписывал в донесения каждое неосторожное слово; он высмеивал в Бермане его слабость к хорошеньким девочкам, его любовь к вареной курице, "дайте мне ножку", — и равнодушие к водке, он осуждал его безразличие к житейским обстоятельствам других людей и умение создать для самого себя основные бытовые условия. Он ценил в Бермане ум, готовность пойти на конфликт с начальством ради пользы дела, храбрость — иногда, казалось, сам Берман не понимал, как легко может потерять жизнь.

И вот эти два человека, собираясь вести на линию боев воздушный полк, искоса поглядывая друг на друга, слушали, что говорит лейтенант Соломатин.

— Я должен прямо сказать, товарищ батальонный

комиссар, это по моей вине Король нарушил дисциплину. Я над ним подсмеивался, он терпел, а потом, конечно, забылся.

— Что вы ему сказали, отвечайте комиссару полка, — перебил Закаблука.

— Тут ребята гадали, куда полк пойдет, на какой фронт, а я Королю говорю: ты, наверно, в свою столицу, на Бердичев хочешь?

Летчики поглядывали на Бермана.

— Не понимаю, в какую столицу? — сказал Берман и вдруг понял.

Он смутился, все почувствовали это, и особенно командира полка поразило, что это случилось с человеком, подобным лезвию опасной бритвы. Но дальнейшее тоже было удивительно.

— Ну что ж тут такого? — сказал Берман. — А если бы вы, Король, сказали Соломатину, который, как известно, происходит из села Дорохово, Ново-Рузского района, что он хочет воевать над селом Дорохово, что ж он должен был бить вас за это по морде? Странная, местечковая этика, не совместимая со званием комсомольца.

Он говорил слова, которые всегда неотвратимо, с какой-то гипнотизирующей силой действовали на людей. Все понимали, что Соломатин хотел обидеть и обидел Короля, а Берман уверенно объяснял летчикам, что Король не изжил националистических предрассудков и его поведение есть пренебрежение дружбой народов. Ведь не надо Королю забывать, что именно фашисты используют националистические предрассудки, играют на них.

Все, что говорил Берман, само по себе было справедливо и верно. Революция, демократия родили идеи, о которых он говорил сейчас взволнованным голосом. Но сила Бермана в эти минуты заключалась в том, что не он служил идее, она служила ему, его сегодняшней нехорошей цели.

— Видите, товарищи, — сказал комиссар. — Там где нет идейной ясности, нет и дисциплины. Этим и

объясняется сегодняшний поступок Короля.

Он подумал и добавил:

— Безобразный поступок Короля, безобразное, не-советское поведение Короля.

Тут уж, конечно, Закаблука не мог вмешаться, проступок Короля комиссар связал с вопросом политическим, и Закаблука знал, что ни один строевой командир никогда не посмеет вмешаться в действия политических органов.

— Вот какое дело, товарищи, — сказал Берман, помолчав некоторое время, чтобы увеличить впечатление от своих слов, закончил: — Ответственность за это безобразие ложится на непосредственного виновника, но она ложится и на меня, комиссара полка, не сумевшего помочь летчику Королю изжить в себе отсталое, отвратительное, националистическое. Вопрос серьезней, чем казалось мне вначале, поэтому я не буду сейчас наказывать Короля за совершенное им нарушение дисциплины. Но я принимаю на себя задачу перевоспитания младшего лейтенанта Короля.

Все зашевелились, поудобней усаживаясь, почувствовали: обошлось.

Король посмотрел на Бермана и что-то было такое в его взгляде, отчего Берман поморщился, дернул плечом и отвернулся.

А вечером Соломатин сказал Викторову:

— Видишь, Леня, у них всегда так — один за другого, шито-крыто; попался бы ты или Ваня Скотной на таком деле, — закатал бы, будь уверен, Берман в штрафное подразделение.

Часть вторая, главы 53 — 54

53

Утром в Институте Штрум узнал от Соколова новость. Накануне вечером Шишаков пригласил к себе домой в гости нескольких работников Института. За Соко-

ловым на машине заехал Ковченко.

Среди званных был заведующий отделом науки ЦК, молодой Бадьин.

Штрума покорила неловкость — очевидно, он звонил Шишакову в то время, когда собрались гости.

Усмехаясь, он сказал Соколову:

— В числе приглашенных был граф Сен-Жермен, о чем же говорили господа?

Вдруг он вспомнил, как, звоня по телефону Шишакову, бархатным голосом назвал себя, уверенный, что, услыша фамилию "Штрум", Алексей Алексеевич радостно кинется к телефону. Он даже застонал от этого воспоминания, подумал, что так жалобно стонут собаки, тщетно вычесывая невыносимо лютую блоху.

— Между прочим, — сказал Соколов, — обставлено это было совсем не по-военному. Кофе, сухое вино "Гурджаани". И народу было мало, человек десять.

— Странно, — сказал Штрум, и Соколов понял, к чему относилось это задумчивое "странно", тоже задумчиво сказал:

— Да, не совсем понятно, вернее, совсем не понятно.

— А Натан Самсонович был? — спросил Штрум.

— Гуревич не был, кажется ему звонили, он вел занятия с аспирантами.

— Да, да, да, — сказал Штрум и забарабанил пальцем по столу. Потом он неожиданно для самого себя спросил Соколова:

— Петр Лаврентьевич, о работе моей ничего не говорили?

Соколов помялся:

— Такое чувство, Виктор Павлович, что ваши хвалители и поклонники оказывают вам медвежью услугу, — начальство раздражается.

— Чего же вы молчите? Ну?

Соколов рассказал, что Гавронов заговорил о том, что работа Штрума противоречит ленинским взглядам на природу материи.

— Ну? — сказал Штрум. — И что же?

— Да понимаете, Гавронов — это чепуха, но неприятно, Бадьин его поддержал. Что-то вроде того, что работа ваша при всей своей талантливости противоречит установкам, данным на том знаменитом совещании.

Он оглянулся на дверь, потом на телефон и сказал вполголоса:

— Понимаете, мне показалось, не вздумают ли наши шефы институтские в связи с кампанией за партийность науки избрать вас в качестве козла отпущения. Знаете, как у нас кампании проводятся. Выберут жертву и давай ее молотить. Это было бы ужасно. Ведь работа замечательная, особая!

— Что же, так никто не возражал?

— Пожалуй, нет.

— А вы, Петр Лаврентьевич?

— Я считал бессмысленным вступать в спор. Нет смысла опровергать демагогию.

Штрум смутился, чувствуя смущение своего друга, и сказал:

— Да-да, конечно, конечно. Вы правы.

Они молчали, но молчание их не было легким. Холодок страха коснулся Штрума, того, что всегда тайно жил в сердце, страха перед гневом государства, страха оказаться жертвой этого гнева, обращающего человека в пыль.

— Да, да, да, — задумчиво сказал он, — не до жиру, быть бы живу.

— Как я хочу, чтобы вы поняли это, — вполголоса сказал Соколов.

— Петр Лаврентьевич, — тоже вполголоса спросил Штрум, — как там Мадыров, благополучен? Пишет он вам? Я иногда очень тревожусь, сам не знаю отчего.

В этом внезапном разговоре шепотом они как бы выразили, что у людей есть свои, особые, людские, негосударственные отношения.

Соколов спокойно, отдельно ответил:

— Нет, я из Казани ничего не имею.

Его спокойный, громкий голос как бы сказал, что ни к чему им сейчас эти особые, людские, отделенные от государства отношения.

В кабинет зашли Марков и Савостьянов, и начался совсем другой разговор. Марков стал приводить примеры жен, портящих мужьям жизнь.

— Каждый имеет жену, которую заслуживает, — сказал Соколов, посмотрел на часы и вышел из комнаты.

Савостьянов, посмеиваясь, сказал ему вслед:

— Если в троллейбусе одно место свободно, Марья Ивановна стоит, а Петр Лаврентьевич садится. Если ночью позвонит кто-нибудь, он уж не встанет с постели, а Машенька бежит в халатике спрашивать, кто там? Ясно: жена — друг человека.

— Я не из числа счастливцев, — сказал Марков. — Мне говорят: "Ты что, оглох, пойдй открой дверь".

Штрум, вдруг озлившись, сказал:

— Ну что вы, где нам... Петр Лаврентьевич светило, супруг!

— Вам-то что, Вячеслав Иванович, — сказал Савостьянов, — вы теперь и дни и ночи в лаборатории, вне досягаемости.

— А думаете, мне не достается за это? — спросил Марков.

— Ясно, — сказал Савостьянов и облизнул губы, предвкушая свою новую остроту. — Сиди дома! Как говорят, мой дом — моя Петропавловская крепость.

Марков и Штрум рассмеялись, и Марков, видимо, опасаясь, что веселый разговор может затянуться, встал и сказал самому себе:

— Вячеслав Иванович, пора за дело.

Когда он вышел, Штрум сказал:

— Такой чопорный, с размеренными движениями, а стал, как пьяный. Действительно, дни и ночи в лаборатории.

— Да, да, — подтвердил Савостьянов, — он, как птица, строящая гнездо. Весь целиком ушел в работу!

Штрум усмехнулся:

— Он даже теперь светских новостей не замечает, перестал их передавать. Да, да, мне нравится, — как птица, строящая гнездо.

Савостьянов резко повернулся к Штруму.

Его молодое светлобровое лицо было серьезно.

— Кстати, о светских новостях, — сказал он, — должен сказать, Виктор Павлович, что вчерашняя ассамблея у Шишакова, на которую вас не позвали, это, знаете, что-то такое возмутительное, такое дикое...

Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось унижительным.

— Да бросьте вы, прекратите, — резко сказал он.

— Виктор Павлович, — сказал Савостьянов, — конечно, плевать на то, что Шишаков вас не позвал. Но вам ведь Петр Лаврентьевич рассказал, какую гнусь говорил Гавронов? Это же надо иметь наглость, сказать, что в работе вашей дух иудаизма и что Гуревич назвал ее классической только потому, что вы еврей. И сказать всю эту мерзость при молчаливых усмешечках начальства. Вот вам и "брат славянин".

Во время обеденного перерыва Штрум не пошел в столовую, шагал из угла в угол по своему кабинету. Думал ли он, что столько дряни есть в людях? Но молодец Савостьянов! А казалось, что пустой малый, с вечными островами и фотографиями девиц в купальных костюмах. Да, в общем, все это пустяки. Болтовня Гавронова ничтожна — психопат, мелкий завистник. Никто не возразил ему, потому что слишком нелепо, смешно то, что он заявил.

И все же пустяки, мелочи волновали, мучили. Как же это Шишаков мог не позвать Штрума? Действительно, грубо, глупо. А особенно унижительно, что Штруму совершенно безразличен бездарный Шишаков и его вечеринки, а больно Штруму так, словно в его жизни случилось непоправимое несчастье. Он понимает, что это глупо, а сделать с собой ничего не может. Да, да, а еще хотел на яичко больше, чем Соколов, получить. Ишь ты!

Но одна вещь действительно по-серьезному жгла сердце. Ему хотелось сказать Соколову: "Как же вам не стыдно, друг мой? Как вы могли скрыть от меня, что Гавронов обливал меня грязью? Петр Лаврентьевич, вы и там молчали, вы и со мной молчали. Стыдно, стыдно, вам!"

Но несмотря на свое волнение, он тут же говорил самому себе: "Но ведь и ты молчишь. Ты ведь не сказал своему другу Соколову, в чем подозревает его родича Мадьярова Каримов? Промолчал! От неловкости? От деликатности? Врешь! Страх ради иудейска".

Видимо, судьба судила, чтобы весь этот день был тяжелым.

В кабинет вошла Анна Степановна, и Штрум, посмотрев на ее расстроенное лицо, спросил:

— Что случилось, Анна Степановна, дорогая? — "Неужели слышала о моих неприятностях?"

— Виктор Павлович, что ж это? — сказала она. — Вот так вот, за моей спиной, почему я заслужила такое?

Анну Степановну просили зайти во время обеденного перерыва в отдел кадров, там ей предложили написать заявление об уходе. Получено распоряжение директора об увольнении лаборантов, не имеющих высшего образования.

— Брехня, я понятия об этом не имею, — сказал Штрум, — я все улажу, поверьте мне.

Анну Степановну особенно обидели слова Дубенкова, что администрация ничего не имеет против нее лично.

— Виктор Павлович, что против меня можно иметь? Вы меня простите, ради Бога, я вам помешала работать.

Штрум накинул на плечи пальто и пошел через двор к двухэтажному зданию, где помещался отдел кадров.

"Ладно, ладно, — думал он, — ладно, ладно". Больше он ничего не думал. Но в это "ладно, ладно"

— было много вложено.

Дубенков, здороваясь со Штрумом, проговорил:

— А я собрался вам звонить.

— По поводу Анны Степановны?

— Нет, зачем, в связи с некоторыми обстоятельствами ведущим работникам института нужно будет заполнить вот эту анкетку.

Штрум посмотрел на пачку анкетных листов и произнес:

— Ого! Да это на неделю работы.

— Что вы, Виктор Павлович. Только, пожалуйста, не проставляйте, в случае отрицательного ответа, черточек, а пишите: "нет, не был; нет, не состоял; нет, не имею" и так далее.

— Вот что, дорогой, — сказал Штрум, — надо отменить нелепый приказ об увольнении нашего старшего лаборанта Анны Степановны Лошаковой.

Дубенков сказал:

— Лошаковой? Виктор Павлович, как я могу отменить приказ дирекции?

— Да это черт знает что! Она Институт спасала, добро охраняла под бомбами. А ее увольняют по формальным основаниям.

— Без формального основания у нас никого не уволят с работы, — с достоинством сказал Дубенков.

— Анна Степановна не только чудный человек, она один из лучших работников нашей лаборатории.

— Если она действительно незаменима, обратитесь к Касьяну Терентьевичу, — сказал Дубенков. — Кстати, вы с ним согласуете еще два вопроса по вашей лаборатории.

Он протянул Штруму две, скрепленные вместе, бумажки:

— Тут по поводу замещения должности научного сотрудника по конкурсу, — он заглянул в бумагу и медленно прочел: — Ландесман, Эмилий Пинхусович.

— Да, это я писал, — сказал Штрум, узнав бумагу в руках Дубенкова.

— Вот тут резолюция Касьяна Терентьевича: "Ввиду

несоответствия требованиям”.

— То есть как? — спросил Штрум. — Несоответствия. Я-то знаю, что он соответствует, откуда же Ковченко знает, кто мне соответствует?

— Вот вы и утрясете с Касьяном Терентьевичем, — сказал Дубенков. Он заглянул во вторую бумагу и сказал: — А это заявление наших сотрудников, оставшихся в Казани, и тут ваше ходатайство.

— Да, что же?

— Касьян Терентьевич пишет, нецелесообразно; поскольку они продуктивно работают в Казанском университете, отложить рассмотрение вопроса до окончания учебного года.

Он говорил негромко, мягко, точно желая ласковостью своего голоса смягчить неприятное для Штрума известие, но в глазах его не было ласковости, одна лишь любопытствующая недоброта.

— Благодарю вас, товарищ Дубенков, — сказал Штрум.

Штрум снова шел по двору и снова повторял: ”Ладно, ладно”. Ему не нужна поддержка начальства, ему не нужна любовь друзей, душевная общность с женой, он умеет воевать в одиночку. Вернувшись в главный корпус, он поднялся на второй этаж.

Ковченко в черном пиджаке, вышитой украинской рубаше вышел из кабинета вслед за доложившей ему о приходе Штрума секретаршей и сказал:

— Прошу, прошу, Виктор Павлович, в мою хату.

Штрум вошел в хату, обставленную красными креслами и диванами. Ковченко усадил Штрума на диван и сам сел рядом.

Он улыбался, слушая Штрума, и его приветливость чем-то напоминала приветливость Дубенкова. Вот, вероятно, так же улыбался он, когда Гавронов произносил свою речь об открытии Штрума.

— Что же делать, — сокрушаясь проговорил Ковченко и развел руками. — Не мы все это напридумывали. Она под бомбами была? Теперь это не считается заслугой, Виктор Павлович; каждый советский чело-

век идет под бомбы, если только ему прикажет родина.

Потом Ковченко задумался и сказал:

— Есть возможность, хотя, конечно, будут придирки. Переведем Лошакову на должность препаратора. Энэровскую карточку мы ей сохраним. Вот — могу вам обещать.

— Нет, это оскорбительно для нее, — сказал Штрум.

Ковченко спросил:

— Виктор Павлович, что ж вы хотите, чтобы у советского государства были одни законы, а в лаборатории Штрума другие?

— Наоборот, я хочу, чтобы к моей лаборатории именно и применялись советские законы. А по советским законам Лошакову нельзя увольнять.

Он спросил:

— Касьян Терентьевич, если уж говорить о законах, почему вы не утвердили в мою лабораторию талантливого юношу Ландесмана?

Ковченко пожевал губами.

— Видите ли, Виктор Павлович, может быть, он по вашим заданиям и сможет работать успешно, но есть еще обстоятельства, с ними должно считаться руководство Института.

— Очень хорошо, — сказал Штрум и снова повторил: — Очень хорошо.

Шепотом он спросил:

— Анкета, да? Родственники за границей?

Ковченко неопределенно развел руками.

— Касьян Терентьевич, если уж продолжать этот приятный разговор, — сказал Штрум, — почему вы тормозите возвращение из Казани моей сотрудницы Анны Наумовны Вайспапир? Она, кстати, кандидат наук. В чем тут противоречие между моей лабораторией и государством?

Ковченко со страдальческим лицом сказал:

— Виктор Павлович, что вы меня допрашиваете? Я отвечаю за кадры, поймите вы это.

— Очень хорошо, очень хорошо, — сказал Штрум, чувствуя, что окончательно созрел для грубого разговора.

— Вот что, уважаемый, — сказал он, — так работать я дальше не могу. Наука существует не для Дубенкова и не для вас. Я тоже здесь существую ради работы, а не для неясных мне интересов отдела кадров. Я напишу Алексею Алексеевичу, пусть назначит Дубенкова заведовать ядерной лабораторией.

Ковченко сказал:

— Виктор Павлович, право же, успокойтесь.

— Нет, я так работать не буду.

— Виктор Павлович, вы не представляете, как руководство ценит вашу работу, в частности я.

— А мне плевать, цените вы меня или нет, — сказал Штрум и увидел в лице Ковченко не обиду, а веселое удовольствие.

— Виктор Павлович, — сказал Ковченко, — мы ни в коем случае не допустим, чтобы вы оставили Институт. — Он нахмурился и добавил: — И вовсе не потому, что вы незаменимы. Неужели вы думаете, что некем уж заменить Виктора Павловича Штрума? — И совсем уж ласково закончил: — Неужели некем в России заменить вас, если вы не можете заниматься наукой без Ландесмана и Вайспапир?

Он смотрел на Штрума, и Виктор Павлович почувствовал — вот-вот Ковченко скажет те слова, что все время, как незримый туман, вились между ними, касались глаз, рук, мозга.

Штрум опустил голову, и уже не было профессора, доктора наук, знаменитого ученого, совершившего замечательное открытие, умевшего быть надменным и снисходительным, независимым и резким.

Сутулый и узкоплечий, горбоносый, курчавый мужчина, сощурившись, точно ожидая удара по щеке, смотрел на человека в вышитой украинской рубаше и ждал.

Ковченко тихо проговорил:

— Виктор Павлович, не волнуйтесь, не волнуйтесь,

право же, не волнуйтесь. Ну что вы, ей-Богу, из-за такой ерунды затеваете волынку.

54

Ночью, когда жена и дочь легли спать, Штрум взялся заполнять анкету. Почти все вопросы в анкете были те же, что и до войны. И потому, что они были прежними, они казались Виктору Павловичу странными, как-то по-новому тревожили его.

Государство было взволновано не тем, достаточен ли математический аппарат, которым Штрум пользовался в своей работе, соответствует ли монтируемая в лаборатории установка тем сложным опытам, которые будут проведены с ее помощью, хороша ли защита от нейтронного излучения, достаточна ли дружба и научная связь Соколова со Штрумом, подготовлены ли младшие сотрудники к производству утомительных расчетов, понимают ли они, как много зависит от их терпения, постоянного напряжения и сосредоточенности.

Это была царь-анкета, анкета анкет. Она хотела знать все об отце Людмилы, о ее матери, о бабушке и бабушке Виктора Павловича, о том, где они жили, когда умерли, где похоронены. В связи с чем отец Виктора Павловича — Павел Иосифович ездил в 1910 году в Берлин? Государственная тревога была серьезна и хмура. Штрум, просмотрев анкету, сам заразился неуверенностью в своей надежности и подлинности.

1. Фамилия, имя, отчество... Кто он, человек, вписывающий в анкетный лист, в ночной час: Штрум, Виктор Павлович? Ведь, кажется, мать была с отцом в гражданском браке, ведь они разошлись, когда Вите исполнилось два года, ему помнится, в бумагах отца стояло имя Пинхус, а не Павел. Почему я Виктор Павлович? Кто я, познал ли я себя, а вдруг, по существу своему, я Гольдман, а может быть, я Сагайдачный. Или француз Дефорж, он же Дубров-

ский?

И полный сомнений, он принялся отвечать на второй вопрос.

2. Дата рождения... года... месяца... дня... укажите новый и старый стиль. Что знал об этом темном декабрьском дне, мог ли уверенно подтвердить, что именно в этот день родился он? Не указать ли, чтобы снять с себя ответственность, "со слов".

3. Пол... Штрум смело написал: "мужчина". Он подумал: "Ну какой я мужчина, настоящий мужчина не смолчал бы после отстранения Чепыжина".

4. Место рождения старого (губ., уезд, волость и деревня) и нового (обл., край, район и село) районирования... Штрум написал: Харьков. Мать рассказывала ему, что родился он в Бахмуте, а метрику на него она выправила в Харькове, куда переехала через два месяца после рождения сына. Как быть, стоит ли делать оговорку?

5. Национальность... Вот пятый пункт. Такой простой, незначущий в довоенное время, и какой-то чуть-чуть особенный сейчас.

Штрум, нажимая на перо, решительными буквами написал: "еврей". Он не знал, что будет вскоре значить для сотен тысяч людей ответить на пятый вопрос анкеты: калмык, балкарец, чеченец, крымский татарин, еврей...

Он не знал, что год от года будут сгущаться вокруг этого пятого пункта мрачные страсти, что страх, злоба, отчаяние, безысходность, кровь будут перебираться, перекочевывать в него из соседнего шестого пункта "социальное происхождение", что через несколько лет многие люди станут заполнять пятый пункт анкеты с чувством рока, с которым в прошлые десятилетия отвечали на соседний шестой вопрос дети казачьих офицеров, дворян и фабрикантов, сыновья священников.

Но он уже ощущал и предчувствовал сгущение силовых линий вокруг пятого вопроса анкеты. Накануне вечером ему позвонил по телефону Ландесман, и

Штрум ему сказал, что ничего не получается с его оформлением. "Я так и предполагал", — сказал Ландесман злым, упрекающим Штрума голосом. "У вас непорядок в анкете?" — спросил Штрум. Ландесман фыркнул в трубку и сказал: "Непорядок выражен в фамилии".

Надя сказала во время вечернего чаепития:

— Знаешь, папа, Майкин папа сказал, что в будущем году в Институт Международных Отношений не примут ни одного еврея.

"Что же, — подумал Штрум, — еврей так еврей, ничего не попишешь".

6. Социальное происхождение... Это был ствол могучего дерева, его корни уходили глубоко в землю, его ветви широко расстилались над просторными листами анкеты: социальное происхождение матери и отца, родителей матери и отца... социальное происхождение жены, родителей жены... если вы в разводе, социальное происхождение бывшей жены, чем занимались ее родители до революции.

Великая революция была социальной революцией, революцией бедноты. В шестом вопросе, всегда казалось Штруму, естественно выражалось справедливое недоверие бедноты, возникшее за тысячелетия господства богатых.

Он написал "из мещан". Мещанин! Какой уж он мещанин. И вдруг, возможно война сделала это, он усомнился в действительности бездны между справедливым советским вопросом о социальном происхождении и кровавым вопросом немцев о национальности. Ему вспомнились казанские вечерние разговоры, речь Мадьярова о чеховском отношении к человеку.

Он подумал: "Мне кажется моральным, справедливым социальный признак. Но немцам бесспорно моральным кажется национальный признак. А мне ясно: ужасно убивать евреев за то, что они евреи. Ведь они люди, каждый из них человек — хороший, злой, талантливый, глупый, тупой, веселый, добрый, отзывчивый, скарред. А Гитлер говорит: все равно,

важно одно — еврей. И я всем существом протестую! Но ведь у нас такой же принцип — важно, что не дворянин, важно, что из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые, глупые, веселые, — как же? А ведь в наших анкетах речь идет даже не о купцах, священниках, дворянах. Речь идет об их детях, внуках. Что же, у них дворянство в крови, как еврейство, они купцы, священники по крови что ли? Ведь чушь. Софья Перовская была генеральская дочка, не просто генеральская, губернатурская. Гнать ее! А Комиссаров, полицейский прихвостень, который схватил Каракозова, ответил бы на шестой пункт: "из мещан". Его бы приняли в университет. А ведь Сталин сказал: "Сын за отца не отвечает". Но ведь Сталин сказал: "Яблочко от яблони недалеко падает". Ну что ж, из мещан так из мещан.

7. Социальное положение... Служащий? Служащий — бухгалтер, регистратор. Служащий Штрум математически обосновал механизм распада атомных ядер, служащий Марков хочет с помощью новой экспериментальной установки подтвердить теоретические выводы служащего Штрума.

"А ведь правильно, — подумал он, — именно служащий".

Он пожимал плечами, вставал, ходил по комнате, отстранял кого-то движением ладони. Потом Штрум сажился за стол и отвечал на вопросы.

29. Привлекались ли вы или ваши ближайшие родственники к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном и административном порядке, когда, где и за что именно? Если судимость снята, то когда?..

Тот же вопрос, обращенный к жене Штрума. Холодок пробежал в груди. Здесь не до споров, здесь не шутят. В голове замелькали имена. Я уверен, что он ни в чем не виноват... человек не от мира сего... она была арестована за недонесение на мужа, кажется дали восемь лет, не знаю точно, я не переписываюсь с

ней, Темники кажется, случайно узнал, встретил ее дочь на улице... не помню точно, он, кажется, был арестован в начале тридцать восьмого года, да, десять лет без права переписки...

Брат жены был членом партии, я с ним встречался редко; ни я, ни жена с ним не переписываемся; мать жены, кажется, ездила к нему, да, да, задолго до войны, его вторая жена выслана за недонесение на мужа, она умерла во время войны, его сын участник обороны Сталинграда, пошел добровольцем... Моя жена разошлась с первым мужем, сын от первого брака, мой пасынок, погиб на фронте, защищая Сталинград... первый муж был арестован, с момента развода жена ничего не знает о нем... за что осужден, не знаю, туманно слышал — что-то вроде принадлежности к троцкистской оппозиции, но я не уверен, меня это совершенно не интересовало...

Безысходное чувство виновности, нечистоты охватило Штрума. Он вспомнил про каявшегося партийца, сказавшего на собрании: "Товарищи, я не наш человек".

И вдруг протест охватил его. Я не из смиренных и покорных! Садко меня не любит, и пусть! Я одинок, жена перестала интересоваться мной, пусть! А я не отрекусь от несчастных, невинно погибших.

Стыдно, товарищи, касаться всего этого! Ведь люди невинны, а уж дети, жены, в чем они виноваты? Покаяться надо перед этими людьми, прощения у них просить. А вы хотите доказать мою неполноценность, лишить меня доверия, потому что я нахожусь в родстве с невинно пострадавшими? Если я и виновен, то только в том, что мало помогал им в беде.

А второй ход мыслей, разительно противоположный, шел рядом в мозгу того же человека.

Я ведь не поддерживал с ними связи. Я не переписывался с врагами, я не получал писем из лагерей, я не оказывал им материальной поддержки, встречи с ними были редки, случайны...

30. Живет ли кто-либо из ваших родственников за

границей (где, с каких пор, по каким причинам выехали)? Поддерживаете ли вы с ними связь?

Новый вопрос усилил его тоску.

Товарищи, неужели вы не понимаете, что в условиях царской России эмиграция была неизбежна! Ведь эмигрировала беднота, эмигрировали свободолюбивые люди, Ленин тоже ведь жил в Лондоне, Цюрихе, Париже. Почему же вы подмигиваете, читая о моих тетках и дядях, об их дочерях и сыновьях в Нью-Йорке, Париже, Буэнос-Айресе... Кто это из знакомых сострил: "Тетка в Нью-Йорке... Раньше я думал — голод не тетка, а оказывается, тетка — это голод".

Но, действительно, получалось, что список его родственников, живущих за границей, немногим меньше списка его научных работ. А если добавить список репрессированных...

Ну вот, распластали человека. На свалку его! Чужак! Но ведь ложь, ложь! Он, а не Гавронов и Дубенков, нужен науке; он жизнь отдаст за свою страну. А мало ли людей с блистательными анкетами, способных обмануть, предать? Мало ли людей писали в анкетах — отец жулик, отец бывший помещик, и отдали жизнь в бою, пошли в партизаны, пойдут на плаху?

Что ж это? Он-то знал: статистический метод! Вероятность! Большая вероятность встретить врага среди людей с нетрудовым прошлым, чем среди людей из пролетарской среды. Но ведь и немецкие фашисты, основываясь на большей или меньшей вероятности, уничтожают народы, нации. Этот принцип бесчеловечен. Он бесчеловечен и слеп. К людям мыслим лишь один подход — человеческий.

Виктор Павлович составит другую анкету, принимая людей в лабораторию, человеческую анкету.

Ему безразлично: русский, еврей, украинец, армянин — человек, с которым ему предстоит работать, рабочий, фабрикант, кулак ли его дедушка; его отношение к товарищу по работе не зависит от того,

арестован ли его брат органами НКВД, ему безразлично, живут ли сестры его товарища по работе в Костроме или Женеве.

Он спросит, с какого возраста вас интересует теоретическая физика, как вы относитесь к Эйнштейновской критике старика Планка, склонны ли вы к одним лишь математическим размышлениям или вас влечет и экспериментальная работа, как вы относитесь к Гейзенбергу, верите ли вы в возможность создать единое уравнение поля. Главное, главное — талант, огонь, искра Божия.

Он бы спросил, если, конечно, товарищ по работе хотел бы отвечать, любит ли он пешие прогулки, пьет ли вино, ходит ли на симфонические концерты, нравились ли ему детские книги Сэттона-Томпсона, кто ему ближе — Толстой или Достоевский, не увлекается ли он садоводством, рыболов ли он, как он относится к Пикассо, какой рассказ Чехова он считает лучшим.

Его интересовало бы, молчалив ли или любит поговорить его будущий товарищ по работе, добр ли он, остроумен ли, злопамятен ли, раздражителен, честолюбив, не станет ли затевать шашни с хорошенькой Верочкой Пономаревой.

Удивительно хорошо сказал об этом Мадьяров, так хорошо, что все думается, не провокатор ли он.

Господи, боже мой...

Штрум взял перо и написал: "Эсфирь Семеновна Дашевская, тетка со стороны матери, живет в Буэнос-Айресе с 1909 года, преподавательница музыки".

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУБЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниковский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ

37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник
И. Кауфман. Библейская эпоха.
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь.
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма.
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник

69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
 Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
 С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД – ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС – 1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов.
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ.
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ.
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ.
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. Давид Шраер и др. В ОТКАЗЕ
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. А. Аппельфельд, А. Оз, А. Б. Иехошуа, И. Бен-Нер,
Д. Шахар и др. ТЕНИ ОБРАЗА.
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Алон. ЩИТ ДАВИДА

ШИМОН МАРКИШ (род. в 1931) — по образованию филолог-классик, по профессии переводчик, историк литературы, литературный критик. Из Советского Союза уехал в 1970, сперва — в Венгрию, затем — в Швейцарию; гражданин Израиля. Преподает в Женевском университете. В СССР напечатал полтора десятка книг, оригинальных и переводных. На Западе вышли две книги: "Эразм и еврейство" и "Пример Василия Гроссмана" (обе по-французски).